

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ

ДИСКРЕТНОСТЬ И КОНТИНУАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ

Материалы Международной конференции «Континуальность
и дискретность в языке и речи. Язык как живая система
в исследовательских парадигмах современной лингвистики»

15 – 16 октября 2009 г.

Под редакцией профессора *Т.А. Трипольской*

НОВОСИБИРСК 2009

УДК 81'374
ББК 81.411.2,0я43
Д 482

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

Редакционная коллегия:

д-р филол. наук, проф. *Т.А. Трипольская* (отв. ред.),
д-р филол. наук, проф. *И.П. Матханова*,
канд. филол. наук, доц. *Л.Н. Храмцова*

Д 482 **Дискретность и континуальность в языке и тексте:** Материалы Международной конференции «Континуальность и дискретность в языке и речи. Язык как живая система в исследовательских парадигмах современной лингвистики» 15 – 16 октября 2009 г. / Под ред. Т.А. Трипольской. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2009. – 328 с.

ISBN 978-5-85921-760-1

В сборнике научных статей, развивающих тематику интерпретационных исследований, рассматриваются проблемы дискретности и континуальности применительно к языковой системе и речи / тексту: различные типы недискретности и континуальности в полевых структурах; дискретные и недискретные способы представления языковой семантики; континуальность и дискретность в тексте, соотношение первичного и вторичного текстов; текстовые средства, работающие на непрерывность и дискретность (выделимость); а также дискретные и недискретные способы семантизации языковых значений в лексикографических источниках разных типов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг.

УДК 81'374
ББК 81.411.2,0я43

ISBN 978-5-85921-760-1

© ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

В октябре 2009 года в Новосибирском государственном педагогическом университете при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» состоялась Международная конференция «Континуальность и дискретность в языке и речи. Язык как живая система в исследовательских парадигмах современной лингвистики». В настоящем сборнике публикуются материалы конференции, в которой приняли участие лингвисты России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска, Барнаула, Кемерово и др.), Германии, Италии, Бельгии, Южной Кореи, Финляндии.

Вопросы дискретности/недискретности, дискретности и континуальности органично связаны с проблематикой интерпретационных исследований, в русле которых работает кафедра современного русского языка Новосибирского государственного университета (проблемы ограничений в интерпретационной деятельности говорящих; мета- и реинтерпретация; интерпретатор и типы интерпретаций; вариативный потенциал и множественность интерпретаций; отражательные и интерпретирующие языковые категории, лакуарность в языковой системе и тексте). В понятии языковой интерпретации смыслового содержания, вслед за А.В. Бондарко, могут быть выделены следующие аспекты: 1) избирательность по отношению к элементам и признакам обозначаемых внеязыковых явлений; 2) избыточность

языковых явлений, 3) различное сочетание коннотативных и денотативных элементов; 4) различие дискретного и недискретного представления смыслового содержания; 5) различие представления эксплицитного и имплицитного и др.

Исходя из этого, для обсуждения на пленарных и секционных заседаниях были предложены следующие вопросы:

- проблемы взаимодействия научных парадигм в современной филологии;

- различные типы недискретности и континуальности в полевых структурах; дискретные и недискретные способы представления языковой семантики;

- континуальность и дискретность в тексте: соотношение первичного и вторичного текстов; текстовые средства, работающие на непрерывность и дискретность (выделимость);

- словарь как гипертекст: языковая организация словаря, типы лексикографической интерпретации явлений языка и речи, словарь как вторичный текст; переходные случаи в языковой системе и их отражение в словаре; дискретные и недискретные способы семантизации языковых значений.

Таким образом, мы попытались показать, какие повороты заявленной темы возможны и целесообразны при изучении интерпретационного потенциала языковой системы. Было установлено, что понятия дискретности / недискретности и континуальности сильно варьируются в зависимости от объекта описания. Недискретное представление смысла провоцирует множественность интерпретации, дискретизация языкового и семантического пространства, напротив, может уменьшить интерпретационные возможности говорящего. Понятия дискретности / недискретности и континуальности, по нашему мнению, пересекаются с близкими понятиями, используемыми по отношению к смежным лингвистическим феноменам: выделимость / диффузность, эксплицитность / имплицитность, когезия / делимитация, прямой и косвенный способы представления языкового содержания, скрытые категории, аппликация, выводное знание и др. Осмысление их соотношения пред-

ставляет собой важную теоретическую проблему, ждущую решения.

Обсуждение места и роли в современной науке разных лингвистических парадигм также вписывается в тематику конференции: очень важно и своевременно антропоцентрические направления (функциональные, коммуникативно-прагматические, когнитивные, социолингвистические и др.) рассматривать в соотношении друг с другом, а также в связи со структурно-системным исследованием языка.

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность постоянным участникам Филологических чтений в Новосибирском государственном педагогическом университете и приглашает к дальнейшему обсуждению проблем интерпретационной лингвистики.

ДИСКРЕТНОСТЬ И КОНТИНУАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ

УДК 81'374

И.П. Матханова, Т.А. Трипольская
Новосибирск

ДИСКРЕТНОСТЬ И КОНТИНУАЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье обсуждаются проблемы дискретности и континуальности, их интерпретативные возможности применительно к разным языковым и речевым явлениям, рассматриваются эффекты взаимодействия лексических и грамматических способов представления дискретно выраженной семантики.

Проблема дискретности и континуальности в языковой системе и речи органично включается в контекст интерпретационных исследований, которые осуществляются кафедрой современного русского языка Новосибирского государственного педагогического университета [Проблемы... 2000, 2001, 2004, 2007; Комментарий... 2008]. Наиболее существенным в этом плане нам представляется изучение явлений дискретности и недискретности применительно к способам выражения лексической и грамматической семантики, а также анализ дискретности и континуальности как взаимообратимых характеристик языковой и речевой систем.

В понятии языковой интерпретации смыслового содержания, вслед за А.В. Бондарко, могут быть выделены следующие аспекты: 1) избирательность по отношению к элементам и признакам обозначаемых внеязыковых явлений; 2) избыточность языковых явлений <...>; 3) различное сочетание коннотативных и денотативных элементов; 4) различие дискретного и недискретного представления смыслового содержания; 5) различие представления эксплицитного и имплицитного и др. [Бондарко 1987: 26]. Дискретное / недискретное представление смыслового содержания может быть рассмотрено применительно к лексемам, грам-

матическим формам слова, синтаксическим конструкциям как самостоятельное значение или сопряженное с другим значением (отенок значения). Можно расширить состав лингвистических объектов, исследуемых с этой точки зрения, и включить сюда языковые и текстовые парадигмы: группы, классы, поля применительно к языковой, концептуальной и текстовой системам. Понятие поля предполагает еще один взаимосвязанный с указанным ракурс описания: «Дискретизация означает выделение из общего системного материала составляющих его под систем, классов, разрядов, групп <...>. Не менее существенно то, что в языке трудно найти противопоставления пар классов явлений..., границы которых не имели бы... «размытый», «текучий» характер», что обеспечивает континуальность системы [Павлов 1998: 29]. Иными словами, здесь под дискретностью понимается выделение элемента из множества, из систем разных типов и уровней.

В работах А.В. Бондарко и В.М. Павлова обсуждаются проблемы дискретности / недискретности применительно к разным лингвистическим объектам: с одной стороны, в центре внимания оказываются слово и словоформа, с другой – разные типы языковых классов, групп, полей. Явления дискретности / недискретности, самостоятельного выражения смысла отдельной единицей, или сопряженность смыслов, их нерасчлененное выражение, одинаково актуально для разных языковых уровней: лексического и грамматического, – а кроме того, это работает на микро- и на макроуровне языковой системы.

Рискнем предположить, что понятие дискретности / недискретности имеет свою специфику применительно к разным языковым явлениям: самостоятельным значениям, компонентам значения, языковым парадигмам. Так, о дискретности / недискретности говорят в следующих случаях:

- значение выражено одной или разными словоформами;
- значение выражено или не выражено специальным показателем;
- компонент значения является наиболее выделяемым, эксплицитированным, ядерным или недискретным, диффузным, периферийным;

– группы, классы, поля обладают четко очерченным ядром и размытой периферией, а также пересекаются друг с другом.

Хотя А.В. Бондарко в одном ряду указывает на дискретность по отношению к лексеме и форме, однако было бы интересно проанализировать, в чем сходство и отличие в понимании дискретности / недискретности в лексике и грамматике.

Применительно к грамматической форме можно говорить о дискретном выражении значения в том случае, если у нее есть специальный показатель, маркер (*напиши / напишу / написал бы*). При этом значение времени дискретно выражается только в изъявительном наклонении, а в повелительном футуральная перспектива представлена в грамматической форме недискретно.

О лексической дискретности обычно говорят, если в выражении лексического значения участвуют словообразовательные элементы, как аффиксы, так и корни (*учитель-ница, женщина-врач*).

Если же рассматривать структуру лексического значения, то можно наблюдать разную степень дискретизации компонентов: более дискретны основные, ядерные, ассертивные и эксплицитные семы. Периферия лексического значения отличается высокой степенью диффузности и, соответственно, низкой степенью дискретности (выводные имплицитные смыслы). Так, в слове *футбол* вне контекста легко считываются компоненты системного значения: ‘спортивная командная игра, ворота, мяч, ноги’, тогда как во фразе *Уроки не делает, книг не читает, один футбол в голове* актуализируются слабо выделяемые выводные и имплицитные семы ‘несерьезное увлечение, игрушки, безделица’.

Словари и грамматики создают миф о практически полной дискретности языковых элементов, а континуальность рассматривается главным образом как свойство речи. Представляется, что сама по себе процедура анализа и внимание к парадигматике усиливает иллюзию дискретности.

Так, в словаре многозначное слово *окно* дано как система самостоятельных лексико-семантических вариантов: 1. Отверстие в стене здания для света и воздуха, а также застекленная рама, закрывающая это отверстие. 2. Просвет, отверстие в чем-л. *Окно*

среди туч. 3. Незаросший травой остаток водоема. 4. Разг. Ничем не занятое время; промежуток, разрыв. *Окно в расписании*. [МАС].

Об относительной дискретности отдельных значений писал Д.Н. Шмелев, определяя семантическую структуру многозначного слова как диффузное образование [Шмелев 1973]. Подтверждением этой мысли являются так называемые оттенки значений, например, у слова *окно* к первому значению даются такие оттенки, как: // Подоконник (*Положи часы на окно*); // Отверстие в перегородке, отделяющее служебное помещение от посетителей (*Теперь все справки будут выдаваться в одном окне*) [МАС]. Диффузность может проявляться и на микроуровне, то есть каждое отдельное значение представляет собой систему подвижных, взаимодействующих компонентов.

Этот же принцип действует и в грамматике. Проиллюстрируем взаимодействие частных значений на примере форм времени. Так, формы настоящего времени могут передавать значения настоящего актуального (*Посмотрите, он уж заряжает*), настоящего неактуального (*Волга впадает в Каспийское море*), настоящего исторического (*Иду я вчера по улице, а навстречу директор*) и др. Хотя грамматика не пользуется термином «оттенок значения» и в силу своей природы стремится к жесткой дискретности, но в рамках основного частного значения можно выделить его оттенки: «настоящее расширенное» (*в этом году мы занимаемся дискретностью*), «настоящее перформативное» (*я прошу вас о снисхождении*) и др., то есть такую же диффузную систему.

Все эти предварительные и известные факты необходимы для обсуждения моментов **обратимости** дискретности и недискретности, дискретности и континуальности. Дискретность в выражении языковых значений, проявляющаяся на системном уровне в разной степени, при функционировании может усиливаться, нейтрализоваться, а континуальность может дискретизироваться.

Приведем примеры такого челночного движения.

Движение от дискретности к недискретности (Д→неД) проявляется, например, при функционировании многозначного слова. Диффузность языковой структуры полисеманта позволяет

нейтрализовать дискретность некоторых лексико-семантических вариантов в процессе коммуникации. Дискретно представленные лексико-семантические варианты существительного *поле* (1. Безлесная равнина; 2. Засеянный или возделанный участок земли [ТСО]) в конкретном речевом акте могут функционировать как недискретная величина, ср.: *Перед окном поезда пронеслись поля*. В данной ситуации для говорящего и слушающего несущественно разграничение указанных выше значений, чаще всего взаимобратимость дискретности / недискретности не осознается говорящими, однако динамическое взаимодействие анализируемых явлений иногда осознается говорящим и становится средством языковой игры: *По дороге в Париж д'Артаньян загнал двух лошадей. Одну Атосу, другую Портосу*. Это явление в лексикологии известно под названием семантической аппликации.

Обратным является процесс дискретизации нерасчлененного диффузного значения (диффузное значение → дискретизация, или же актуализация отдельных частей). Например, целостное представление основного лексического значения в слове *окно* реализуется «частями», актуальными смыслами: *Дом в четыре окна; Мы поставили новые окна; Все окна закрыты, и в комнате душно*. Таким образом, в первом случае реализуется актуальный смысл «проем в стене», во втором – «рама со стеклами», в третьем – «отверстие для воздуха».

Рассматривая эти процессы в **интерпретационном** аспекте, мы обращаем внимание на интерпретационные возможности лексической и грамматической систем языка. Р. Якобсон говорил о 3 путях выявления интерпретационного фильтра: внутриязыковое, межъязыковое и межкодовое перифразирование [Якобсон 1985].

Проанализируем текстовый фрагмент, для того чтобы показать, как дискретность и недискретность в выражении семантики формируют интерпретационный компонент в языке. Целью авторов «Жука в муравейнике» является создание образа «чужого мира», другой планеты, другого облика, другого мышления и, соответственно, другого языка, слабо соотносимого с языком землян. Для этого выбирается область модальных значений, которая обладает разным интерпретационным потенциалом.

Используя прием **межъязыкового** варьирования, авторы моделируют ситуацию коммуникативного затруднения собеседников, возникшую в результате дискретного в одном языке и недискретного в другом выражения модальных смыслов. Ср.:

– *Щекн, – говорю я, – тебе **хотелось** бы жить на Пандоре?*

– *Нет. Мне **нужно** быть с тобой.*

*Ему **нужно** быть. Вся беда в том, что в его языке всего одна модальность. Никакой разницы между «**нужно**», «**должно**», «**хочется**», «**можется**» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной (реализация модальной семантики желания). А может быть – что его **обязанность** – быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он **намерен** честно выполнить свой **долг**, хотя больше всего на свете ему **хочется** пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох...*

В рефлексии персонажа Стругацких по поводу языковой интерпретации модальности в разных языках упор делается на то, что в языке голованов все модальные смыслы представлены недискретно, а в русском – расчлененно. Однако не случайно в качестве опорного выбрано слово *нужно*, которое и в русском языке совмещает в себе разные модальные смыслы, например долженствования, вынужденности, надобности, потребности, намерения, хотя в вымышленном языке голованов семантическое варьирование этого слова гораздо шире.

Сходная картина наблюдается и в нерасчлененном выражении реальной и ирреальной модальности, представленной в том же произведении. Говорящий сознательно строит свое высказывание так, чтобы собеседник был вынужден выбрать один из недискретно выраженных смыслов. Ср.:

Будем атаковать. Прямо в лоб.

– *Ты с ним встретился, – объявил я. – Он снова пригласил тебя работать?*

*Это могло означать: «Если **бы** ты с ним **встретился** и он **бы** снова **пригласил** тебя **работать**, – ты **бы** **согласился**?» Или*

на выбор: «Ты с ним **встречался**, и он (как мне стало известно) **приглашал** тебя работать?» Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

– Он **не приглашал** меня работать, – возразил Щекн.

Первая реплика состоит из двух частей, утвердительной и вопросительной, и в обеих частях используется немаркированное изъявительное наклонение. Такое деление не случайно, вопросительное предложение ближе к ирреальной модальности, чем утвердительное. В комментарии к этой реплике происходит соединение двух частей первоначальной реплики в одно предложение с семантическим согласованием либо по реальной, либо по ирреальной модальности. Срабатывает второй вариант, а именно: Щекн строит свой ответ на основе реальной модальности, и цель Максима Камерера достигнута: он узнает, что Щекн встречался с Абалкиным. Отметим, что в этом случае помимо недискретности присутствует еще и имплицитность, расчет сделан на выводное знание адресата.

В данном случае возникает иллюзия межъязыкового перифразирования, а на самом деле используются ресурсы и интерпретационные возможности именно русского языка.

Общая идея **внутриязыкового** перифразирования может быть уточнена и конкретизирована. Обычно под внутриязыковым перифразированием понимается синонимия в широком смысле, лексическая и грамматическая: *удивить, поразить, изумить, ошеломить* и др.; *Я удивился, Я удивлен, Меня удивило, Я в удивлении, Мне удивительно, что...* и др. Выявленный путем такого перифразирования интерпретационный компонент в системе эмотивных средств русского языка, обусловленный в том числе и дискретностью / недискретностью представления языкового содержания, обсуждался в статье [Матханова, Трипольская 2009].

Исследуя разные типы дискретности в соотношении с интерпретационным компонентом, можно использовать и другие приемы. Так, плодотворным оказывается анализ аномальных высказываний и текстов, которые воспринимаются как таковые на фоне канонических, например:

День и ночь

*День равен ночи – так бывает вдруг!
День равен ночи! Да и так бывает!
Никто об этом и не забывает,
Никто на это глаз не закрывает,
Но кто супруга, кто супруг? <...>
День равен ночи!
И с хлыстом, во фраке,
Такой же мрачный, как она во мраке,
Он скачет рядом с ней,
Всегда в законном браке,
Милостивый государь Господин Ночь.
Едва свое скрывая торжество <...>
С устами цвета черных шоколадин
Отчаянно смешная.
Госпожа День*

(Л. Мартынов).

В языковой системе слова *день* и *ночь* обладают дискретно выраженным родом (разные системы флексий), но род формальный, семантически опустошенный, не мотивированный лексическим значением. В тексте Л. Мартынова происходит не просто персонификация, но аномальное, противоречащее грамматике, распределение смысловых ролей в супружеской паре: *Господин Ночь* и *Госпожа День*. Здесь используется наряду с внутрисловной дискретностью дискретность межсловная, которая частично нейтрализует первую (дополнительное средство – использование форм только им. п., где формальная дифференциация по роду отсутствует). В языковом сознании читателя происходит столкновение формального рода (под давлением языковой системы) и пола олицетворенных существ, в результате этого возникает неожиданный образ суток, происходит перераспределение ролей ночи и дня: ночь становится активным, доминирующим, действующим началом, а день спокойным, пассивным, зависимым. Такого типа контекст актуализирует интерпретационный компонент, тот фильтр, через который автор предлагает нестандартно посмотреть на ситуацию. Для создания образа понадобились

игра, столкновение разных способов дискретного представления семантики рода.

Приведем пример другого типа взаимодействия межсловной и внутрисловной дискретности:

Три женщины, три дара, три поэта,

Три женских брата,

Ваши имена так музыкальны... (Н. Антонова).

В слове *брат* дискретно (лексически и грамматически) представлена поло-родовая семантика, однако она в этом контексте нейтрализуется и актуализируется смысл 'единство', 'братство', это достигается за счет сочетания со словом *женский*.

Следующий пример демонстрирует избыточную дискретизацию семантики пола, в этом случае актуализируется интерпретационный компонент, хотя категория рода не относится к интерпретационным: она либо «пустая», либо отражательная (пол названного существа). Ср.:

Иван Федорович – отец нескольких дочерей женского пола, художник, уважаемый в Ричмонд Хилле за вежливость и опрятность (журнал «Черновик», аноним)¹.

В слове *дочь* семантика жен. рода дискретно выражена на внутрисловном уровне (системой флексий и лексическим значением), к этому добавляется выраженная дискретно на межсловном уровне семантика женского пола. Именно это избыточное удвоение и создает комический эффект, так как уточнение предполагает отсутствие этой семы или наличие противоположной у слова *дочь*.

Таким образом, мы пытались показать, какие повороты заявленной темы возможны и целесообразны при изучении интерпретационного потенциала языковой системы. Было установлено, что понятия дискретности / недискретности и континуальности сильно варьируются в зависимости от объекта описания. Недискретное представление смысла провоцирует множественность интерпретации, дискретизация языкового и семантического пространства, напротив, может уменьшить интерпретационные возможности говорящего.

¹ Пример взят из работы Л.В. Зубовой [Зубова 2000].

Понятия дискретности / недискретности и континуальности, по нашему мнению, пересекаются с близкими понятиями, используемыми по отношению к смежным лингвистическим феноменам: выделяемость / диффузность, эксплицитность / имплицитность, когезия / делимитация, прямой и косвенный способы представления языкового содержания, скрытые категории, аппликация, выводное знание и др. Осмысление их соотношения представляет собой важную теоретическую проблему, ждущую решения.

ЛИТЕРАТУРА

Бондарко А.В. Интерпретационный компонент языкового содержания // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. СПб., 1987.

Зубова Л.В. Категория рода и лингвистический эксперимент в современной русской поэзии // Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

Комментарий и интерпретация текста. Новосибирск, 2008.

Матханова И.П., Трипольская Т.А. Лакуарность в системе эмоциональных средств русского языка (языковая интерпретация эмоции удивления) // Лакуарность в языке, картине мира, словаре и тексте. Новосибирск, 2009.

Павлов В.М. Полевой подход и континуальность языковой системы // Общее языкознание и теория грамматики: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения С.Д. Кацнельсона. СПб., 1998.

Проблемы интерпретационной лингвистики. Новосибирск, 2000.

Проблемы интерпретационной лингвистики: автор – текст – адресат. Новосибирск, 2001.

Проблемы интерпретационной лингвистики: интерпретаторы и типы интерпретаций. Новосибирск, 2004.

Проблемы выбора и интерпретации языкового знака говорящим и слушающим. Новосибирск, 2007.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

Якобсон Р.О. Избранные труды. М., 1985.

СЛОВАРИ

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. (ТСО)

Словарь русского языка: В 4-х тт. М., 1985 – 1988. (МАС)

НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПАДЕЖНЫХ РАЗЛИЧИЙ В УСТНОЙ РЕЧИ (на материале русского языка)¹

В статье рассматриваются различительные возможности падежных окончаний на материале устной разговорной речи, обсуждаются методы объективной обработки данных, которые послужат основой для описания процесса усвоения детьми русской падежной системы.

1. Введение. Необходимость количественной оценки морфологических явлений

Слабость падежных показателей в устной речи носителей русского языка обычно привлекает внимание лингвистов в тех случаях, когда в поле их зрения попадают те или иные разновидности «отрицательного языкового материала» (в терминологии Л.В. Щербы), например речевая продукция детей, иностранцев или больных афазией. Приведем некоторые примеры лингвистических проблем, для которых важно было бы оценить силу падежных маркеров.

Известная польская исследовательница М. Смочинска именно редукцией безударных окончаний объясняет то обстоятельство, что, по ее данным, русские дети усваивают падежные различия в среднем позже, чем дети, говорящие по-польски [Smoczynska 1985: 596 – 597]. Предположение, высказанное М. Смочинской, в то время невозможно было проверить. Явление редукции без-

¹ Первые наблюдения за функционированием падежных форм в устной речи сделаны в рамках теории функциональной грамматики и финансировались Фондом Президента РФ (грант НШ-1335.2008.6 на поддержку ведущих научных школ).

Дальнейшее исследование в рамках темы «Семантическая и формальная избыточность текста в современном русском литературном языке» поддержано Программой фундаментальных исследований ОИФН РАН, СЛЯ «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации», раздел V. Лингвистические аспекты исследования текста.

ударных слогов, затрагивающее большинство элементов падежной системы, оказывается существенным не для всех падежей или, как минимум, для разных падежей в разной степени. Поскольку, с одной стороны, почти для каждого падежа используются разные окончания, а, с другой стороны, одно и то же окончание может служить для обозначения разных падежей, неясно, в какой степени явление редукции мешает процессу усвоения. К тому же, было недостаточно достоверных данных по детской речи: выводы основывались или на отрывочных наблюдениях за разными детьми, или на немногочисленных лонгитюдных исследованиях (анализе отдельных случаев). Задача сопоставления процессов усвоения в русском и польском языках превращалась в уравнение со многими неизвестными. За последние двадцать лет к источникам данных добавились материалы врачебных наблюдений, которые позволили сделать статистически достоверные выводы.

Одним из самых существенных результатов можно считать средние нормы усвоения падежных различий для мальчиков и девочек. По критериям, разработанным в Институте раннего вмешательства в Санкт-Петербурге и подтвержденным многолетними наблюдениями, мальчики начинают употреблять падежные окончания в среднем в возрасте 31,5 месяца (2 года 6 месяцев), а девочки несколько раньше – в возрасте 27,8 месяца (2 года 3 месяца), причем в обоих случаях отклонение от среднего возраста может достигать 8,5 месяцев [Шапиро, Чистович 2000]. Иными словами, при таком отклонении трудно говорить об усвоении падежных различий русскими детьми в целом, скорее, следует наметить усредненные показатели усвоения того или иного значения. Следовательно, средний возраст усвоения тех или иных грамматических явлений можно теперь объективно оценить. Однако степень влияния редукции на этот процесс остается неясной. Для того, чтобы описать это явление, нужна объективная оценка морфологических особенностей языка, точнее, различных составляющих этих особенностей.

Для более точных прогнозов в сравнении процессов усвоения разных языков детьми в рамках международного проекта «Ранние стадии развития морфологии у детей» были проведены

количественные сопоставления между языками-источниками [Laaha, Gillis 2007]. Типологические параметры были предложены В.У. Дресслером и первоначально обсуждались на семинаре участников проекта «Пре- и протоморфология» в Вене в феврале 2005 года¹. Морфологические показатели вычислялись только для имен существительных и глаголов избранного языка, так как наименования лиц, предметов и действий составляют основной скелет речевого общения взрослого и ребенка. Разумеется, такая картина не претендует на полное описание типологических особенностей языка, однако охватывает его существенную часть.

Предлагалось обследовать морфологическое богатство языка в парадигматическом и синтагматическом выражении, продуктивность используемых показателей, прозрачность, одноформленность и яркость (перцептивную выпуклость, *salience*) морфологических форм на материале специально избранных примеров речевой продукции взрослого, говорящего с ребенком. В качестве образцов речи взрослых были выбраны 900 высказываний взрослого участника коммуникации, по 300 из начального, срединного и конечного периодов лонгитюдного обследования. Для оценки русских данных мною были использованы записи спонтанной речи Филиппа С. в диалоге с матерью, которые были записаны на магнитофон и затем расшифрованы и введены в компьютер в формате CHILDES – Системы обмена данными по детской речи. Записи проводились с интервалом не более 3-х недель в течение 15-ти месяцев, когда ребенок находился в возрасте от 1 года 4-х месяцев до 2-х лет 8-ми месяцев. О том, что эти данные представляют собой обширный и надежный материал, свидетельствуют следующие подсчеты: всего за время обследования в речи ребенка отмечено более 4200 форм имен существительных и более 2000 форм глагола (*tokens*), в речи матери – соответственно около 7500 именных и 6000 глагольных форм. В некоторых случаях подсчеты производились с учетом всего указанного материала, для других показателей мы пользовались анализом примеров (900 высказываний). Независимый анализ данных другого ребенка (девоч-

¹ См. материалы симпозиума “Emergence of Verbal and Nominal Morphology from a Typological Perspective”, состоявшегося 26 июля 2005 г. на X Конгрессе Международной Ассоциации Исследователей Детской Речи в Берлине.

ки Лизы) проводился Н.В. Гагариной. Хотя дети различались по уровню языкового развития и по стратегиям поведения, основные результаты наших подсчетов совпали, это показывает, что были применены верные методики анализа, действительно характеризующие речь русскоязычных взрослых, обращенную к ребенку, а не отдельные индивидуальные особенности такой речи.

Подобная практика может применяться и в дальнейших исследованиях на более обширном материале. Пока неясно, какое количество примеров является репрезентативным для описания языковой системы. Рассмотренных данных было достаточно для того, чтобы адекватно отразить, какая информация становится доступна ребенку в качестве инпута. Однако репрезентативную выборку для анализа языка взрослых необходимо определить экспериментальным путем, предположительно в зависимости от разновидности речевого общения.

Для каждого из избранных показателей была предложена процедура подсчетов, так что полученные результаты могли в дальнейшем использоваться для типологического сравнения. Эти подсчеты позволили удовлетворительно предсказать различия в скорости усвоения детьми морфологических противопоставлений в разных языках. По словам руководителя проекта, австрийского лингвиста В.У. Дресслера, «эпистемологически самый высокий уровень типологии – это квантитативная типология. Это параметрический подход к типологии, при котором по каждому параметру данный класс объектов количественно оценивается по разным языкам» [Dressler 2007: 5]. Можно сказать, что квантитативные методы, медленно внедряющиеся в разные области лингвистики, все же позволяют более объективно оценивать языковые явления как при сравнении языков разного строя, так и при внутриязыковом описании однотипных явлений.

Одним из интересных результатов является то, что имена существительные и глаголы в русском языке по-разному ведут себя по отношению к рассмотренным параметрам. Так, однообразие характерна для 80% глагольных окончаний в русском языке, в то время как у имен существительных этот же показатель равен 1%. Для сравнения соответствующие показатели

в греческом выглядят противоположным образом – у окончаний глагола одноформленность равна нулю, а у флексий существительных достигает 68 % [Stephany et al. 2007: 43]. Это связано в первую очередь, с природой окончаний. Поскольку окончания имен в большей степени ориентированы на гласные, а окончания глаголов – на согласные, то и значимость таких признаков, как фонетическая яркость или одноформленность, для разных частей речи оказалась различной. В целом низкая степень одноформленности и фонетической яркости имен существительных позволяет предположить, что в реальной речи падежные маркеры не являются основным средством выражения грамматических различий между именными формами. Это предположение, а точнее, определение тех контекстов и грамем, для которых маркирование падежа играет существенную роль, требует всесторонней проверки на материале разговорной речи взрослых.

Наиболее удивительный результат дали подсчеты такого параметра, как средний размер именной и глагольной парадигмы. Для определения этой величины была применена простая процедура: общие количества именных и глагольных форм были поделены на количество именных и глагольных лемм соответственно. Величина показателя у русских глаголов оказалась равна 1,65, а у имен – 1,39. Если учесть количество именных и глагольных форм в потенциальной парадигме и представить себе, что в спонтанной речи взрослые участники коммуникации даже не все слова употребляют более чем в одной форме, то становится ясно, что намечается связь между семантикой слов и потенциальным набором их «предпочтительных» форм, особенно у существительных. Следовательно, в процессе понимания и говорения мы не так часто ориентируемся на окончания, как можно вообразить, исходя из парадигматических представлений о русском языке.

Более точный анализ падежных различий в речи взрослых не сможет опровергнуть представление о том, что вокалические окончания в русском языке подвержены сильной редукции в безударной позиции, и поэтому в устной форме речи степень падежного синкретизма (термин Р.О. Якобсона) будет еще выше, чем в речи письменной. Более того, новые исследования показывают,

что не только безударные, но и ударные гласные в беглой речи могут редуцироваться и даже выпадать [Болотова 2005]. Однако представляет интерес вопрос о том, какова степень надежности разных падежных показателей и можно ли провести сравнительную оценку окончаний разных падежей, типов склонения в рамках русской падежной системы. Обладая более объективными данными об этом, мы смогли бы сделать предположения о том, какие из окончаний могут претендовать на большую продуктивность, а какие, возможно, будут утрачены с течением времени.

Анализ отрицательного языкового материала показывает также некоторую близость разных по происхождению образцов «нарушенной» речи. Так, статья Т.В. Ахутиной [Akhutina 1991] демонстрирует определенный порядок восстановления падежных форм у больных афазией: за противопоставлением форм им. и вин. следует маркирование косвенных падежей. Этот порядок возвращения падежных форм в речь больных сходен с порядком усвоения падежных противопоставлений детьми, описываемым в трудах А.Н. Гвоздева, Д.И. Слобина, Н.И. Лепской, М. Бабенышева и других. Не вдаваясь в обсуждение вопроса о правомерности такого сравнения, отметим лишь, что связь между порядком усвоения и распада фонологической системы была одним из основных постулатов известной работы Р.О. Якобсона о звуковых законах детского языка и их месте в общей фонологии. По-видимому, такие связи сообщают нечто существенное и новое не столько о процессах становления и распада, сколько о самой языковой системе, ее стабильном состоянии и типологических характеристиках.

2. Сила и предсказуемость падежных показателей

В. Кемпе и Б. МакУинни предлагают ввести объективные математические критерии измерения сложности падежной системы и силы («валидности») падежных маркеров для сравнения скорости усвоения падежных различий носителями русского и немецкого языков [Кемпе, MacWhinney 1998]. Для описания того, как выражены различия между окончаниями в русской падежной системе, мы обратились к предложенному ими понятию

cue validity — ‘сила (действенность, или валидность) маркера’. Сила грамматического маркера определяется математически как произведение двух вспомогательных параметров: доступности (*availability*) и надежности (*reliability*) маркера. Например, сила окончания винительного падежа определяется следующим образом: сначала общее число его употреблений делится на число предложений с переходными глаголами. Таким образом определяется доступность. Затем общее число предложений, в которых окончание винительного падежа употреблено правильно, делится на число предложений, в которых оно присутствует. Так вычисляется надежность окончания. Произведение этих двух величин и рассматривается как показатель силы маркера. Таким образом, наиболее сильным окажется тот падежный показатель, который регулярно появляется в нужном контексте и не омонимичен никакому другому показателю. В русской падежной системе особенно сильными можно считать окончания косвенных («периферийных», по Р.О. Якобсону) падежей мн. ч. – дательного, творительного и предложного. Во-первых, эти окончания (*-ам, -ами, -ах*) содержат согласные, то есть не в такой сильной степени зависят от ударения, как вокалические окончания, во-вторых, они характерны для всех трех основных склонений. Метод количественной оценки силы падежных показателей нельзя считать до конца разработанным до тех пор, пока не определен необходимый и достаточный для анализа объем текстов. В. Кемпе и Б. МакУинни считали достаточным для целей своей работы обследование сорока страниц учебного пособия по русскому языку. Возможно, это оправданно при описании особенностей усвоения русского языка как иностранного, так как учебное пособие служит при этом основным источником сведений о языке. Однако для определения силы маркера в разговорной речи требуется более представительный материал. Неясен также и набор падежных функций. В качестве грамматической функции в цитируемой работе принималось само значение некоторого падежа, то есть рассматривалась, например, вероятность употребления окончания *-е* в функции предложного или дательного падежа в определенном типе склонения.

В разговорной речи, в которой показатель [э] встречается только в ударной позиции, следует рассматривать по отдельности ударные и безударные варианты окончаний дательного и предложного падежей, что может снизить их надежность в два раза. Русская падежная система представляет образец ненадежного грамматического маркирования из-за того, что безударные гласные среднего ряда [и]/[е] и среднего подъема [о]/[а] не различаются, а жесткого порядка слов в русском языке нет. Для первичной оценки мы проанализировали употребление винительного падежа в 900-х произвольно выбранных высказываниях взрослых и определили силу маркера винительного падежа. Для различных окончаний винительного падежа в нашем отрезке данных сила маркера выразилась в следующих числовых характеристиках: [у] – 0,39 (*мату*), [о] – 0,09 (*стол*), [ую] – 0,05 (*столовую*), [о] – 0,014 (*молоко*), [а] – 0,0025 (*друга*), [а] – 0,0017 (*кресло*). Подробнее о данных и процедуре подсчета см.: [Воейкова 2008: 129 – 132].

По результатам первичного обследования видно, что окончание -у в винительном падеже характеризуется наибольшей силой. Для некоторых окончаний необходимо учитывать дополнительные разграничения, такие как одушевленность или ударность. Именно в этих случаях при сопоставимости других параметров сила маркера оказывается самой маленькой. Наименьший показатель силы отмечается для безударного окончания -а в среднем роде, так как оно обладает высоким уровнем синкретичности: окончание -а встречается также и как маркер именительного падежа 2 склонения, винительного падежа 1 склонения у одушевленных, родительного падежа 1 склонения, а также именительного и винительного падежей некоторых существительных во множественном числе. Значит, разные падежные флексии содержат разную степень информации о том грамматическом значении, которое они передают. В некоторых случаях окончание можно опознать легко, используя бинарную процедуру опознания: так, для -у это будет выбор между винительным ж.р. и дательным м.р. В других случаях окончание позволяет только исключить какие-то граммы: например, окончание -и (или, точнее, его безударный призвук) у слов ж.р. на согласный

типа *мышь* означает лишь то, что слово стоит не в им., вин. или твор. падеже.

Относительная слабость большинства безударных падежных окончаний косвенно подтверждается также и тем фактом, что и в устной, и в письменной речи они могут быть легко восстановлены, даже в том случае, если они замаскированы каким-то шумом или утрачены на письме. Процент восстанавливаемости падежных окончаний по данным экспериментов составляет от 66 до 83% в устной речи [Ягунова 2007]. Для письменной речи этот показатель достигает 84% [Грудева 2007: 120]. Это означает, что лишь в небольшом проценте случаев падежные окончания служат для передачи грамматических значений, в других же употреблениях участники коммуникации опираются на какие-либо другие механизмы определения семантической функции существительного, такие как значение, порядок слов, глагольное управление.

Падежные окончания оказываются предсказуемыми благодаря высокому уровню избыточности языка. Причем если присвоение окончания происходит в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего, то есть совершается сознательно, то другие так называемые «вспомогательные механизмы» определения грамматического значения действуют на уровне автоматизма. Можно предположить, что их действие недостаточно изучено и описано в грамматике русского языка.

3. Порядок компонентов в высказываниях с формами косвенных падежей существительных и местоимений

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что падежные окончания личных местоимений обладают значительно большей силой по сравнению с флексиями существительных. Во-первых, они находятся в ударной позиции, так что остаются перцептивно выпуклыми даже в устной речи. Во-вторых, они являются уникальными, то есть не пересекаются с окончаниями других частей речи (ср. *его, ему*), а если и пересекаются (ср. флексии полных прилагательных), то имеют аналогичные функции, иными словами, выступают как суперстабильные маркеры (термин

В. Вурцеля). Это становится возможным благодаря участию в процессе падежного маркирования не только гласных, но и согласных (ср. *нам, вам, им*). В-третьих, флективное маркирование подкрепляется супплетивизмом основ местоимений, из-за которого опознание формы можно начать сразу же после ее произнесения. Приведем в качестве примера точку зрения П. Гарда, в соответствии с которой основа личных местоимений регулярно представляет собой один согласный, за которым следуют флексии, причем набор форм местоимений не совпадает и значительно превышает соответствующий набор форм имен существительных [Гард 1985: 217 – 227].

Все эти обстоятельства, а также высокая частотность в речи позволяют формам местоимений надежно предсказывать появление глагола определенной группы, необходимость которого в высказывании не столь очевидна, как в случае с существительными. Ср. распространенные безглагольные высказывания с участием групп местоимений и распространенным пропуском глаголов, особенно глаголов передачи и речи: *ты мне, я тебе, а он ему (говорит), а она на меня (закричала)*.

Наличие согласных делает флексии более «выпуклыми» (salient) с фонетической точки зрения и более стабильными. Кроме того, личные местоимения обладают несравненно большей частотностью в речи по сравнению с именами существительными. Частотность, как показано в [Corbett, Hippisley, Brown & Marriott 2001], компенсирует нерегулярность формообразования. Можно предположить, что у высокочастотных местоимений формы не образуются в акте речи, а сохраняются в памяти и воспроизводятся в готовом виде. Аналогично и при восприятии такие формы узнаются слушающим без разложения на основу и флексию. Такое разложение было бы особенно затруднительно, если учесть частичный супплетивизм основ местоимений, который является причиной расхождений между исследователями в вопросе о морфемной границе внутри форм личных местоимений.

Наши данные показывают, что в современной разговорной речи существует тенденция к контактному употреблению двух местоимений, например: *Он меня не понимает; Она себе вредит*

встречается значительно чаще, чем: *Он не понимает меня; Она врет себе*. Хотя никаких запретов дистантного употребления местоимений в современной речи не существует, можно заметить, что носители русского языка стараются поставить два личных местоимения рядом и перед глаголом. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что из 562 примеров с двумя формами личных местоимений в 485-ти эти местоимения были в контактной позиции. Не исключено, что в таком употреблении формы достигают наибольшего контраста, что само по себе играет роль вспомогательного механизма при их восприятии. Ср. такое соположение местоимений в примере: *Он меня боялся, и он от страха мог быть агрессивным*¹.

Контактные местоимения задают субъектно-объектную рамку высказывания, инициирующую «эффект ожидания» глагола-сказуемого определенного семантического типа. Не случайна относительная самостоятельность парных местоимений в уже упомянутых безглагольных эллиптических конструкциях *кто кого, кому что* и т.д. В каждом случае существует некоторый прототипический глагол, который мыслится в роли предиката таких конструкций, например: *Ты мне поможешь, а я тебе; кто кого победит; кому что нравится*. Однако на месте прототипических предикатов могут оказаться и другие глаголы, относящиеся к той же семантической группе. В живой речи соположение местоимений не обязательно задает однозначно семантическую группу предиката (ср. широкий спектр глаголов, которые можно было бы употребить в последнем примере: *любил, ненавидел, опасался, слушался, мучил, изводил, раздражал, доводил до бешенства* и т. д.). Таким образом, некоторые комбинации личных местоимений задают открытый ряд предикатов, для других же характерен закрытый ряд, ограниченный рамками определенной семантической группы.

Контактное положение местоимений и их препозиция по отношению к глагольному слову нехарактерны для имен существительных. В случае, когда именные группы разделены глаголом, существенным для оформления падежа обстоятельством

¹ Примеры взяты из Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

является пост- или препозиция именной группы по отношению к предикату. Предварительные подсчеты процентного соотношения пре- и постпозиций одиночных падежных форм, сделанные на материале корпуса разговорной речи из 42 тыс. словоформ, показали, что 84% существительных были употреблены после глагола [Воейкова 2008]. Это процентное соотношение говорит в пользу стремления именных групп к избыточному маркированию, точнее, к тому, что формы существительных отличает высокая степень предсказуемости, например: *Кстати, ты вспомнила про полутрупики, и мне сразу захотелось полить свой кактус* (Из записей разговорной речи). Для этого примера оказывается существенным также выбор предлога *про* для обозначения темы сообщения, так как он исключает неоднозначность, характерную для синонимичного предлога *о*, и в комбинации с глаголом точно предсказывает появление вин. пад. Для сравнения отметим, что лишь 14% местоимений были употреблены после управляющих ими глаголов. По этим данным можно предположить, что в разговорной речи наблюдается тенденция к избыточному маркированию косвенных падежей у существительных, в то время как местоимения тяготеют к основному падежному маркированию при помощи флексий, без опоры на контекст.

4. Падежное маркирование имен прилагательных в комбинации с местоимением «такой»

Управление представляет собой лишь одну из разновидностей избыточного грамматического маркирования, точнее – контекстной предсказуемости. Другой вариант грамматической избыточности наблюдается при восприятии атрибутивных сочетаний, в которых дублируется указание на число и падеж, а в единственном числе – еще и на род имени существительного, ср. *поздней осени* и *чахоточная дева*. Хотя окончания полных прилагательных отличаются большей перцептивной выпуклостью по сравнению с окончаниями существительных, так как они представляют собой последовательность из нескольких звуков, а иногда и слогов, синкретизм свойствен им еще в большей степени, чем формам существительных. Имя прилагательное, стоящее в препозиции, указы-

вает на несколько возможных последующих форм существительного, форма которого разъясняется только с его появлением. Более того, говорящий иногда употребляет ошибочную форму падежа имени существительного, принимая во внимание форму вводящего его прилагательного, ср. распространенную в разговорной речи форму предложного падежа на родительный **об этих планов* вместо *об этих планах* [Русский язык 1996: 237 – 302]. М.В. Русакова объясняет такие речевые сбои тем, что форма прилагательного подталкивает говорящего к автоматическому употреблению той формы существительного, которая является частотной или хотя бы возможной в сочетании с данным прилагательным [Русакова 2006]. Говорящий очевидно меняет форму существительного, «подстраивая» его к уже произнесенному прилагательному. Это лишний раз показывает важность синтагматических связей на всех этапах порождения высказывания.

Функционирование атрибутивных сочетаний отличается следующими особенностями: прилагательное позволяет отчасти усилить перцептивность падежной формы или снять двусмысленность контекста, ср.: *рысь съела белую мышь*, однако эффективно это происходит лишь в тех случаях, когда оно обладает ударным окончанием, например: *Аннабель купила такУю маленькую брошь*. Таким образом, в поле нашего зрения попали не только элементарные атрибутивные сочетания, но и трехкомпонентные атрибутивные сочетания с местоимением *такой*. Мы рассмотрели, в частности, сочетания с вин. пад. м.р. в устном подкорпусе НКРЯ. Элементарных атрибутивных сочетаний в результатах нашего поиска оказалось около 38900 случаев (округляя до 100), из них приблизительно 28900 случаев содержало неодушевленное имя существительное, например: *Хрюндель, остановись, я не могу больше! Ой, ненавижу русский язык!* Сочетания с одушевленным существительным встретились чуть ли не в два с половиной раза реже, ср.: *Ну взяли нового гитариста, что с того-то; Есть мнение, что вам не стоит голосовать за действующего губернатора на этих выборах*. Это соотношение объясняется в первую очередь семантической предрасположенностью, тем обстоятельством, что неод. сущ. чаще встречаются

в позиции прямого объекта, чем одушевленные. Помимо этого, резонно предположить и некоторую структурную роль, которую прилагательные играют в данном контексте. Она выявляется ярче всего в трехкомпонентных сочетаниях. Их в нашем подкорпусе встретилось всего 24, причем все они включали одушевленное существительное, например: *Ладно, так уж и быть. Я вчера **такого потрясного парня** подцепила!; Я как отец очень рад, что выдаю нашу единственную дочь за такого красного молодца; Ну за что, скажи, за что вот эта прекрасная девушка должна была полюбить такого невзрачного человека; Вот вы простудитесь, потом будете ругать такого нескладного Латина.*

Пока что у меня нет объяснения этому обстоятельству, тем более что оно может оказаться случайностью. Необходимо провести более точное обследование функционирования трехкомпонентных сочетаний. Однако я считала бы необходимым включать в число функций местоимения *такой* структурную функцию однозначного указания на падеж, тем более что, как представляется, в некоторых случаях оно не несет никакой смысловой нагрузки, ср. пример его семантически «пустого» использования с относительными прилагательными: *Надо просто стараться как-то найти общее мнение и все подвести к тому, что надо поступить так, как мы хотим поступить, а не пытаться действовать таким военным путем.*

Следующая проверка должна дать ответы на вопрос, является ли перифрастическое сочетание прилагательного и существительного примером избыточного маркирования. Если удастся заметить в функционировании таких сочетаний некоторые закономерности, которые нельзя объяснить их семантикой, можно подозревать, что они выполняют структурную роль. Так, в нашей выборке *такой* в большинстве случаев соседствует с прилагательным, ударение в котором падает на основу, в этом случае играя роль единственного надежного показателя.

ЛИТЕРАТУРА

Болотова О.Б. Выпадения гласных в связной речи // Интегральное моделирование звуковой формы естественных языков. СПб., 2005.

Воейкова М.Д. Падежные противопоставления в русском языке:

синтагматические связи в устной речи // Проблемы функциональной грамматики. Категоризация семантики. СПб., 2008.

Грудева Е.В. Избыточность и эллипсис в русском письменном тексте. Череповец, 2007.

Русакова М.В. К проблеме значения и функции русского падежа: стратегии падежного оформления в русском языке // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Филология. Востоковедение. Журналистика. Серия 9. Вып. 1. 2006.

Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). М., 1996.

Шапиро Я.Н., Чистович И.А. Руководство по оценке уровня развития детей от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI-2000. СПб., Институт раннего вмешательства, 2000.

Ягунова Е.В. Вариативность стратегий восприятия звучащего текста (экспериментальное исследование на материале русскоязычных текстов разных функциональных стилей). Пермь, 2008.

Akhutina T.V. Is Agrammatism an Anomaly? *Grazer Linguistische Studien*, 1991.

Corbett G., Hippisley A., Brown D., Mariott P. Frequency, regularity and paradigm: a perspective from Russian on a complex relation // Frequency and the emergence of linguistic structure. Amsterdam, Philadelphia, 2001.

Dressler W.U. Introduction // Laaha S., Gillis S. Typological perspectives on the acquisition of noun and verb morphology. Antwerp papers in linguistics. Antwerpen, 2007.

Laaha S., Gillis S. Typological perspectives on the acquisition of noun and verb morphology. Antwerp papers in linguistics. Antwerpen. 2007.

Stephany U., Voeikova M., Christofidou A. Gagarina N., Kovacevic M., Palmovic M., Hrzica G. Strongly inflecting languages: Russian, Croatian and Greek // Laaha S., Gillis S. Typological perspectives on the acquisition of noun and verb morphology. Antwerp papers in linguistics. Antwerpen. 2007.

Smoczyńska M. The acquisition of Polish. // The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, Dan I. Slobin (ed.), vol. 1, 1985. Hillsdale, NJ/ London: Lawrence Erlbaum.

PARALLELISM AS AN ANAPHORA RESOLUTION FACTOR IN RUSSIAN

Лингвистические теории предлагают противоречивые варианты резолюции анафорических местоимений и выстраивают противоречивые иерархии свойств референта – в зависимости от его характеристик или от характеристик дискурса. При этом роль параллелизма в резолюции анафоры оценивается неоднозначно. Под параллелизмом в данном исследовании понимается такая организация двух последовательных предложений, которая учитывает совпадение синтаксических ролей анафоры и антецедента, например, в позиции подлежащего: *Отец обнимает сына. Он громко смеется* (синтаксический параллелизм) или опирается на совпадение позиций анафоры и антецедента: *Отец обнимает сына. Громко смеется он* (позициональный параллелизм). В экспериментальной работе исследуется влияние параллелизма на резолюцию анафоры детьми и взрослыми и обсуждаются проблемы континуальности и дискретности в резолюции анафоры.

Коротко представим результаты предыдущих работ по рассмотрению резолюции анафоры у русскоговорящих детей и взрослых. Так, в работе [Гагарина 2009] показано, что трехлетние дети при резолюции анафоры руководствуются семантической категорией одушевленности и, по-видимому, еще не могут учитывать синтаксическую роль при выборе антецедента. Стратегии резолюции местоименной анафоры пятилетних детей наибольшим образом напоминают стратегии взрослых, хотя и не являются им идентичными, то есть континуальности в резолюции анафоры не наблюдается. В другом исследовании было показано, что при резолюции анафоры в координативных структурах дети и взрослые руководствуются принципом минимального линейного расстояния до антецедента (синтаксическая роль антецедента – подлежащее); данный принцип проявляется в более слабой степени

у детей младшей группы, и его роль усиливается с возрастом. В данном случае можно постулировать континуальность в резолюции анафоры [Гагарина 2009].

Эксперимент, описываемый ниже, направлен на выявление роли параллелизма в резолюции личного местоимения *он* в функции подлежащего и прямого дополнения. Было протестировано 18 взрослых и 20 детей в возрасте пяти лет. Участникам эксперимента были предложены ситуации с протагонистами-игрушками; демонстрация ситуаций сопровождалась речевыми стимулами. (см. **Таблицу 1**. Типы стимулов). Последнее предложение стимула участники должны были продемонстрировать на протагонистах-игрушках, которые они держали в руках. Результаты показали, что дети и взрослые чаще всего используют одинаковые стратегии резолюции анафоры. Наиболее близкими оказались результаты в стимуле a2, где и дети и взрослые руководствуются синтаксическим параллелизмом в максимальной степени. Наиболее различными оказались результаты в стимулах a3 и o2, где стратегии двух групп испытуемых различаются следующим образом: взрослые в большей мере опираются на сходство синтаксических ролей antecedента и анафоры, а дети – на сходство начальной и конечных позиций antecedента и анафоры.

Для получения более достоверных результатов требуется проведение статистических подсчетов на более обширном материале и уточнение характеристик стимулов.

Various theories of anaphora resolution organize resolution factors in hierarchies in which parallelism occupies different positions. These anaphora resolution factors are seen as the cues contributing to the salience of the antecedents; and it is implied that anaphora are resolved into the most salient antecedent. Accepting this postulate, I first present (without any further discussion) various ‘hierarchical positions’ that are attributed to parallelism by the four major anaphora resolution theories. In the Classical Centering theory [Brennan, Friedman and Pollard 1987; Grosz, Joshi and Weinstein 1995], parallelism is overruled by the subject role and in the Functional Sentence Perspective or Topic Focus Articulation [Haijiоva, Partee and Sgall 1993], paral-

lelism is overruled by the semantic inferences. The Functional Centering theory [Strube and Hahn 1999] places parallelism at the lowest position in its hierarchy schemata and only the Integrated Model of anaphora resolution [Mitkov 2002] situates (semantic and syntactic) parallelism at the top of the hierarchy and considers it the most favorable resolution cue. Thus, only the latter approach acknowledges the highest influence of parallelism on the anaphora resolution strategy. Yet, already in the seventies, the impact of parallelism on the anaphora resolution had been recognized [Grober, Beardsley and Caramazza 1978; Garvey, Caramazza and Yates 1976]. However, no differentiation between various syntactical roles of the antecedents/anaphora was done. In the nineties, the studies disentangled the subjecthood and parallelism and compared their detached role in the assignment of the referent to the pronominal anaphora (e.g., [Chambers and Smyth 1998; Stevenson, Nelson and Sremming 1995; Smyth 1994]).

In particular, previous studies on parallelism as a resolution cue had shown that “parallel function reflects the use of correspondence between sentence structures in comprehension” [Stevenson, Nelson and Sremming 1995: 393], while “subject assignment strategy reflects the topic status of the subject noun phrase”. Stevenson et al. 1995 contrasted a strategy of pronoun comprehension based on grammatical parallelism with a “simpler strategy based on reference to an earlier subject noun phrase” [Stevenson, Nelson and Sremming 1995: 394]. Much later, [Kertz, Kehler and Elman 2006] compared a Coherence Hypothesis with the preference-based analyses of pronoun interpretation, including the Parallel Function Preference and the Subject Preference. They showed that the manipulation of coherence can methodically disrupt the assignment preferences; furthermore, only the Coherence Hypothesis can stand for the regular choices of the coreference patterns. Following Kehler (2002) they argue, that apparent preferences follow from inferring processes which support different types of coherence relation.

Within the framework of the Centering theory, [Chambers and Smyth 1998] failed to show that “pronoun will increase coherence when it corefers with the subject of the previous utterances”¹.

¹ T. Wykes found out, that children have difficulties in assigning reference to pronouns “when there is more than one pronoun in a sentence” [T. Wykes 1981: 277].

The majority of the studies were performed with the speakers of English, a language with the strict word order. In a language allowing various word orders, the pronoun comprehension strategies should be stronger influenced by the parallelism.

The present experimental study distinguishes between positional and syntactical parallelism and aims at answering the question ‘*on what type of parallelism, if any, do Russian-speaking adults and children rely on in the resolution of pronominal anaphora?*’ Under positional parallelism in this study I understand the similar positions of the referents and anaphora in the sentence, i.e. initial preverbal vs. final postverbal positions. For example, the positional parallelism is said to govern the assignment of the referent if in (1)*a* the pronoun *Его* is resolved to *Жук*, in (1)*b* the pronoun *Он* is resolved to *Тигр* and the pronoun *его* – to *лев*. Syntactical parallelism (the parallel function strategy, in terms of Stevenson et al. 1995: 394) is a strategy that assigns the referent to the anaphora of the base of the similarity of the syntactical roles – the subject and the object roles. Thus, this type of parallelism will be ‘at work’ if in (1)*a* the pronoun *Его* is resolved to *краба* and in (1)*b* the subject and object anaphoric pronouns are respectively resolved to the subject and object antecedents.

(1) *a.* Божья коровка, жук и краб – старые друзья. Жук и краб играют с песком. Жук закапывает краба. Его трогает божья коровка.

b. Лев и тигр бродят по лесу в поисках еды и выходят на лужайку. Тигра встречает лев. Он приветствует его.

The experimental study was performed with 18 adults and 20 children at age five. The participants heard the short story accompanied by the participants’ and experimenter’s manipulations with the puppet-animals and were asked to act out the last sentence (this last sentence contained the pronominal anaphora). Eight variations were presented to the participants (Table 1). The antecedent sentences exhibited the variation of the following characteristics: (a) the information status (the old vs. new information (the pre- vs. postverbal position)), (b) the syntactical role (subject and object). In the anaphora sentences, the syntactical role (subject and object) and sentence position of the personal masculine anaphora varied.

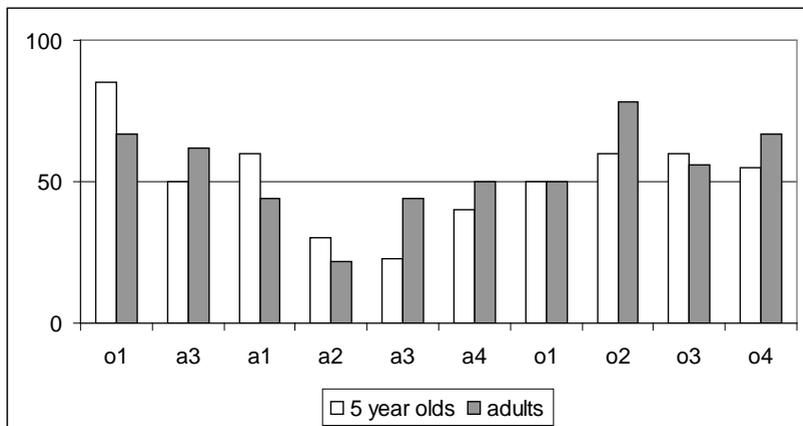
Table 1. The stimuli types

	Introduction sentence	Antecedent sentence	Anaphoric sentence
a1	Ladybird, Participant ₁ and Participant ₂	Subject ₁ Verb Object ₂	Ladybird verb HIM
a2	Ladybird, Protagonist ₁ and Participant ₂	Subject ₁ Verb Object ₂	HIM verb Ladybird
a3	Ladybird, Participant ₁ and Participant ₂	Object ₂ Verb Subject ₁	Ladybird verb HIM
a4	Ladybird, Participant ₁ and Participant ₂	Object ₂ Verb Subject ₁	HIM verb Ladybird
o1	Participant ₁ and Participant ₂	Subject ₁ Verb Object ₂	HE verb HIM
o2	Participant ₁ and Participant ₂	Subject ₁ Verb Object ₂	HIM verb HE
o3	Participant ₁ and Participant ₂	Object ₂ Verb Subject ₁	HE verb HIM
o4	Participant ₁ and Participant ₂	Object ₂ Verb Subject ₁	HIM verb HE

Results are presented in Table 2, which demonstrates the percentage of positional parallelism strategy as a resolution cue. Results show that children and adults are sensitive to the sentences with the similar structures and various protagonists: the o1 and a3 stimuli show various reactions, although they have the similar structures.

The strongest tendency to rely on positional parallelism is seen in adults in stimuli o2; this is the condition where the two anaphoric pronouns in the object preverbal and subject postverbal positions do not replicate the antecedents' positions in the previous sentence.

Table 2. The positional parallelism strategy
(the first two items are training items)



¹ Participant1 and Subject1 are the same protagonists. The same is true for protagonists indexed under number 2.

Children rely on syntactical parallelism in the stimuli a2 and a3 (whereas adults use this strategy only in a2): in a2 the pronominal object occupies the preverbal position and is ‘topically’ marked, in a3 the antecedent object occupies the preverbal position and is ‘topically’ marked. In both stimuli the positions of the objects in the antecedent and anaphora sentences are contrasted. Thus, the syntactical parallelism can be said to be ‘at work’ when objects (antecedents and/or anaphora) occupy preverbal positions and exhibit topicality.

ЛИТЕРАТУРА

Гагарина Н. В. Резолюция личного местоимения мужского рода *он* в детской речи: экспериментальное исследование дошкольников // Вопросы психолингвистики. 2009. № 9.

Brennan S.E., Friedman M.W., Pollard C.J. A Centering Approach to Pronouns. // Paper read at the 25th Annual Meeting of Association for Computational Linguistics, at Stanford.

Chambers C.G., Smyth R. Structural Parallelism and Discourse Coherence: A Test of Centering Theory // Journal of Memory and Language. 1998. № 39.

Garvey C., Caramazza A., Yates J. Factors Influencing the Assignment of Pronoun Antecedents // Cognition. 1976. № 3.

Grober E., Beardsley W., Caramazza A. Parallel Function Strategy in Pronoun Assignment // Cognition. 1978. № 6.

Grosz B., Joshi A., Weinstein S. Centering: a framework for modeling the local coherence of discourse // Computational Linguistics. 1995. № 21.

Найинова Е., Partee B., Sgall P. Topic-Focus Articulation, Tripartite Structure and Semantic Content. Dordrecht: Kluwer, 1993.

Kehler A. Coherence, Reference, and the Theory of Grammar: CSLI Publications, 2001.

Kertz L., Kehler A., Elman J.L. Grammatical and Coherence-Based Factors in Pronoun Interpretation // Paper read at The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, July 26 – 29, at Vancouver, BC, Canada.

Mitkov R. Anaphora Resolution: Studies in Language and Linguistics. Longman, 2002.

Smyth R. Grammatical Determinants of Ambiguous Pronoun Resolution // Journal of Psycholinguistic Research. 1994. № 23.

Stevenson R.J., Nelson A.W.R., SremmingK.. The Role of Parallelism in Strategies of Pronoun Comprehension // Language and Speech. 1995. № 38.

Strube M., Hahn U. Functional Centering: Grounding referential coherence in in-formation structure // Computational Linguistics. 1999. № 25.

УДК 81

Е.В. Скворецкая
Новосибирск

ЭПИДИГМАТИЧЕСКАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

В статье представлены доказательства существования эпидигматических связей как отношений варьирования и мотивации на каждом уровне языка. Обращено внимание на континуальность в эпидигматических звеньях в семасиологии.

Понятие дискретности в лингвистике прежде всего соотносится с изучением языка как системы систем. Оно соответствует знаменательным открытиям в естественных и технических науках во второй половине XIX в. Учение Ч. Дарвина об эволюции биологических видов, закон Г.И. Менделя о наследственности, Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, расщепление молекул в физике – все это представило живую и неживую материю как дискретную. Молекула и выделенный в ней атом (сначала как «неделимый») соответствовали открытию и изучению И.А. Бодуэном де Куртенэ и его учениками (в том числе в Пражской лингвистической школе) фонемы и морфемы как абстрактных сущностей, которые в речи реализуются в определенных вариантах.

При изучении лингвистического объекта можно видеть минимум два проявления его дискретности: 1) членимость соответствует дифференциации (иногда актуализации какого-то элемента) **континуума действительности** (например, выявление и описание структуры лексических парадигм, семный анализ значения слова); 2) дискретность, которая соответствует прерывистости **самой языковой структуры**, когда эта делимость формирует

определенные «значимости» (Ф. де Соссюр), соответствующие, например, тому, что вторичное значение слова мотивируется первичным, словообразовательный дериват выводится из другого слова. В этом случае соотношение с членимостью континуума действительности опосредовано.

Наша работа соответствует второму проявлению дискретности, а именно эпидигматическому измерению языка. Под измерениями языка (кроме «нового тривия» **семантика, синтактика и прагматика** [Виноградов 1997: 139]) понимаются фундаментальные базовые отношения, то есть отношения наиболее общего типа между единицами языка каждого уровня [Степанов 1985: 3]. Такими отношениями признаны **парадигматика и синтагматика**.

Д.Н. Шмелев ввел понятие о третьем измерении в области лексики – ассоциативно-деривационных отношениях, **эпидигматике**. «Будучи двусторонними единицами, единицы лексики, – писал Д.Н. Шмелев, – находятся в таких отношениях друг с другом, которые не могут быть сведены к их парадигматическим и синтагматическим отношениям: благодаря тому, что каждая из этих единиц имеет материальную «форму» и смысловое «содержание», она является в какой-то мере средоточием и этих двусторонних связей, объединяющих ее, с одной стороны, с рядами «формально» близких слов (имеется в виду словообразовательное гнездо. – *Е.С.*), с другой – с теми точками «семантического пространства», с которыми так или иначе связано ее собственное смысловое «содержание» (имеется в виду семантическая структура слова. – *Е.С.*) [Шмелев 1973: 191].

Три измерения лексики не автономны. Взаимодействие эпидигматики, парадигматики и синтагматики можно наблюдать на уровне использования лексико-семантических вариантов слова. Например, каждое из значений слова **земля** имеет свои особенности в синтагматике и принадлежит к определенному тематическому объединению: *твердая земля* 'почва', *русская земля* 'страна, государство'; *Земля вращается вокруг Солнца* 'планета'. Каждый из лексико-семантических вариантов этого слова имеет определенное отношение к словообразовательной деривации (*земляной, земной, землетрясение, земляца* и др.).

Понятие третьего (эпидигматического) измерения лексики еще прочно не вошло в лингвистическую теорию, тем более, что есть исследователи (например, П.Н. Денисов, М.И. Задорожный), отрицающие наличие этих связей в языке.

Определяя парадигматические отношения как селективные, то есть отношения выбора, М.И. Задорожный [Задорожный 1985: 20–21, 29–30] не видит разницы между парадигматикой и эпидигматикой, говоря о том, что производное значение, производное слово вступает с производящим тоже в селективные отношения. Действительно, это имеет место, но не столько в самих деривационных связях, сколько в использовании их носителями языка. Например, говорящий может выбрать (для реализации одной и той же речевой ситуации) или производящее слово, или его дериват: *дом отца – отцовский дом; Прилив проявил себя мощно, агрессивно – Вода прилиwała мощно, агрессивно.*

Деривационные отношения соотнесены в лексике с парадигматикой и синтагматикой (о чем свидетельствует и начальное древнегреческое *эпи-*, обозначающее 'с', 'около', 'вместе', в термине *эпидигматика*), имеют собственные отличительные черты. Характер отношений внутри таких парадигм, как семантическая структура слова и словообразовательное гнездо, – другой, по сравнению с природой связей, например, в тематической группе, проявляющих родо-видовые отношения, отношения части и целого. Деривационные отношения – это отношения варьирования, мотивированности. Парадигматические отношения в лексике прежде всего отражают дискретность континуума действительности, а деривационные соотносятся с двойной референцией – и к миру слов, и к миру вещей.

Конечно, деривационные отношения прежде всего проявляются на лексико-семантическом уровне (варьируется содержательная сторона) и на словообразовательном уровне (варьируются и содержательная и «формальная» стороны). Согласимся и с тем, что содержательно-формальное варьирование можно наблюдать и на синтаксическом уровне, когда грамматическая семантика варьируется в трансформах ядерных предложений: *Учитель проверяет тетради – Тетради проверяются учителем – Пусть учитель проверит тетради* и т.д.

Изоморфизм всех уровней языка, в связи с этим, представлен так называемой **алло-эмической** системой: на каждом уровне, начиная с самого простого – фонематического, имеются **эмические** сущности (единицы языка, в названии которых есть суффикс **-ем-**: фонема, морфема, лексема) и **аллоединицы**, то есть их варианты.

Но если на лексемном уровне мы наблюдаем содержательное варьирование, на словообразовательном и синтаксическом – формально-содержательное, то на морфемном и фонемном только формальное. Таким образом, все уровни языка проявляют отношения варьирования, мотивации, деривации в широком понимании. В связи с этим, видимо, можно говорить о третьем измерении языка (наряду с парадигматикой и синтагматикой).

Применение континуально-дискретного анализа как универсального и базового для многих других способов и принципов исследования языковых фрагментов позволяет в нашем случае не только определить специфику эпидигматического измерения языка на разных его уровнях, но и наблюдать особенности функционирования отдельного звена деривационной лексической микропарадигмы.

Так, отдельные вторичные лексико-семантические варианты, в зависимости от способа переноса наименования, проявляют разную степень содержательной дискретности.

При метонимическом переносе (с использованием синекдохи) можно видеть совмещение вторичного и исходного лексико-семантических вариантов. Например: *И мысли в голове Волнуются в отваге...* (Пушкин). Слово **голова** использовано в значении 'ум, сознание', но при этом и исходное 'верхняя или передняя часть туловища человека или животного' значение тоже присутствует. Ср. также: *Головы твоей, мой милый, Не спасет мой талисман* (Пушкин). Словоформа **головы** эксплицирует не только значение 'жизнь', но и первое значение полисеманта.

Переносное метафорическое значение обычно более автономно по отношению к исходному. Например: *И тополи, стеснившись в ряд, Качают тихо головою* (Пушкин). Реализовано значение 'крона дерева', которое заметно «отодвинуто» от первого;

актуализируются только два признака предмета, которому уподобляется верх дерева, – местоположение и форма.

В контексте, как правило, многозначное слово используется в одном из своих значений. Но есть случаи совмещенности нескольких лексико-семантических вариантов, иными словами, проявляется континуальность лексического содержания, лексико-семантический синкретизм, о чем может свидетельствовать дистрибуция семемы. Проиллюстрируем это на употреблении слова **дом** в стихотворениях И. Бунина.

Основные значения этой лексемы следующие: 1) 'строение', 2) 'жилое помещение', 3) 'семья'... [МАС 1985]. Автономную реализацию первого значения находим, например, в строчках: *На синеве и белый дом, И белая высокая ограда слепят глаза ...* (Зимняя вилла). Синкретизм первого и второго значения проявляется в следующем отрывке из стихотворения «Ранний чуть виден рассвет»: *Тих и таинственен дом, с крайним заветным окном...* Именные сказуемые и определение к словоформе **окно** имплицитно свидетельствуют о том, что, возможно, в этом доме жили радостно и шумно, была влюбленность, а с нею – тайна... Ср. также: *Часы стучат, И старый дом беззвучно мне говорит: Да, без хозяев скучно!* (Запустение).

О неразграниченности лексико-семантических вариантов 'строение', 'жилье', 'семья' в употреблении слова **дом** свидетельствуют следующие контексты: *Поэт о том, что все обман, Что лишь на миг судьбою дан И отчий дом, и милый друг, И круг детей, и внуков круг* (Петух на церковном кресте); *И молодость простая, чистая В кругу любимом и родном, И старый дом, и ель смолистая В сугробах белых под окном* (Сириус).

На соединение значений 'жилая постройка' и 'семья' может указывать притяжательное местоимение **наш**: *Дорогая Олечка, Подари мне кроличка И пришли в наш дом Заказным письмом...; ... Пишу тебе о том, Что мушки и букашки покинули наш дом...* (Письма Дяди Вани Олечке Жировой).

При использовании перцептивных прилагательных можно наблюдать диффузную континуальную синестезию: на уровне слова (*мокрый асфальт* – тактильность и визуальность), на уровне

словосочетания (*голубая тишина* – визуальность и слуховое впечатление), на уровне высказывания (... *Тих мой край после бурь, после гроз, И душа моя – море безбрежное – дышит запахом меда и роз* (С. Есенин) – вкус, запах, звук, визуальность).

Подведем итоги.

Попеременное представление континуальности (как неопределенности, слитности, диффузности, синкретизма) и дискретности (как делимости, прерывистости, разграниченности, выделенности) сопровождает описание любого фрагмента языка.

Разграничение связей между единицами одного уровня языка: с одной стороны, родо-видовые и видо-видовые, а также синонимические и антонимические отношения, а с другой стороны, отношения выводимости и мотивированности – позволяет говорить о третьем измерении не только лексики, но и языка в целом, правда, с некоторыми ограничениями. На лексико-словообразовательном и синтаксическом уровнях деривационные отношения проявляются в рамках и плана содержания, и плана выражения, а на морфемном и фонетическом уровнях – только по отношению к плану выражения.

Разные проявления континуальности и дискретности можно наблюдать и в отдельном звене эпидигматических связей, в частности при функционировании отдельных лексико-семантических вариантов. Это по-разному выражается в разных способах переноса наименований (при метонимии – нерасчлененность, при метафоре – расчлененность), в проявлении синкретизма нескольких значений полисеманта и диффузности, связанной с синестезией перцептивных значений, на уровне слова, словосочетания и на уровне высказывания.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградов В.А. Знак языковой // Энциклопедия. Русский язык / Под ред. Ю.Н. Караулова. М., 1997.

Задорожный М.И. О так называемом эпидигматическом измерении лексики // Лексико-семантические группы русского языка. Новосибирск, 1985.

Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. В 4 тт. М., 1985 – 1988.

Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1978.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.

УДК 81'22

Г.М. Васильева
Санкт-Петербург

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ОЦЕНКИ (по данным экспериментального опроса)

Статья посвящена исследованию содержания культурной коннотации в рамках задач лингвокультурологического подхода к описанию языка как предмета обучения. В статье анализируются данные свободного ассоциативного эксперимента, свидетельствующие о движении различных групп лексики по оценочной шкале в сознании разных поколений носителей современного русского языка.

Особый тип коммуникативных неудач, возникающих в процессе обучения русскому языку как иностранному, обусловлен глубинными различиями взаимодействующих культур, т.е. спецификой ценностной системы, или аксиосферой национальной культуры. Аксиосфера национальной культуры, воплощенная в языке большей частью в виде языковой оценки, образует соответствующую ценностную языковую картину мира. Безусловная связь оценочного содержания с понятием ценности предопределила значительный «субъективизм» любой оценки, связывающий ее «истинность» не с объективно существующим миром, а с национально обусловленным мотивом отношения к этому миру.

Таким образом, задача выявления основания той или иной оценки для лингвокультурологически ориентированного описания русского языка как предмета обучения становится одной из важнейших.

Как известно, язык способен отражать глубинный уровень ценностного сознания, связанный с базовыми ценностями лю-

бой национальной культуры. Эти ценности родились в бесконечном процессе решения тем или иным этносом «вечных» вопросов о смысле человеческого существования, о жизни и смерти, о вечном и преходящем, о нравственном и безнравственном и т.д. и во многом предопределены конфессиональными различиями, или так называемой «большой традицией» любой национальной культуры. Именно «большая традиция» через посредство национальной литературы, искусства, философии сформировала своеобразный «нравственный кодекс» или идеальный инвариант оценки в сознании носителей любой культуры. Оценки этого порядка репрезентируют ценностную систему, или аксиосферу национальной культуры, обусловившую ценностную иерархию национальной языковой картины мира.

Представляется, что описание аксиосферы национальной культуры, воплощенной в языке, должно опираться на данные многих гуманитарных дисциплин. Как известно, ценностные ориентации личности стали объектом исследования в культурологии, этнопсихологии и культурной антропологии.

Исследователи предпринимают постоянные попытки систематизировать все многообразие существующих ценностных ориентаций и взглядов на мир, обусловленных конфессиональными, историческими, этнопсихологическими и другими особенностями, посредством объединения культур в принципиально различающиеся группы. Эти группы называются по-разному: западные и восточные культуры, простые и сложные, индивидуалистические и коллективистские, открытые и закрытые и многие др. Однако при всем многообразии и разнообразии существующих классификаций «индивидуализм – коллективизм» является, по мнению большинства теоретиков различных дисциплин, главным измерением культурной вариативности.

Специфика индивидуалистических и коллективистских культур находит непосредственное выражение в системах ценностных ориентаций их представителей. По мнению этнопсихологов и культурологов, одной из важных характеристик, свидетельствующих о специфике ценностных ориентаций представителей индивидуалистической и коллективистской культур, является

различное отношение к значимости так называемых *демографических* (т.е. половых и возрастных) *характеристик*. Различное отношение к демографическим характеристикам находит отражение в языке и потому должно быть учтено в практике преподавания иностранных языков.

Обратимся для примера к особенностям возрастных характеристик, которые могут служить примером *аксиологической отнесенности* в различных культурах и языках. Как известно, на самых границах культурного разнообразия по шкале коллективизм / индивидуализм находятся западные (в первую очередь американская) культуры и восточные, где одно из ведущих мест принадлежит китайской культуре.

В современные представления американцев об особенностях своей культуры включена следующая ценностная ориентация: «американцами обычно выше ценятся качества, присущие молодым». Эта ориентация естественна, так как ведущими положительными чертами своего национального характера американцы считают *активность* и *энергичность*, которые соответствуют важным положениям американской протестантской этики и в первую очередь свойственны именно молодым. Исходя из этой ценностной ориентации общества «на молодость», само это понятие получает ярко выраженную позитивную оценку в американской культуре.

Эта оценка вступает в диссонанс с ценностными ориентациями, существующими, например, в китайской культуре, где соответственно традиционным конфуцианским добродетелям, среди которых особое место занимает так называемая «сыновняя почтительность», обычно выше ценятся *возраст*, *опыт* и *мудрость*. Интересно, что в 1990 г. институт социологии Пекинского народного университета провел исследование, в котором были подвергнуты опросу жители 13 провинций и городов Китая. Их попросили выразить свое отношение к различным качествам личности. 80% опрошенных по-прежнему считают сыновнюю почтительность одной из главных жизненных ценностей. По мнению исследователей современной китайской культуры, молодое поколение китайцев до сих пор не может позво-

лить себе «спор на равных» со старшим по возрасту оппонентом ни в семейной, ни в служебной сферах.

Таким образом, различные оценки возрастных характеристик, свойственные американской и китайской культурам, непосредственно сталкиваются при интерпретации фактов русского языка. Различия в ценностных ориентациях студентов проявляются, например, при чтении и интерпретации сказочных, поэтических и публицистических текстов, при обсуждении текстов современной рекламы, а также в процессе изучения и употребления отдельных лексических единиц русского языка.

Рассмотрим, например, группу лексем русского языка, связанную с понятием возраста: *молодой*, *моложавый*, *молодящийся*. Лексемы *моложавый* и *молодящийся* содержат оценочный компонент, неодинаково интерпретируемый американскими и китайскими студентами, находящимися на продвинутом этапе обучения русскому языку.

С целью выявления специфики такой интерпретации был проведен опрос среди русских, китайских и американских студентов, аспирантов и преподавателей.

У носителей русского языка лексема *моложавый* получила преимущественно положительную оценку, а лексема *молодящийся* – преимущественно отрицательную, т.е. *способность выглядеть молодо* (лексема *моложавый*) оценивается русским сознанием выше, чем *стремление казаться моложе своих лет* (лексема *молодящийся*).

При этом понятие «молодящийся» русские соотносят, прежде всего, с женщиной и включают в него такие компоненты, как «не соответствующее возрасту, слишком интенсивное использование косметики», «не соответствующая возрасту одежда» и «не соответствующая возрасту, нарочито оживленная манера поведения».

Неодобрительная оценка *молодящегося человека* русскими участниками опроса восходит к традиционным представлениям, согласно которым любой возрастной период имеет свои преимущества и особую значимость и потому неповторим. Поведение человека, стремящегося нарушить естественный ход времени, представляется многим носителям русской культуры неестественным и не вызывает одобрения.

Такое одобрение *моложавого человека* и неодобрение *молодящегося* во многом совпало с ценностными ориентациями китайской аудитории и не совпало с ценностными предпочтениями американцев, оценивших *молодящегося человека* более высоко, чем *моложавого*, так как, по их мнению, «моложавость» может быть свойственна человеку сама по себе, без всяких усилий с его стороны, в то время как *молодиться* – это *активно* стремиться быть моложе и выглядеть моложе, прикладывая к этому значительные усилия.

Однако следует отметить, что оценки носителей русского языка не были столь единодушными и однозначными как оценки представителей китайской и американской культур. Представители старшего поколения русских дали понятию «молодящийся» однозначно негативную оценку, в то время как младшие участники опроса не были столь единодушными. Неоднозначность своей оценки они связывали с явными преимуществами молодости, проявившимися в нашем обществе в последние годы, в период становления рыночных отношений. Чрезвычайно ускорившийся ритм жизни, укрепившийся возрастной ценз при поступлении на работу, явное омоложение «властных структур», заметное понижение так называемого «возрастного порога достатка» и некоторые другие явления в экономической и социальной сферах жизни повышают в российском обществе статус молодости и оправдывают, по их мнению, стремление старшего поколения казаться моложе своих лет.

Этот небольшой сдвиг в оценочном содержании лексем *молодящийся* и *молодиться* свидетельствует не только о движении лексем по оценочной шкале, но, может быть, и о начале перестройки самой аксиологической шкалы «хорошо» – «плохо» в отношении так называемых демографических характеристик в русской культуре.

ОСОБЕННОСТИ ЧЛЕНЕНИЯ ДИАЛЕКТНОГО
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Специфика членения диалектного семантического пространства рассматривается на примере семантической сферы «интенсивность». Анализируются глаголы и прилагательные, содержание которых исчерпывается собственно интенсивностью, конкретные действия или признаки выявляются в условиях коммуникативной ситуации.

Членение семантического диалектного пространства дает представление о мировидении, мировосприятии народа, позволяет понять, о чем и как думает тот или иной народ. Выделяемые семантические сферы характеризуются разной степенью актуальности для диалектоносителей. Те из них, которые оказываются значимыми, отличаются высокой номинативной плотностью, большей лексической выраженностью. Это, например, такие зоны, как *работа, здоровье, семья, внешность человека, поведение* [Нефедова 1992; Новоселова, Храмцова 2006; 2007; 2008; Гынгазова 2008].

Одной из таких коммуникативно релевантных, коммуникативно «активных» для диалектоносителей семантических областей также оказывается сфера «интенсивность». Подтверждением этому служат многочисленные ряды лексических единиц, в значении которых актуализируется сила проявления признака. Как известно, такой компонент семантики эксплицируется в толкованиях метасловом «очень» и синонимичными ему: **горлопанистый** – любящий *очень* громко говорить, спорить; **безголовый** – *очень* глупый, несообразительный; **беззаворотный** – *слишком* легкомысленный, несерьезный в поведении; **задрёпа** – об *очень* неаккуратном, неряшливом человеке; **поспелиха** – об *очень* быстрой в работе, расторопной, энергичной женщине; **разmaterеть** – *чрезмерно* располнеть, растолстеть.

Такая лексика занимает значительное место в семантическом поле «интенсивность». Она отражает специфику в способах

выражения количественной характеристики признака. В говорах, по сравнению с литературным языком, более типичными являются однословные наименования, т.е. содержание передается синтетическим способом, лексически нерасчлененно: и конкретный признак, и степень его проявления сосредоточены в пределах одной лексемы. В литературном языке этому же содержанию соответствуют описательные обороты, включающие в себя слова-интенсификаторы и общерусские номинативные лексемы, т.е. значение «высокая степень проявления какого-либо признака / интенсивность действия» передается аналитически, дискретно: **исприветливый** – очень приветливый; **издогадливый** – очень догадливый; **старучий** – очень старый; **издивиться** – сильно удивиться; **исхвалиться** – очень хвалиться; **исхохотаться** – очень много хохотать; **дракучий** – очень драчливый; **чертомелить** – очень много работать; **ухайдакаться** – очень устать от работы.

Таким образом, можно отметить одну из особенностей членения семантической зоны «интенсивность» в диалектном дискурсе: последовательно выделяется разветвленная система однословных наименований, называющих признак и силу его проявления. Такая лексика характеризуется смысловой определенностью, конкретностью семантики.

Некоторые отличия в способах выражения семантики интенсивности наблюдаются в другой группе лексических единиц, когда смысловые границы размываются за счет актуализации количественной характеристики действий, признаков. При этом можно говорить о разной степени семантической неопределенности: от диффузности семантики до полной десемантизации.

В диалектах выделяется значительный пласт диффузных глаголов, в которых «семантика конкретного действия как бы поглощается более отвлеченной» [Коготкова 1979: 24]. Диффузы могут употребляться для обозначения любых быстрых, энергичных действий, производимых с силой, с азартом, интенсивно: *бузовать, бузырить, буткать, выпластать, дуть, жарить, жварить, жучить, завихаривать, зажваривать, запузыривать, набузовать, нажваривать, напластать, наяривать, пластать,*

понужать, хлестаться / хлёстаться, чесать, шманать, шпарить, шуговать, шуровать.

Для диалектоносителей оказываются несущественными различия в области конкретных признаков, «частные смыслы... так взаимно проникают друг в друга, что их трудно расчленишь» [Коготкова 1979: 19], в результате чего лексические значения приобретают известную неопределенность (обобщенность) вплоть до категориального глагольного значения «делать / сделать». Коммуникативно релевантными для языкового коллектива оказываются количественные характеристики обозначаемых действий – в большой мере, с большой силой, в большом количестве.

Специфика членения семантической сферы «интенсивность» в диалектах проявляется в том, что, во-первых, диффузные глаголы из-за своеобразной семантической «насыщенности» могут употребляться для обозначения широкого и неопределенного круга действий, относящихся к разным семантическим полям («бить», «бежать», «говорить», «пить», «мыть», «косить», «играть на музыкальном инструменте» и т.д.), во-вторых, из-за смысловой недифференцированности, «размытости» значения данные глаголы могут соотноситься с конкретными действиями только в определенной коммуникативной ситуации.

Например, глагол **бузовать** в новосиб. говорах соотносится со следующими действиями:

• «бить, ударять чем-либо по чему-либо» – *Когда дом ставят, то шант ставят и чикмарем бузуют его что есть сил;*

• «бить кого-либо; избивать» – *А потом как начали его бузовать, ну и били, били;*

• «ходить, бегать» – *Ланти наденешь, бузуешь ходишь;*

• «работать в поле (косить сено, убирать урожай и т.п.)» – *В поле бузовали, надо было к срокам управиться;*

• «стирать» – *Руками бузуешь, бузуешь, стираешь;*

• «вскопать землю» – *Два огорода сбужовашь да картошки насодишь;*

• «разбрасывать снег, землю» – *Снег начинает бузовать или землю;*

• «пить» – *Теленок вишь как поило бузует;*

• «дебоширить» – *Напьется пьяный, да бузует, драться лезет, ругается;*

• «мычать (о быках, коровах)» – *Бык идет по улице и кричит, ишь, как бузует, говорят;*

• «плакать» – *Маленькая была, залезет на окно и бузует, и бузует;»*

• буксовать» – *На машине ехали, забузовали, долго бузовали.*

Словообразовательные средства (префиксы *на-*, *про-*) не устраниют смысловую неопределенность производящих слов. Так, например, с глаголом **набузовать** в говорах Новосибирской области связываются следующие действия: 1) побить кого-л.; 2) накосить сена; 3) нарвать (травы, ягод и т.п.); 4) наколоть дров; 5) накопать картошки; 6) замарать, испачкать (стены, пол и т.п.).

Как правило, диффузные глаголы имеют широкие ареалы: так, 22 из 25 глаголов говоров Новосибирской области зафиксированы и в говорах других регионов. Материалы региональных словарей показали, что лексикографы чаще всего не дифференцируют описание глаголов различных семантических типов, в результате чего диффузы в словарях могут быть представлены так же, как однозначные: в Иркутском областном словаре **шуровать** – быстро бежать; там же **пластать** – сильно гореть, уничтожаться огнем; в Словаре русских говоров Забайкалья **набузовать** – побить, отколотить; в Словаре русских говоров Приамурья **завихаривать** – быстро ходить, бегать.

Чаще словари представляют диффузные глаголы как обычные многозначные лексемы, например, в Словаре русских говоров Алтая у глагола **бузовать** выделено 6 самостоятельных значений: 1) делать что-л., работать; 2) избивать, бить; 3) энергично атаковать; 4) дергать, тянуть, беспокоить; 5) сильно быстро течь, бушевать (о реке); 6) см. базлать.

В некоторых случаях словари представляют диффузные глаголы иначе, как омонимы: например, в Словаре русских говоров южных районов Красноярского края **бузовать**¹ – бить и **бузовать**² – быстро расти.

Ряд региональных словарей эксплицируют в толковании сему «интенсивность»: в Словаре русских говоров Прибайкалья **жучить** – делать / сделать что-л. с особой силой, страстностью,

азартностью); в Словаре русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби **нажваривать** – быстро, энергично делать что-нибудь; в Словаре русских говоров Среднего Урала **зажваривать** – делать что-либо возбужденно, быстро, с азартом; в Акчимском словаре **жарить** – производить какое-либо быстрое, энергичное действие; в Словаре просторечий русских говоров Среднего Приобья **шуговать** – делать что-либо интенсивно.

Мы придерживаемся мнения о том, что семантическая структура диффузных глаголов складывается не из отдельных самостоятельных лексических значений, а представляет собой единое семантическое целое, которое можно репрезентировать в словаре в качестве инвариантного значения: «производить любое физическое действие очень быстро, энергично, с силой, с азартом, интенсивно». Обозначения действий, с которыми соотносится диффузный глагол в данном говоре, составляют его референтные сферы, т.е. конкретные реализации инвариантного значения.

Еще одна особенность проявления семантической категории «интенсивности» наблюдается в области так называемых усиленных имен прилагательных: *ужасный, страшный, бешеный, невыносимый, несносимый, несусветный, насказанный, неказимый*. Их семантика характеризуется информативной недостаточностью, минимумом объективного содержания, полностью ориентирована на передачу значения интенсивности признака, выраженного другими словами [Оссовецкий 1982]. В значения определяемых существительных входят семы, способные интенсифицироваться (градуироваться), именно к ним и относится определяющее прилагательное-интенсив, эквивалентное по своим свойствам градуирующим наречиям *очень, сильно, слишком, чрезмерно* и т.п. То, что содержание этих прилагательных исчерпывается семантикой интенсивности, крайней степени проявления какого-л. качества или свойства, способствует увеличению до очень широких пределов синтагматических возможностей: *трава / грязь / глина / ветер несносимые, дожди / жара / духотища невыносимые, холод / мороз / дождь / несусветные дожди / буран / ветер / трава бешеные, лодырюга несусветный, лентяй невыносимый* и др.

В этом плане интенсивы противопоставляются прилагательным, называющим признак, проявляющийся в чрезмерной степени: *брехучий, завидуший, скупущий, дергучий, тощий*.

Регулярное употребление прилагательных в качестве усиленных слов ведет к стиранию их внутренней формы, утрате номинативной значимости: можно сказать, что все их содержание исчерпываетсяемой «интенсивностью», она «затемняет и отодвигает на задний план оттенки смысла» [Балли 1961: 338].

При лексикографическом описании усиленных имен прилагательных, видимо, следует выделять тот круг существительных, в значении которых есть признаки, способные усиливаться, например, **несносимый** – очень большой, значительный по величине, силе, размерам: об атмосферных осадках (*дождь неносимый, снег неносимый*), о явлениях природы, погодных условиях и их последствиях, результатах (*жара неносимая, духотища неносимая, пылюка неносимая, глина неносимая*), о человеке, доставляющем говорящему неприятности своим поведением, образом жизни (*пьяница неносимый, лодырь неносимый, брехуша неносимый*).

Прилагательные-интенсивы маркируют негативные признаки, оказывающие отрицательное воздействие на говорящего, отрицательно влияющие на него, вызывающие у говорящего отрицательное отношение к их носителю.

Смысловая расплывчатость, характерная для диффузных глаголов и усиленных прилагательных, преодолевается в коммуникативной ситуации. Обозначаемые диффузами конкретные действия определяются с опорой на внешнее окружение, условия речевого акта. Интенсифицируемые прилагательными признаки всегда представлены в значении определяемого существительного, тем самым для развертывания характеризующей семантики используется ближайший контекст – адъективно-субстантивная пара, достаточная для выражения семантического минимума, другие элементы контекста расширяют и дополняют информацию, например: *Несносимый брехуша, только слушай, брехуша – будь здоров!* (новосиб.); *Мало того, что он пьянь неискажаемая, да ишо и руки распускает. Удавича мне юбку прирвал – дыры-*

то не зашить (забайкал.); *Вокруг слило всё, дожжи и дожжи, бешеные дожжи* (новосиб.).

Таким образом, в диалектном дискурсе наблюдается неоднородность в приемах вербализации конкретного действия, признака и степени его проявления. Наряду с нерасчлененным способом репрезентации, охватывающим значительный пласт лексических единиц (*большеумый* – очень умный, *разговорчивый* – любящий поговорить, посудачить, *брюхлый* – очень полный, неприятный внешне, *приглядчивый* – быстро все воспринимающий, *mozglyuy* – очень хилый, тщедушный, *лупасить* – сильно бить, колотить кого-либо, *доходяга* – крайне истощенный, слабый человек, *kozyриться* – быть о себе чрезмерно высокого мнения, вести себя надменно и др.), обнаруживается специфическая для говоров дискретность представления семантики интенсивного действия или признака. Собственно признаки или действия проявляются только в конкретной ситуации общения, вне контекста интенсивные глаголы и прилагательные характеризуются «размытостью», обобщенностью семантического содержания (*жарить, шпарить, несосветный, несказимый* и др.). Диалектные единицы, выражающие интенсивность проявления какого-либо признака или действия, характеризуются динамизмом и широтой синтагматических связей.

ЛИТЕРАТУРА

Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

Гынгазова Л.Г. Типы лексикографического комментария в полном словаре диалектной личности // Комментарий и интерпретация текста. Новосибирск, 2008.

Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). М., 1979.

Нефедова Е.А. Многозначное слово в полидиалектном словаре // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. М., 1992. № 2.

Новоселова О.А., Храмцова Л.Н. Фрагмент диалектной языковой картины мира: понятие «работа» и лексические средства его выражения // Актуальные проблемы русистики. Вып. 3: Языковые аспекты регионального существования человека. Томск, 2006.

Новоселова О.А., Храмцова Л.Н. Семантическое поле «здоровье» в интерпретации диалектоносителей (на материале говоров Новосибир-

ской области) // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования / Тр. гуманитар. факультета. Серия II: Сборники научных трудов. Новосибирск, 2007. Вып. 10.

Новоселова О.А., Храмцова Л.Н. «Свой – чужой» в диалектном коммуникативном пространстве: автокомментарий в дискурсе о семье // Комментарий и интерпретация текста. Новосибирск, 2008.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

УДК 81'36

Е. И. Баранчева
Новосибирск

ДИСКРЕТНОСТЬ VS КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА

В статье рассматривается проблема построения метафорического поля, образованного от глаголов обработки, анализируются основания метафорического переноса, описывается метафорическое поле как развивающаяся лексическая парадигма, обладающая свойством континуальности.

Данная работа посвящена проблеме выделения семантических компонентов, участвующих в образовании метафор от глаголов обработки, и проблеме моделирования метафорического поля в аспекте дискретности/континуальности.

Под дискретностью /континуальностью в настоящей работе понимается базовая оппозиция, касающаяся принципиального устройства языка в целом, всех уровней и аспектов функционирования языка. Дискретность / континуальность – это противопоставление, использовавшееся первоначально в философии для обозначения «*прерывности и непрерывности в процессах развития*» [Философский энциклопедический словарь 1989: 56]. При изучении языковых изменений (в нашем случае – изменения значения слова, процессов регулярной многозначности) нам важно, образуют ли разные значения слова множество дискретных еди-

ниц или непрерывный континуум, в котором одно значение плавно переходит в другое.

В данной работе рассматриваются такие глаголы обработки, как *рубить (избу)*, *резать (ложки)*, *колоть (дрова)*, *долбить (лодку)*, *пилить (дрова)*, *точить (детали)*, *сверлить (отверстия)*, *чеканить (монеты)*, *чистить (овощи)*, *шлифовать (детали)* и т.д.

Эти глаголы многократно участвуют в процессах семантической деривации и являются производящей базой для возникновения целого ряда метафор, например: *Турбину показалось, что он не умрет, а болит, что грызет и режет плечо, перетерпит* (М. Булгаков); *Петра Петровича кололо какое-то смутное подозрение* (В. Пелевин); *У меня и без того ад на душе, а она еще пилит своим милым язычком!* (А. Писемский); «*Ну и режет!*» – *восхищенно подумал Лосев* (Д. Гранин); *Сколько раз нужно долбить в твою глиняную бабку, чтобы ты выбросил из нее слово «Джакомо»* (Р. Штильмарк) и т.д.

Глаголы обработки лежат в основе образования **метафорического поля** (далее – МП), то есть вторичной лексической парадигмы, включающей переносные метафорические лексико-семантические варианты (ЛСВ), которые связаны сходной производящей основой (глаголы обработки), единым механизмом семантической деривации, и общностью метафорообразующих признаков. МП – это модельная структура, отображающая актуализацию семантических компонентов базовой лексико-семантической группы, которые участвуют в номинации и концептуализации действительности в данном языковом коллективе.

Опираясь на представленные в научной литературе результаты исследований по интересующим нас глагольным метафорам и располагая собственными данными анализа метафор, мы выделяем следующие тематические группы метафор: физического состояния (болевые метафоры), негативного эмоционального состояния, синкретичные, репрессивного физического воздействия, эмоционального воздействия, характеристики речи (манеры речи и речевого репрессивного воздействия), ментальной деятельности, метафоры-интенсивы.

Тематическое описание такой сложной структуры, как МП, – это основа для описания семантических преобразований, ведущих к образованию метафор. Следующий шаг в изучении МП – обращение к базовым семантическим компонентам, которые составляют саму прототипическую ситуацию обработки и которые востребуются и интерпретируются при вторичной номинации.

Анализ образования метафор от глаголов обработки приводит нас к структурированию процесса обработки (как вида физического воздействия на объект) в языке и сознании его носителей.

Язык, по мнению Е.С. Кубряковой, «выявляет, объективирует то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он преломлен и категоризован сознанием» [Кубрякова 2004: 94]. Каждая языковая единица, таким образом, может рассматриваться как проявление когнитивных процессов и их специфических результатов. В этой связи изучаемые нами глаголы кодируют информацию о различных компонентах обработки как физического процесса, который можно отнести к базовым для человеческой деятельности вообще: этот процесс задаёт координаты отношений человека с действительностью, с физическим миром, который может быть преобразован при воздействии *целенаправленного субъекта*.

Согласно многим лингвистическим теориям, глагол связан с обозначением ситуаций или целых сцен, совокупностей сцен [Филлмор 1983; Панкрац 1992]. Изучаемые нами базовые глаголы отображают ситуацию изменения в определённом «положении дел», при котором происходит изменение формы объекта, его микро- и макроструктуры, его строения при воздействии на него тем или иным инструментом со стороны субъекта, имеющего определённую цель и прилагающего определённые усилия. Так, в глаголах нашей группы «упакована» информация о *субъекте-производителе* действия, *объекте* (который претерпевает изменения), *материале* (из которого изготовлен объект), *орудии (инструменте)* действия, *усилии (силе)*, которое прилагает субъект, *цели* (образе результата), ради которой совершается действие, *способе действия* (траектории, векторе приложения сил, этапах действия), *времени*, которое необходимо для совершения действия

или его этапов, частей, *результате*, к которому приводит данное действие. Также могут быть выделены периферийные, неосновные компоненты ситуации обработки: звук, сопровождающий действие, контакт субъекта и объекта, интенсивность действия. Вся эта информация заложена в семной структуре изучаемых глаголов, которая влияет, в свою очередь, на актантную структуру предложений с данными глаголами, на синтаксическое окружение глаголов в высказывании, наличие синтаксических позиций субъекта, объекта, инструмента, различных локализаторов.

Выделение отдельных базовых метафорических признаков не говорит о том, что они в одиночку участвуют в образовании метафор: метафоры возникают при обращении к прототипической ситуации обработки в целом, однако в каждом конкретном случае акцентируется, «выхватывается» и переосмысливается тот или иной аспект ситуации обработки, в который включены определённые её «участники». Исследователю трудно выделить «лидирующий» семантический компонент, участвующий в метафорообразовании: в рождении нового метафорического значения может принимать участие несколько семантических компонентов, принадлежащих одному или нескольким базовым ЛСВ. Таким образом, производящая база метафоры может быть сложной, комплексной; семантические компоненты базовых значений не дискретно участвуют в образовании нового метафорического значения. Это происходит вследствие того, что обращение к образу одного из участников активизирует память о других участниках ситуации, «один образ тянет за собой другой», активизирует память «деятельностную» и «функциональную» [Категории искусственного интеллекта 1987: 60]. Процесс метафорообразования весьма сложен, так как, по мнению лингвистов, «мы пользуемся не заранее расфасованными данными, а какой-то ещё не вполне ясной их организацией, позволяющей применять знания о новых контекстах и генерировать новое знание» [Демьянков 1994: 14].

В данной работе мы обратимся к роли такого семантического признака, как «инструмент», который при участии других семантических компонентов («способ действия», «объект», «материал», «звук») ведёт к образованию многих метафор.

«Инструмент» является важной семантической составляющей в отражении физического воздействия (обработки). Для многих глаголов обработки инструмент является специализированным: *рубить избу, колоть дрова (топором), сверлить стены (сверлом, дрелью), пилить деревья (пилой), резать по дереву (специальным ножом, резаком, стамеской), точить детали (на станке/напильником)*. Воздействие именно таким инструментом приводит к изменению объекта, при этом инструмент, как правило, должен иметь воздействующую поверхность (острую, прочную, сделанную из металла): *острие или лезвие ножа, топора, зубцы пилы, сверло дрели*. Инструменты могут отличаться величиной, размером, весом, функцией: так, разрубить можно только топором, а разрезать – скорее ножом. «Инструмент» как участник ситуации обработки тесно связан со «способом действия»: только воздействием определённым инструментом и определённым способом может привести к желаемому результату.

Интересно, что семантический компонент «инструмент», присутствующий в ЛСВ обработки (*пилить (деревья), колоть (дрова), резать (по дереву), сверлить (стены), точить (детали)*), в процессе метафоризации может взаимодействовать с аналогичными семантическими компонентами ЛСВ разделения (*резать хлеб (острым ножом), колоть орехи (чем-то тяжёлым)*), ЛСВ удара (*долбить, молотить в дверь (кулаками)*). К процессу метафоризации могут **подключаться** и производные ЛСВ со значением «причинять боль, воздействуя на человека», например: *трава (осока), осколки стекла колют ноги, иголка колет пальцы, ляжки рюкзака режут плечи*. Эти производные ЛСВ не отражают ситуацию физического воздействия на объект с целью созидания/разрушения, но они «подключаются» к процессу образования благодаря семантическому компоненту «нечто, производящее болевые (неприятные) ощущения». «Инструмент» обработки, «инструмент» разделения, а также тот или иной «раздражитель», вызывающий неприятные болевые ощущения, – все эти семантические компоненты разных ЛСВ связаны между собой, все они «комплексно» участвуют в образовании новых метафор и «тянут за собой» другие метафоорообразующие признаки.

Семантический компонент «инструмент» присутствует в структуре многих базовых ЛСВ: этот компонент является посредником между целеполагающим субъектом и материальным объектом, который подвергается воздействию, «инструмент» сопряжён с фиксированным способом действия на объект, теми или иными усилиями субъекта и временными затратами. Многие характеристики инструмента, его способность каузировать изменения в объекте будут переосмысляться для образования метафор негативного *физического* состояния (болевые метафоры), негативного *эмоционального* состояния, ментальных процессов, а также речевых метафор. Рассмотрим более подробно метафоры физического состояния. Такие метафоры представляют достаточно большую долю в нашей выборке: болевые значения передаются глаголами *резать, резануть, колоть, кольнуть, пилить, жечь, сверлить, точить* и т.д.

В базовых значениях глаголов присутствуют семантические компоненты «инструмент», «время воздействия», «непосредственный контакт» и т.д. Они по-разному «включаются» в процесс метафоризации, однако «инструмент» оказывается лидирующим семантически компонентом, влияющим на появление болевой семантики в метафорах. Так, воздействие «инструментом» (*резать ножом (по дереву), резать (хлеб), колоть (дрова, сахар)*) связано с болевой составляющей: ощущения человека ставятся в центр описываемой ситуации при изменении класса объекта. В базовых значениях разделения и обработки глаголы *резать / колоть* обозначают действие, потенциально приводящее к боли, и это представление может переноситься на физиологический план (*солнце режет глаза, колет в боках*), и даже на эмоциональный план (*свет истины режет нам глаза, начало колоть стыдливое и горькое чувство*).

Все болевые метафоры, описывающие негативное физическое состояние субъекта, возникновение и протекание болевых ощущений, можно условно разделить на несколько групп в зависимости от типа «раздражителя», каузатора определённого физического состояния субъекта. Возникновение болевых ощущений связано с воздействием раздражителя на определённый орган

или канал восприятия. Однако существуют контексты, описывающие случаи нарушения «естественного» процесса возникновения боли, когда на «раздражитель» реагируют различные органы субъекта, наблюдается явление синестезии.

Ядерным средством выражения семантики состояния (в т.ч. болевого) в русском языке являются безличные конструкции, в нашем случае это такие метафоры, как *колет/режет в боку, резануло в печени, кольнуло под левой лопаткой, сверлит в висках, жжёт в желудке, давит в груди: ...потом тише: стало колоть в боках* (В. Крапивин); *Митя и схватился за бок, так резануло в печени* (Д. Липскеров). Возникновение болевой составляющей связано с актуализацией семантического компонента «инструмент (острый, способный причинить боль)» ЛСВ обработки/разделения, а также компонента «раздражитель, каузатор боли» в таких ЛСВ, как *трава колет ноги* (здесь *колоть* «касясь чем-то острым, причинять боль, вызывая ощущение укола»). Физическая боль сопоставляется с ощущениями, возникающими при воздействии каким-то инструментом или чем-то острым (ножом, лезвием, сверлом, иглой, булавкой, шипами, стеклом). В высказывании может быть упоминание инструмента прототипической ситуации (разделения/ обработки) или каузатора боли: *Резануло кинжалом в правой ляжке, так что нога чуть не подвернулась* (Д. Липскеров); *К сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился разбуженный режущей болью в животе, можно было думать, что в кишках двигается и скрежещет битое стекло* (М. Горький).

При описании болевых ощущений в высказывании может присутствовать позиция субъекта-каузатора, но он также весьма неопределён, размыт: *Что-то резануло больно в груди, так что татарин зашелся в немом крике.... Неожиданно что-то резануло его язык, как будто с кашей попался кусок стекла* (Д. Липскеров).

Не всегда ощущения человека представлены только как болевые: через первоначально болевые метафоры могут передаваться и специфические физиологические состояния (голод, сонливость), то есть происходит семантическое наращение и развитие

метафорического поля. Ср.: *И тут при виде внушительного холодильника у него предательски кольнуло в животе (= от голода) («Домовой»); Я чувствую, что **мне страшно хочется спать – режет глаза**, точно в них песок, – а сон не идет (В. Некрасов).*

Болевые значения (значения негативного физического состояния) также реализуются в метафорах и от других глаголов изучаемой ЛСГ. Так, от глагола *сверлить* благодаря актуализации семантических признаков «инструмент (как сверло)» и «векторность, направленность действия» рождается такая метафора: *у меня сверлит в висках (в голове)*. В этой метафоре тип болевого ощущения – иной, и это связано с тем, что переосмысливается другое физическое действие (с другим инструментом, направленностью, временем осуществления): *Писал усиленно: 14 страниц, и не заметил, но вообще-то от жары тяжко. Словно в голове сверлит винт* (Вс. Иванов). Боль от такого воздействия – непрекращающаяся и направленная, например: *...Мозоли, ваше высокопревосходительство – они все... Как наденешь башимак, и сверлит тебе, и горит...* (А. Белый).

Существуют также болевые метафоры от глаголов *пилить, жечь, давить* (*пилит, жжёт, давит в желудке*) и метафоры болезни от глаголов *сушить, точить, трепать* (*болезнь сушит, точит, лихорадка треплет*), однако в их образовании семантический компонент «инструмент» не является ведущим, здесь способ передачи болевых ощущений зависит скорее от компонента «способ действия» прототипической ситуации.

Визуальные «раздражители» могут влиять на возникновение неприятных ощущений у человека: болевые ощущения или раздражение в глазах возникают при восприятии цвета, форм какого-то объекта, необычной визуальной картины. Ср.: *...глаза режет блеск ослепительного солнца на мраморных ступенях* (И. Ефремов); *...режет глаз ядренного защитного цвета мох...* (В. Пьецух).

Неприятные раздражающие ощущения могут быть вызваны и нетривиальной причиной: метафора может описывать болезненное «воздействие», возникшее из-за ситуации движения субъекта, его сопротивления среде, например: *Он снова пустил*

лошадь галопом и снова почувствовал ... как душа его от страха и наслаждения опускается куда-то в живот, а встречный воздух режет глаза и набивается в рот (Ф. Искандер).

Звуковые «раздражители» также могут быть причиной возникновения негативных ощущений у человека: звуки окружающего мира воздействуют на воспринимающего субъекта благодаря каким-то своим характеристикам, которые не укладываются в звуковую норму, предполагаемую субъектом звуковую картину. Негативная реакция у человека может возникать при восприятии слишком громкого, резкого звука, пронзительного голоса, голоса определённого тембра: *У тебя всегда был неприятный тембр, а в старости ты приобрел пронзительный фальцет. Он режет слух* (Б. Васильев). Также наш слух может улавливать неприятную, раздражающую манеру речи, тип интонации, нарушение произносительных норм, иной тип произношения или использование непривычных/иноязычных слов: *Но вот и ее голос уже не режет слух, завывание становится нормой... и теперь голос завораживает* (В. Маканин); *...больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «бывают» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает»* (К. Паустовский); *...И сразу режет слух: «Ахтунг, ахтунг!»* (В. Арро); *...коллеги (одно из многих словечек, которое режет слух в этом стилистически отполированном до блеска тексте)...* (И. Дьяконов).

В базовом ЛСВ *сверлит* тесно связаны семантические компоненты «инструмент» и «звук». При переосмыслении этих семантических компонентов рождаются болеевые (звуковые) метафоры, например: *В ушах аж сверлит!* (В. Астафьев). Звуковые метафоры могут развиваться и дальше – в сторону перехода от физиологических метафор к метафорам эмоциональным: *Самгину тоже знаком был пронзительный и сладковатый голосок, – это Захар Петрович Бердников сверлил его уши* (М. Горький). Перетекаемость звуковых ощущений и эмоциональных реакций выражена в этом примере: субъект испытывает негативные звуковые и/или психологические ощущения, здесь метафорические значения спаяны, наблюдается «диффузность» значений [Шмелёв 1968], обозначается ситуация перехода от воздействия

неприятным звуком до неприятного для субъекта речевого воздействия.

Метафоры негативных физических ощущений могут возникать от глаголов температурного воздействия (*печь, жечь, палить*): боль, негативные ощущения могут быть представлены в метафоре как результат действия какого-то (мнимого) температурного «раздражителя», большинство таких метафор даёт образное представление о боли, указывает на «градус» боли или раздражения. Такие метафоры обычно реализуются в безличной конструкции: *Жестковато получилось, и кожу немного жгло* (Д. Биленкин); *У нее было плохое самочувствие: ноги в тапках стояли ледяные, а в груди пекло* (О. Славникова). Возможно также воздействие может связываться с тем или иным «субъектом» физического мира: *... меня окружали тучи комаров...лицо и руки мои жгло...* (А.П. Чехов); *...морозный аэродромный ветер прожигал до костей* (В. Баранец).

Многие метафорические наименования имеют подвижную семантическую структуру, они могут описывать широкий спектр негативных физиологических реакций человека на окружающую его действительность. Метафорическая интерпретация взаимодействия человека и мира предполагает взаимозависимость, смежность различных каналов восприятия действительности, открытость ряда этих каналов. Следующие примеры говорят о том, что с помощью авторской метафоры возможно описание восприятия музыки, в котором задействован слух и зрение (т.е. наблюдается синестезия): *...с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет* (С. Чёрный); *Стравинский режет глаз цветастостью... Ухо становится органом зрения...* (А. Вознесенский).

Таким образом, в исследуемом МП зыбка граница между метафорами, описывающими внутренний мир человека, и его физическими реакциями на внешний мир, в метафоре мы наблюдаем сложное взаимодействие субъекта и окружающего мира. Метафоры, отображающие внутренний мир человека, реализуют представление о различных типах «инструмента», заложенное в базовых ЛСВ. Характеристики «инструмента» (режущий; острый,

как нож, лезвие; твёрдый; вращающийся, как сверло; колющий; тонкий, как остриё иглы, шила; тяжёлый, как топор; давящий, как пресс) «наследуются» и раздражителями, влияющими на человека: это даёт целый спектр метафорических наименований, указывающих на различные по типу и интенсивности состояния человека. Семантический компонент «инструмент» поддерживается в процессе метафорообразования другими компонентами – «способ действия», «звук», «интенсивность».

Развитие новых метафорических значений, возникновение высказываний с семантикой переходных состояний субъекта – это результат лексико-семантического варьирования, результат расширения метафорического значения в определённых условиях контекста. В этом проявляется семантическая переходность, подвижность значения метафоры, её способность служить для описания новой ситуации с сохранением образного компонента. С помощью метафоры могут интерпретироваться различные типы болевых ощущений.

В русском языке представлен целый ряд метафорических наименований боли и негативных физических ощущений (как от воздействия каким-либо острым инструментом или разрушающим орудием). Такие метафорические наименования предоставляют носителю языка широкий выбор интерпретационных языковых средств, весьма размыто указывающих на характер боли, но дающих её образное представление.

ЛИТЕРАТУРА

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4.

Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. М., 1987.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004.

Панкрац Ю.Г. Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней. Минск, 1992.

Филлмор Дж. Об организации семантической информации в слове // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 14. М., 1983.

Философский энциклопедический словарь. М., 1989.

Шмелев Д.Н. Семантические признаки слов // Русский язык в национальной школе. – 1968, N 5.

**СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭНТОМОНИМОВ)**

В данной статье рассматриваются метафоры, образованные от энтомонимов в русском и итальянском языках. В частности исследуется процесс метафоризации наименований *бабочка, мотылек, муха* в русском языке и *farfalla, falena, mosca, assillo* в итальянском и выявляются основные характеристики соответствующих фрагментов картин мира.

Данная работа посвящена сопоставлению и анализу метафорических полей со значением характеристики человека в русском и итальянском языках. В сопоставительных исследованиях особое внимание уделяется изучению вторичной номинации, в частности метафоре, понимаемой нами вслед за Н.Д. Арутюновой, Г.Н. Складневской, Д.Н. Шмельёвым как «вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении семантической двуплановости и образного элемента» [Складневская 2004]. В метафоре, как в призме, отражаются логические и мифологические черты национального характера, и поэтому она считается «вербализированным приёмом мышления о мире» [Арутюнова 1998]. Так, зооморфную метафору в русском, английском, французском, итальянском языках исследовали М.И. Черемисина, Е.А. Гутман, Ф.А. Литвин, Е.Ю. Булыгина, Т. А. Трипольская. В работах этих учёных утверждается мысль о том, что «семантические признаки, положенные в основу метафоры, <...> имеют национально-культурные особенности» [Булыгина, Трипольская 2009]. Наблюдения за интерпретациями одного и того же предмета приводит нас к необходимости изучения метафорической картины мира русских и итальянцев. В работах, изучающих картину мира, отмечалось, что она отражает своеобразие национального характера носителей языка (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка, Е.В. Падучева, Ю.А. Рылов и др.).

Картина мира не является распространенным объектом изучения в итальянской лингвистике; нам известны работы Л. Поуцелёвой из Болонского университета (она исследует русскую лингвистику в межкультурном пространстве) и Л. Геберт (профессор римского университета «La Sapienza»). Л. Геберт, критикуя теорию А. Вежбицкой и Ю.А. Рылова, не соглашается с их выводами и утверждает, что идея собственной идентификации, то есть изучения различий между языками, менталитетами и культурами, опасна, потому что приводит к невозможности взаимного успешного общения и к ложному самовозвышению одного этноса (в частности, русских) над другими [Геберт 2006: 217 – 243]. Эта позиция, безусловно, не является бесспорной. По нашему мнению, успех межнациональной коммуникации зависит от того, насколько ее участники понимают собственную идентичность и готовы к пониманию собеседника.

Языковой материал отражает национальную специфику национальной картины мира. Если обратиться к лексическому уровню, то наиболее яркими примерами, иллюстрирующими этническую идентичность, является метафора.

Наименования животных, используемые для характеристики человека, многочисленны и широко распространены во всех языках. Синтаксическая структура таких фраз обычно включает два компонента: характеризуемого субъекта и характеризующий предикат, при этом в роли подлежащего чаще всего выступает наименование *человека* в роли сказуемого – лексема, принадлежащая к тематической группе *зоонимов*. О дискретности двух составляющих метафорическую модель компонентов говорит не только тот факт, что они принадлежат к различным тематическим группам, но и то, что «уникальность человека, отличающую его от животного мира, язык видит не столько в его интеллектуальных или душевных качествах, сколько в особенностях его строения и в функциях составляющих его частей, в частности в строении тела. <...> Мы знаем, что у многих животных есть голова, сердце, кровь, печень, мозги; но мы не готовы связать с этими органами «душевную» жизнь животного» [Шмелев 2005: 133]. Таким образом, язык позволяет применять фразеологический пласт лексики

только по отношению к человеку, но не к животному. Так, легкомысленность человека проявляется в обращенной к нему фразе: *Ты порхаешь как мотылек/ Svolazzi come una farfalla*, – но нам не придет в голову сказать подобное о кошке или собаке, тем более о мотыльке: это уничтожит метафору.

Практически все виды зоонимов способны стать частью метафорической конструкции. Исследуемая нами тематическая группа насекомых входит в тематическую группу животных. Взаимодействие данных групп характеризуется как по признаку дискретности, так и по признаку континуальности. Дискретность в первую очередь представлена различием базовой интегрирующей семы, организующей ту или иную группу. Так, представленные в словарях определения / номинации «животное» или «насекомое» позволяют дифференцировать лексемы по тематическим группам подобно тому, как в биологии живые организмы относят к царству или классу. Признак континуальности представлен тем, что всё множество зоонимов обладает сходными языковыми характеристиками: во-первых, зоонимы и энтомонимы обладают одинаковой моделью метафоризации, во-вторых, участвуют в процессе создания сравнительных оборотов. Например:

Он просто медведь! E' un elefante!

Ты (ведешь себя) как медведь! Sei come un elefante!

*Он живет как клещ! (В знач.: за счет других) E' una zecca!
E' come una zecca!*

Как в первом, так и во втором случае процесс метафоризации происходит за счет того, что говорящий актуализирует некоторые семы из денотативного значения зоонима (медведя, слона, клеща) при характеристике человека. В частности, при образовании метафоры *медведь* в русском языке и *elefante* в итальянском актуализируются денотативные семы этого слова: “крупный, сильный, но грузный и неуклюжий”. При образовании метафоры *клещ* в обоих языках на первый план выступают семы: “паразитирующий, питающийся / живущий за счет другого организма”. Итак, множества зоонимов и энтомонимов обладают свойствами дискретности и континуальности.

Проанализируем специфические черты процесса метафоризации в области энтонимов с целью выявления сходства и различия в русском и итальянском языках.

1. Обратимся к словарным толкованиям слова *бабочка*. Русские толковые словари дают такие значения: насекомое; галстук; ночная бабочка (проститутка). Никаких других переносных значений, отражающих характеристику человека, толковые и фразеологические словари не дают. В РАС на слово *бабочка* зафиксированы соответствующие прямому значению реакции положительной оценки: красивая, очаровательная, прелестная (около шестидесяти реакций). На втором месте находятся реакции, отражающие характерное движение бабочки – порхание (около пятидесяти). Блоком реакций, ориентированным на метафору, является легкость поведения: легкомысленная, безмозглая, лёгкого поведения. Итак, оставляя за скобками чисто энциклопедические знания (*капустница, гусеница, махаон*), мы получаем представление о бабочке как красивом, незащищённом, лёгком и порхающем, а потому и недалёковидном существе.

В итальянском языке у слова *бабочка* – *farfalla* – есть следующие лексико-семантические варианты: 1) насекомое, 2) «всё, что по форме напоминает бабочку», 3) непостоянная в сердечных делах женщина, 4) легкомысленный человек, 5) неприятное сообщение.

Farfalla является производящим для целой группы дериватов, специфика которых в том, что они сохраняют идиоматичный смысл, то есть образуются от переносного значения этого слова. Так, с помощью суффиксов образуются существительные:

farfallone – пустой, непостоянный, легкомысленный человек, слыть дон-жуаном;

farfallina – переменчивая, несерьёзная девушка / женщина;

farfallino – поверхностный, легкомысленный человек, непоследовательный и непостоянный, в том числе и в любви;

sfarfallamento – мерцание, колебание; переменчивое, непостоянное поведение;

sfarfallone – серьёзная ошибка, нелепость, ляп, прежде всего в языке; переменчивый, поверхностный человек;

sfarfallaggio – переменчивость, непостоянность.

И глаголы:

Farfallare / farfalleggiare – порхать, мельтешить; быть непостоянным в мнениях, в вкусах, в поведении;

sfarfalleggiare – праздно гулять, шататься.

Farfalla входит в состав следующих фразеологических оборотов: *andare a caccia di farfalle* – дословный перевод «ловить бабочек», в значении «быть легкомысленным, порхать как мотылёк». Другое выражение: *inseguire le farfalle* – «гоняться за бабочками», что значит «гоняться за призраками, заниматься пустяками, зря стараться»; *leggero come una farfalla* – «легкий как бабочка», в значении «легкий как пёрышко, как пушинка» (как характеристика человека).

Таким образом, в итальянском языке сравнение человека с бабочкой говорит о таких его качествах, как легкомысленность, непостоянство; подвижность; лёгкость, и относится как к женщине, так и к мужчине.

Наблюдение за контекстами бытования слова *бабочка* в двух языках позволяет говорить о том, что как характеристика человека данная метафора обозначает в первую очередь легкомысленность, недалёковидность. Но если в итальянском языке эта характеристика распространена повсеместно, то в русском (как показывают словари) для передачи того же смысла чаще обращаются к сравнению с мотыльком.

Мотылёк – «человек порхун, ветреный, непостоянный; волокита. <...> На хороший цветок летит и мотылёк. Не вилай мотылём: стой верей (точка опоры). Мотылёк щеголёк, да белоручка; а медуница и черна, да на Бога угодила» (Словарь В.И. Даля). *Порхать как мотылёк* – «о том, кто движется легко и быстро, как бы порхая; о том, кто живёт легко и беззаботно и бездумно». В итальянском языке сравнение с мотыльком, в частности с ночным мотыльком – *falena* – мало распространено. В словаре указаны следующие переносные значения: «непоседа (о ребёнке)»; «легкомысленный, непостоянный человек»; «(не повсеместно) ночная бабочка (проститутка)». Общим с русской метафорой является значение «женщин легкого поведения». Кроме того, выделяется не отмеченное в русских словарях сравнение с ребёнком.

В русском языке сравнение с бабочкой мало распространено, оно происходит, как нам кажется, на основе первичных ассоциаций, и таким образом актуализируются компоненты денотативного значения: “красивая, легкая, порхающая” (по отношению к девушке / женщине). Метафора *мотылёк* в меньшей степени, чем *бабочка*, характеризует происходящую из праздности / безделья легкомысленность объекта номинации (*Мотылёк щеголёк, да белоручка; а медуница и черна, да на Бога угодила*) и относится к юноше / мужчине.

В итальянском языке характеристика, выражаемая с помощью слов *farfalla* / *falena*, различается в зависимости от того, кто является ее объектом – женщина или мужчина. Применительно к женщине за данными словами кроется обозначение легкомысленности, ветрености как простительных и позволительных женских слабостей. «*Быть farfallone*» – “слыть дон-жуаном” – употребляется только по отношению к мужчине и обозначает концептуально значимый сценарий поведения итальянца (как всему миру это демонстрирует наш премьер-министр), это подтверждается наличием синонимических метафор даже среди энтомонимов: *fare il moscone* (дословно – *быть большой мухой*), *essere un ronzone* (*быть жуком*), *essere un calabrone* (*быть шершнем*). Следует отметить тот факт, что выражаемая с помощью слова *farfalla* (и его дериватов) легкомысленность никак не соотносится с праздностью характеризуемого объекта, так как в итальянском языке «*быть farfalla*», «*быть farfallone*» – это прежде всего качество субъекта, в русском – это признак действия, поведения.

Общим для русского и итальянского языков является принцип возникновения переносного значения на основе метафорического переосмысления тех сем денотативного значения, которые связаны с колеблющимся, дрожащим, порхающим, разнонаправленным, а поэтому бесцельным движением бабочки. Но если в русском сравнение с мотыльком характеризует легкомысленность поведения, то в итальянском, помимо качества легкомысленности человека, можно говорить и о лёгкости, изящности движения объекта речи (*leggero come una farfalla* – *легкий как пёрышко*).

Различным является круг ассоциаций у русских и итальянских носителей языка на слово бабочка, что отражает особенности понятия красоты в двух картинах мира. Как уже было отмечено, в РАС самая частотная реакция – «красивая» и синонимичные прилагательные. В итальянском языке, судя по набору представленных идиом и по проведенному среди итальянцев анкетированию, первичной является реакция, отражающая представления о движении бабочки – *vola, volare* (летит, лететь) – и ее пестроте – *colorata, verde, colori* (разноцветная, зеленая, краски), – которая не осмысливается как признак чего-то красивого.

2. Рассмотрим идиоматические значения слова *муха / mosca* в двух языках.

Русские толковые словари не отражают никаких переносных значений, закрепленных за словом *муха*, но оно входит в состав фразеологических единиц с различной степенью спаянности компонентов. Так, оборот *сонная муха*, употребляемый по отношению к вялому и сонливому человеку, стоит на границе между метафорой и фразеологическим единством в силу смысловой слитности компонентов, когда значение целого связано с метафорическим, образным смыслом. Слово *муха* существует в составе многих фразеологических единств: *из мухи слона делать, мухи не обидит*; тут на основе ассоциативной связи актуализируется сема *маленький / мелочь* денотативного значения. В РАС по количеству реакций на слово *муха* актуализируются в первую очередь звуковые семы денотативного значения: *цокотуха* (мы понимаем, что данная реакция возникает благодаря наличию рифмы со словом-стимулом и популярности сказки К.И. Чуковского, однако справедливо будет заметить, что само слово *цокотуха* имеет звукоподражательный характер), *жужжание, жужжит*. На втором месте – сема «летающая»: *летает, села, улетела*. Кроме того, в словаре разнообразно представлены семы коннотативного значения, чаще всего это отрицательные ассоциации.

Первая группа ассоциаций: *надоедливая, зануда, противная, мешает, вред, вредина* (связь с повадками мухи). На основе этих ассоциаций возникают сравнения *назойливый, как муха; пристать, как муха на сон грядущий; брюзжит, что осенняя муха;*

докучливый, как ильинская муха; мушиный обычай приставать (словарь В.И. Даля). В данных примерах направление метафоризации развивалось по пути сопоставления с поведением насекомого и с издаваемым им звуком.

Вторая группа ассоциаций: *грязь, гадость, навозная, брезгливость, грязная* (связь с типичными местами скопления мух).

Нетипичное для современного русского языка сравнение с мухой представлено в словаре В.И. Даля: *Служивый, что муха – была бы где щель, везде пролезет*. Данная идиома актуализирует две семы: маленькая и пронырливая.

В итальянских словарях у слова *муха / mosca* непоследовательно (в толковом нет, в двуязычном есть) отражается переносное значение *назойливый человек*. Но в основном коннотативное значение проявляется тогда, когда лексема *mosca* начинает фигурировать в составе характеризующих человека фразеологических единиц, где потенциальные смыслы компонентов связаны со значением целого. Как показывают примеры, сравнение с мухой чаще всего идет рядом с каким-либо оценочным прилагательным, на основе которого и вычленяются семы коннотативного значения. Так, наиболее распространенной является ассоциация с *назойливым поведением* насекомого: *come una mosca importuna* – как назойливая муха; *impronto come una mosca* – нахальный как муха; *insistente come una mosca* – настойчивый/ назойливый как муха; *piu'fastidioso di una mosca* – докучливей мухи; *frate mosca* – «брат / монах муха» – надоеда, зануда; *mosca cavallina* – «лошадиная муха» – несносный человек; *essere una mosca tse-tse* – «быть мухой цеце» – раздражать, докучать.

Нахальность, паразитарность мухи проявляется и в выражениях, происходящих из распространенной на территории всей Европы басни:

Fare la mosca aratrice – «быть пахущей мухой» – присвоить чужой труд, славу (и мы пахали); *Mosca cocchiera (fare la mosca cocchiera)* – «пахавшая муха» – человек, приписывающий себе несуществующие заслуги.

Стоит отметить, что как в приведенных выше, так и в последующих примерах коннотативные семы актуализируются при

наличии вербального окружения у лексемы *муха* / *mosca*. Благодаря антитезе возникает идиоматический смысл в выражениях: *mosca bianca* – «белая муха» – белая ворона; *raro come una mosca bianca* – редкий как белая муха; *pulito come una mosca* – «чистый, как муха» – очень грязный.

В этих случаях актуализируются семы денотативного (чёрная) и коннотативного (*грязная*) значений.

У слова *mosca* существует несколько дериватов, один из них *moscone* используется как характеристика человека: *moscone* 1) большая муха, овод, слепень; 2) ухажер, назойливый влюбленный, который просто так не падает духом; *fare il moscone* – быть назойливым ухажером.

В данной метафоре актуализируется значение назойливости, однако применяется она только по отношению к мужчинам; унифицированного сравнения с людьми обоего пола, как в выражениях, использующих производящее слово *mosca*, здесь нет. Следует отметить, что в итальянском языке есть еще одна номинация овода, слепня – *assillo*; в этом слове сема «назойливый» оказалась настолько сильна, что в сознании носителя итальянского языка прямое значение *насекомое* настолько слилось с переносным *надоедливый, беспокойный*, что денотативное значение практически стёрлось из памяти. Так, от переносного значения образованы дериваты: глагол *assillare* – мучить; прилагательное *assillante* – мучительный.

Итак, в итальянском языке при характеристике человека у слова *муха* / *mosca* на первое место выступают следующие смыслы: «назойливая, паразитирующая, черная, грязная».

Так же, как и в русском языке, *mosca* входит в состав многих фразеологических единств, где используется в первую очередь ее образ как чего-то мелкого и незначительного: *badare a ogni mosca che vola* – «обращать внимание на каждую летающую муху» – обращать внимание на каждую мелочь; *contare le mosche* – считать мух; *non fare male a una mosca* – мухи не обидеть; *fare di una mosca un elefante (un cavallo)* – из мухи слона (лошадь) делать.

Но поскольку слово *mosca* как компонент данных идиом не имеет своего метафорического значения, изучение этих выражений остается за рамками нашей работы.

Подведем итоги.

Метафору *муха* не фиксируют словари, но в сознании носителей русского языка она очевидно присутствует. В итальянском ее наличие также непоследовательно отражается в словарях, но в речи активно используется производное от *mosca moscone* – *ухажер*. Отсутствие метафоры компенсируется широко распространенным включением слова *муха* во фразеологические единицы, обладающие различной степенью спаянности компонентов. Так, выражения, содержащие сравнение с мухой и используемые для характеристики человека, позволяют вычлени из денотативного и коннотативного значений слова наиболее яркие и актуальные семы. И в русском, и в итальянском языках муха ассоциируется с чем-то *назойливым*, но если в русском *назойливость* мухи объясняется как типичным поведением, так и издаваемым ею звуком (жужжанием), то в итальянском языке первостепенной становится характеристика движения, неприятного, назойливого, вокруг чего-либо или кого-либо. Кроме того, даже глагол *ronzare* – жужжать – в переносном значении «1) крутиться вокруг какого-либо места или человека; 2) увиваться вокруг девушки» абсолютно утрачивает семы звука. Когда слово *муха* входит в состав фразеологических единств, оно чаще всего теряет присущее ей в метафорическом сравнении значение (*назойливая*) и связывается с чем-то маленьким, мелким, недостойным внимания.

Опираясь на полученные результаты, можно выделить общие направления метафоризации, актуализированные рассмотренными контекстами: поведение насекомого, особенности передвижения. Кроме того, в русском языке важны такие факторы, как внешний вид (*бабочка*: красивая – первая реакция РАС; при сравнении относится к девушке / женщине), звук (*муха*: сема жужжания является одним из важнейших стимулов к метафоризации). Итальянский язык богат производными словами от лексем *бабочка*, *муха*, обладающими широким спектром оттенков значений.

ЛИТЕРАТУРА

Бulyгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Национально-культурный компонент в семантике наименований насекомых в русском и итальянском языках // Образы Италии в русской словесности XVIII – XX веков. Томск, 2009.

Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.

Гутман Е.А., Литвин Ф.А., Черемисина М.И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского, английского и французского языков) // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.

Зализняк А.А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М. 2005.

Gebert L. Immagine linguistica del mondo e carattere nazionale della lingua. A proposito di alcune recenti pubblicazioni // In Studi Slavistica III. 2006.

СЛОВАРИ

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.

Русская фразеология: Историко-этимологический словарь / под ред. В. М. Мокиенко. М., 2005.

Русский ассоциативный словарь: В 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Москва 2002. (РАС)

Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под общей редакцией Н.Ю. Шведовой. М., 2000.

Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999.

Фразеологический словарь русского литературного языка / Под ред. А.И. Фёдорова. М., 2007.

Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Milano, 2005.

Kovolev V. Dizionario Russo-italiano / Italiano-russo. Torino, 1999.

Palazzi F., Folena G. Dizionario della Lingua Italiana. Torino, 2000.

Quartu B.M. Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. Milano, 1993.

Zingarelli N. Vocabolario della lingua italiana. 2007.

К ВОПРОСУ О ДИСКРЕТНОМ ВЫРАЖЕНИИ СЕМАНТИКИ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается система форм прошедшего времени в древнерусском языке с позиции дискретности, анализируются структура и значение форм в древнерусском тексте «Смерть Олега» и его русском переводе.

Дискретный способ представления грамматической семантики может рассматриваться не только применительно к современному русскому языку, но и к языку более раннего периода, в частности к древнерусскому. Интересна в этом отношении грамматическая категория времени. Сопоставляя грамматическую категорию времени в русском и древнерусском языке, необходимо остановиться на прошедшем времени как пережившем наибольшее изменение. Ведь именно время, обозначающее действие, предшествующее моменту речи, имело особенности, позволяющие говорить применительно к нему об определенной дискретности. С одной стороны, проявлением дискретности может считаться наличие четырех форм прошедшего времени, имеющих различия в значении и в структуре. Две простые формы прошедшего времени, имперфект и аорист, были образованы суффиксальным способом, а различие в их значении типологически сопоставимо с видовым противопоставлением в современном русском языке. Имперфект, соответствующий несовершенному виду, имел два значения: длительность действия в прошлом, не ограниченного временем, и многократную повторяемость действия в прошлом, также не ограниченного временными пределами. Например, описание голода в «Лаврентьевской летописи»: *Кадъ ржи купляхуть по 10 гривнъ а овса по 3 гривнѢ а рѢнѢ возъ по 2 гривнѢ. Ядяху люди сосновую кору и листь липовъ и мохъ. О горе тѣгда бяше!* Аорист же обозначал нерасчлененное действие, законченное

в прошлом, которое сейчас соответствует совершенному виду. В «Повести временных лет» мы читаем о князе Игоре: *Поусту дружиноу свою домови съ маломъ же дружины възвратися желая больша имѣния*. Но наиболее ярким примером дискретности, как нам кажется, являются формы составных прошедших времен, перфекта и плюсквамперфекта. Д.Б. Никуличева отмечает: «Дискретность на морфологическом уровне наглядно проявляется в расщепленном выражении грамматических значений в многокомпонентных аналитических формах» [Никуличева 2006: 43]. Носителем лексического значения в перфекте и плюсквамперфекте является действительное причастие прошедшего времени на -ль, а грамматическое значение выражено вспомогательным глаголом БЫТИ в настоящем времени (перфект) или в имперфекте, а позднее в перфекте (плюсквамперфект). Значение имперфекта – результат действия в прошлом, важный для настоящего, отнесенный к настоящему. В «Тьмутараканской надписи» мы читаем: «Глѣбъ князь *мѣрилъ* море по ледоу от Тьмоутороканя до Кърчева», – и далее указывается, сколько князь намерил. Плюсквамперфект – время не абсолютное, а относительное, давнопрошедшее, предпрошедшее, обозначает действие в прошлом, произошедшее ранее другого действия в прошлом, как, например, в «Новгородской кормчей»: *А еже пьанъ моужь попьхнуоули бяхоу запеньше ногоу и оумьреть, польдоушегоубьства есть*.

В литературе предмета отмечается, что употребление временных форм может зависеть от типа текста, от жанра произведения [Древнерусская ... 1995: 462]. Так, имперфект чаще встречается при описании и употребляется в житийных текстах, аорист тяготеет к повествованию, и это самая частотная форма в летописях, а перфект чаще встречается в памятниках делового письма, в грамотах. Весь набор временных форм (то есть все четыре формы прошедшего времени) встречается лишь в текстах повествовательного типа [Сабельфельд, Стрельцова, Шишкина 2004: 72]. Каково в таком случае количественное соотношение и семантическое различие форм? Чем объясняется их употребление в пределах одного текста? Для анализа предлагается фрагмент «Повести временных лет», повествующий о смерти князя Олега (Библиотека литературы Древней Руси).

СМЕРТЬ ОЛЕГА

И ЖИВЯШЕ ОЛЕГЪ, МИРЪ ИМЪЯ КЪ ВСЪМЪ СТРАНАМЪ, КНЯЖА В КИЕВЪ. И ПРИСПЪ ОСЕНЬ, И ПОМЯНУ ОЛЕГЪ КОНЬ СВОИ, ИЖЕ БЪ ПОСТАВИЛЪ КОРМИТИ И НЕ ВСЪДАТИ НА НЬ. БЪ БО ПРЕЖЕ ВЪПРАШАЛЪ ВОЛЪХВОВЪ И КУДЕСНИКЪ: «ОТ ЧЕГО МИ ЕСТЬ УМРЕТИ?» И РЕЧЕ ЕМУ КУДЕСНИК ОДИНЪ: «КНЯЖЕ! КОНЬ, ЕГО ЖЕ ЛЮБИШИ И ТЪДИШИ НА НЕМЪ, ОТ ТОГО ТИ УМРЕТИ». ОЛЕГЪ ЖЕ ПРИИМЪ ВЪ УМЪ, СИ РЕЧЕ: «НИКОЛИ ЖЕ ВСЯДУ НА КОНЬ, НИ ВИЖЮ ЕГО БОЛЕ ТОГО». И ПОВЕЛЪ КОРМИТИ И И НЕ ВОДИТИ ЕГО К НЕМУ. И ПРЕБЫВЪ НЪКОЛКО ЛЪТЪ НЕ ДЪЯ ЕГО, ДОНДЕЖЕ НА ГРЕКЫ ИДЕ. И ПРИШЕДШЮ ЕМУ КЪ КИЕВУ И ПРЕБЫСТЬ 4 ЛЪТА, НА 5 ЛЪТО ПОМЯНУ КОНЬ, ОТ НЕГО ЖЕ БЯХУ РЕКЪЛИ ВОЛЪСВИ УМРЕТИ ОЛЬГОВИ. И ПРИЗВА СТАРЪИШИНУ КОНЮХОМЪ РКЯ: «КДЕ ЕСТЬ КОНЬ МОИ, ЕГО ЖЕ БЪХЪ ПОСТАВИЛЪ КОРМИТИ И БЛЮСТИ ЕГО?» ОН ЖЕ РЕЧЕ: «УМЕРЛЪ ЕСТЬ». ОЛЕГЪ ЖЕ ПОСМЪЯСЯ И УКОРИ КУДЕСНИКА, РКЯ: «ТО ТЪ НЕПРАВО МОЛВЯТЬ ВОЛЪСВИ, НО ВСЕ ТО ЛЪЖА ЕСТЬ: КОНЬ УМЕРЛЪ, А Я ЖИВЪ». И ПОВЕЛЪ ОСЪДЛАТИ КОНЬ: «ДА ТЪ ВИЖЮ КОСТИ ЕГО». И ПРИТЪХА НА МЪСТО, ИДЕЖЕ БЯХУ ЛЕЖАЩЕ КОСТИ ЕГО ГОЛЫ И ЛОБЪ ГОЛЪ, И СЛЪЗЪ С КОНЯ, ПОСМЪЯСЯ РКЯ: «ОТЪ СЕГО ЛИ ЛЪБА СМЕРТЬ МНЪ ВЪЗАТИ?» И ВЪСТУПИ НОГОЮ НА ЛОБЪ, И ВЫНИКНУЧИ ЗМЪА И УКЛЮНУ И В НОГУ. И С ТОГО РАЗБОЛЪВСЯ, УМЪРЕ. И ПЛАКАШАСЯ ПО НЕМЪ ВСИ ЛЮДЪЕ ПЛАЧЕМЪ ВЕЛИКОМ, И НЕСОША И, И ПОГРЕБОША И НА ГОРЪ, ИЖЕ ГЛАГОЛЕТЪСЯ ЩЕКОВИЦА. ЕСТЬ ЖЕ МОГИЛА ЕГО ДО СЕГО ДНИ, СЛОВЕТЪ МОГИЛА ОЛЬГОВА. И БЫСТЬ ВСЪХЪ ЛЪТЪ ЕГО КНЯЖЕНИЯ 33.

Количественное соотношение форм таково: аорист – 23, имперфект – 2, перфект – 2, плюсквамперфект – 4. Начинается фрагмент предложением, содержащим имперфект: И ЖИВЯШЕ ОЛЕГЪ, МИРЪ ИМЪЯ КЪ ВСЪМЪ СТРАНАМЪ, КНЯЖА В КИЕВЪ. Имперфект употребляется в одном из своих двух основных значений: длительность действия, не ограниченного временем (известно, что княжил Олег в Киеве 33 года). Длительность действия для

глагола ЖИТИ показана лексически, это значение, определяемое историками языка как «устойчивое состояние». Как отмечает В.В. Колесов, это описание длительного действия в прошлом, представленного для этого прошлого как настоящее, потому что оно не прекращается [Колесов 2005: 414 – 415]. Такая форма имперфекта предполагает аорист в дальнейшем повествовании, что и наблюдается далее в тексте. С позиции временных срезов текст распадается на две части: 912 год, год смерти князя, и более ранний период (не ранее 907 года), судя по косвенным данным. Вполне логично при чередовании в тексте повествования о событиях 912 года и воспоминаниях князя о пророчестве кудесника употребление соответственно аориста и плюсквамперфекта. И поначалу так и есть: И ПРИСПЪ ОСЕНЬ, И ПОМЯНУ ОЛЕГЪ КОНЬ СВОИ, ИЖЕ БЪ ПОСТАВИЛЪ КОРМИТИ И НЕ ВСЪДАТИ НА НЬ. Причем форма плюсквамперфекта осложняется обстоятельством ПРЕЖЕ, что усиливает ее «предпрошедшесть»: БЪ БО ПРЕЖЕ ВЪПРАШАЛЪ ВОЛЪХВОВЪ И КУДЕСНИКЪ: «ОТ ЧЕГО МИ ЕСТЬ УМРЕТИ?» Однако далее в тексте последовательно употребляется только аорист, хотя речь идет о ситуации самого пророчества, мыслях князя о возможности избежать смерти от коня, его решении на коне больше не ездить, походе на греков, возвращении в Киев. Нет плюсквамперфекта, как будто нет относительного, более раннего, действия. Книжник представляет действие как целиком отнесенное в прошлое, он «вставляет» повествование с аористом внутрь рассказа о событиях жизни Олега, и читатель понимает, что это было ранее. И только когда повествование опять подходит к точке воспоминания Олега о пророчестве с указанием момента воспоминания (если вначале была осень, то теперь НА 5 ЛЪТО), опять встречается необходимый плюсквамперфект, уже в последний раз. Здесь можно говорить о повторении конструкции, своеобразном «возвращении» текста: ПОМЯНУ, БЪ ПОСТАВИЛЪ, БЪ ВЪПРАШАЛЪ – ПОМЯНУ, БЯХУ РЕКЪЛИ, БЪХЪ ПОСТАВИЛЪ. Книжник возвращает читателя в 912 год, и дальше события идут хронологически последовательно. Интересно употребление форм (или формы) перфекта. На вопрос князя о коне конюх отвечает: «УМЕРЛЪ ЕСТЬ». Книжник считает необходимым использовать здесь форму

перфекта, обозначающую не столько само действие в прошлом, а, скорее, значимость его результата для настоящего. Это подчеркивается и в ответе Олега, где при наличии подлежащего перфект употребляется без связки: «КОНЬ УМЕРЛЬ, А Я ЖИВЪ». Здесь встречается характерное для перфекта употребление в предложении с настоящим временем, так как важно подчеркнуть состояние в настоящий момент (в момент речи) как результат предшествующего действия [там же: 423]. Олег радуется, что обманул судьбу, ведь нет результата того действия, которое было ему предсказано. Вот зачем нужна единственная форма перфекта в этом фрагменте. Далее последовательно употребляется аорист, кроме второй в этом тексте форме имперфекта с указанием на постоянную длительность действия [там же: 414], когда князь приезжает посмотреть на мертвого коня и видит место, ИДЕЖЕ БЯХУ ЛЕЖАЩЕ КОСТИ ЕГО ГОЛЫ И ЛОБЪ ГОЛЬ.

Анализ фрагмента показал, что 4 формы прошедшего времени употреблены верно с точки зрения семантики, согласования между собой и другими временными формами. Действие во фрагменте представлено книжником как законченное, целиком отнесенное в прошлое событие, которому предшествовала ситуация предсказания, результат которой был поспешно определен героем как ошибочный. Это стало возможно при использовании все четырех форм прошедшего времени, что говорит о высокой языковой культуре книжника, его языковом чутье.

Три из четырех форм были утрачены, и возникает вопрос: как в переводе сохранить древнюю грамматическую семантику? В «Библиотеке литературы Древней Руси» представлен перевод Олега Викторовича Творогова (Библиотека литературы Древней Руси). Имперфект переводится формами прошедшего времени несовершенного вида: ЖИВЯШЕ – *жил*, БЯХУ ЛЕЖАЩЕ – *лежали*, а перфект – формой прошедшего времени совершенного вида: УМЕРЛЬ ЕСТЬ – *умер*. Достаточно последовательно отражает переводчик и наличие в оригинале плюсквамперфекта, он употребляет наречия, указывающие на предшествование одного прошедшего другому: *прежде, когда-то, тогда* – и глагол *предсказали* с соответствующей приставкой. Что же касается перевода аориста,

то это, как нам кажется, зависит от вида древнерусского глагола. Если глагол совершенного вида (а их большинство), то и переводится он прошедшим временем совершенного вида: *вспомнил, сказал, повелел, посмеялся, укорил, приехал, наступил, ужалила, умер, похоронили*. Но в тексте есть пять форм аориста от глаголов несовершенного вида: НЕ ДЪЯ, ИДЕ, ПЛАКАШАСЯ, НЕСОША, БЫСТЬ. Переводчику удалось сохранить аористную семантику (длительное или недлительное действие как факт, целиком отнесенный к прошлому), но разными способами: ПЛАКАШАСЯ переводится приставочным глаголом *оплакивали*, но он остался глаголом несовершенного вида для обозначения действия как процесса, протекающего во времени. Такой перевод адекватно отражает древнерусский контекст: ПЛАКАШАСЯ ПО НЕМЪ ВСИ ЛЮДЬЕ ПЛАЧЕМЪ ВЕЛИКОМ – *оплакивали его все люди плачем великим* и однородность с формами НЕСОША И ПОГРЕБОША.

Формы ИДЕ и НЕСОША нуждаются в дополнительном комментарии. И дело даже не в их переводе, перевод *пошел (на греков)* и *понесли* совершенно соответствует семантике аориста. Но почему в тексте используется глагол без приставки? Исторические грамматики указывают на возможность употребления аориста от бесприставочных глаголов, если в тексте реализуется семантика начала или конца действия, особенно при указании на направление движения и/или последовательность действий [Древнерусская ... 1995: 420 – 421; Кузнецов 1959: 192]. НЕСОША переводится приставочным глаголом совершенного вида *понесли*, что вполне согласуется с однородным к нему *погребли* и отражает последовательность действий и направление движения: И НЕСОША И, И ПОГРЕБОША И НА ГОРЪ, ИЖЕ ГЛАГОЛЕТЬСЯ ЩЕКОВИЦА – *И понесли его, и похоронили на горе, называемую Щековица*. Аналогично можно трактовать и форму ИДЕ, частотность употребления которой не уступает ПОИДЕ. Форма обозначает начало движения и его направление, что подтверждается контекстом: И ПРЕБЫВЪ НЪКОЛКО ЛЪТЪ НЕ ДЪЯ ЕГО, ДОНДЕЖЕ НА ГРЕКЫ ИДЕ – *И прожил несколько лет, не пользуясь им, пока не пошел на греков*.

Несколько по-иному можно трактовать и форму БЫСТЬ – аорист от глагола БЫТИ. Значение действия как факта, цели-

ком отнесенного в прошлое, обозначение окончания жизни и княжения Олега (И БЫСТЬ ВСЪХЪ ЛЪТЪ ЕГО КНЯЖЕНИЯ 33 – *И было всех лет его княжения 33*) по-древнерусски иначе выразить невозможно, хотя переводчик употребляет форму несовершенного вида.

Что же касается формы НЕ ДЪЯ – *не трогал, не пользовался*, то ее перевод коррелирует, как нам кажется, с переводом причастия ПРЕБЫВЪ: И ПРЕБЫВЪ НЪКОЛКО ЛЪТЪ НЕ ДЪЯ ЕГО переводится *И прожил несколько лет, не пользуясь им*. Переводчик взаимозаменяет формы, причастие переводит формой прошедшего времени, а аорист – деепричастием, основное и добавочное действия меняются местами без искажения смысла текста. Исходя из теории функциональной грамматики А.В. Бондарко, мы считаем возможным оперировать при трактовке подобных явлений понятием таксиса как «временного отношения между действиями (в широком смысле, включая любые значения предикатов) в рамках целостного периода времени...» [Теория функциональной грамматики 2006: 234]. Причем в данном тексте мы рассматриваем только зависимый таксис, выраженный сочетанием личной формы глагола (в одном из прошедших времен) и действительного причастия. Рассмотренный выше контекст ПРЕБЫВЪ ... НЕ ДЪЯ – *прожил, не пользуясь* можно определить как единственный случай сохранения зависимого таксиса с меной таксисных отношений при переводе с древнерусского языка на современный русский. Текст изобилует причастиями, и в остальных случаях перевод представляет один из двух возможных вариантов. Во-первых, может сохраниться зависимый таксис, например: И ЖИВЯШЕ ОЛЕГЪ, МИРЪ ИМЪЯ КЪ ВСЪМЪ СТРАНАМЪ, КНЯЖА В КИЕВЪ – *И жил Олег, мир имея со всеми странами, княжа в Киеве*; ИЖЕ ОЛЕГЪ ЖЕ ПОСМЪЯСЯ И УКОРИ КУДЕСНИКА, РКЯ ... – *Олег же посмелся и укорил кудесника, сказав...* В таких случаях, безусловно, следует говорить об одновременности действия. И, во-вторых, может происходить изменение зависимого таксиса на независимый: перевод причастия личной формой глагола в этом фрагменте встречается повсеместно, так РКЯ два раза из трех переводится *сказал*, СЛЪЗЪ, РАЗБОЛЪВСЯ соответственно *слез* и *разболелся*, а не *слез-*

ши и разболевишиь. Вопрос об одновременности/предшествовании – следовании в таких случаях не решается однозначно. Древнерусскому зависимому таксису может соответствовать русский независимый таксис при выражении последовательности событий: СЛЪЗЪ С КОНЯ, ПОСМЪЯСЯ (РКЯ) – слез с коня, посмеялся (и сказал), ВЫНИКНУЧИ ЗМЪА И УКЛЮНУ И В НОГУ – *выползла из черепа змея и ужалила его в ногу*; причины: С ТОГО РАЗБОЛЪВСЯ, УМЪРЕ – *от того разболелся и умер*; следствия: ОЛЕГЪ ЖЕ ПРИИМЪ ВЪ УМЪ, СИ РЕЧЕ... – *Запали слова эти в душу Олега, и сказал он...* Но может выражаться и одновременность: (СЛЪЗЪ С КОНЯ) ПОСМЪЯСЯ, РКЯ – *посмеялся и сказал*. При этом во всех рассмотренных случаях сохраняются временные отношения между действиями в рамках целостного периода времени в прошлом, осложненные причинно-следственными отношениями.

Рассмотрев формы прошедшего времени в древнерусском языке, в древнерусском тексте «Смерть Олега» и его современном переводе, следует отметить, что характерная для древнерусского языка дискретность прошедшего времени, выраженная системой различных по структуре и семантике форм, отчасти нивелируется в современном русском языке. Современная форма недискретна по своей структуре, что же касается значений (перфектного, имперфектного, аористного и, может быть, плюсквамперфектного), то их квалификация в случае анализа текста перевода как вторичного текста может продуктивно и адекватно проводиться только с опорой на оригинал.

ЛИТЕРАТУРА

- Библиотека литературы Древней Руси. Т.1. СПб., 1997.
Древнерусская грамматика XII – XIII вв. М., 1995.
Колесов В.В. История русского языка. М. – СПб., 2005.
Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.
Никуличева Д.Б. О функциональном и структурном понимании аналитического строя и о синтагматике дискретности как структурной доминанте аналитизма // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. Т.4, вып.2.
Сабельфельд Н.М., Стрельцова М.И., Шишкина Т.А. Историческая морфология русского языка. Новосибирск, 2004.

Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. М., 2006.

УДК 81'37

Ю. В. Крылов

Новосибирск

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ПЕРЕСЕКАЕМОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЭМОЦИЙ

Объектом рассмотрения в статье являются периферийные участки семантического поля эмоции **злость**, обозначаемые словами **насмешка, отвращение, презрение**. Диффузность поля эмоции демонстрируется на основе анализа семантика указанных слов. Кроме того, показывается возможность описания «небазовых» эмоций в качестве самостоятельных семантических эмотивных единиц.

Данная статья посвящена проблеме выделения и описания периферийных областей семантических полей (СП) эмоций. Установление границы между близкими полями или указание на ее диффузность анализируется на примере слов **насмешка, отвращение, презрение** как названий самостоятельных эмоциональных состояний и входящих в СП нескольких эмоций. Выбор данных имен объясняется тем, что они выделены в качестве периферийных элементов СП **злость**.

Внимание исследователей в современной лингвистике не раз привлекали различные эмоции. На сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных реконструкции отдельных эмотивных концептов, из которых складывается эмотивная картина мира: счастье [Воркачев 2001], удивление [Дорофеева 2002], стыд [Арутюнова 1976], радость, горе, страх [Апресян 1995, Валиева 2003], гнев [Лакофф 2004, Маркина 2003], страх [Зайкина 2004], любовь [Кузнецова 2005, Лобкова 2005], обида [Эмих 2005] и др.

Перечисленные эмоции принято называть «базовыми». Данный подход основывается на идеях, высказанных в психологии,

где уже давно ученые выделяют определенное количество простых эмоций (К. Изард, П. Симонов, В. Вундт, Н. Грот). Большинство классификаций эмоций в лингвистике также строится на идее атомизма, то есть возможности сведения всего многообразия состояний человека к некоторому конечному количеству простых, неделимых эмоциональных смыслов.

Примером классификации может служить различие десяти «фундаментальных» эмоций, выделенных на основе комплексного подхода, охватывающего их нервный субстрат, экспрессию и субъективные качества, К. Изардом [Изард 1991: 83–140].

Базовыми, «фундаментальными» чувствами К. Изард называет такие самостоятельные чувства, которые хотя и могут вступать в соединения с другими элементами сознания, но сами уже на самостоятельные, более простые чувства неразложимы. В качестве фундаментальных К. Изард выделяет следующие эмоции: интерес-волнение; радость; удивление; горе-страдание; гнев; отвращение; презрение; страх; стыд; вина.

В лингвистике значимость данных номинаций эмоций обосновывается тем, что они выделяются в качестве категориальных сем в лексических значениях слов, называющих другие эмоциональные состояния. Так, Л.Г. Бабенко выделяет 37 первичных имен, которые выступают в качестве идентификаторов в ЛЗ других номинаций эмоций. Нам важно, что ни отвращение, ни презрение, ни насмешка не выделены Л.Г. Бабенко в качестве базовых идентификаторов. Кроме того, данные номинативы называют эмоциональные концепты, которые являются важными в человеческом опыте, о чем свидетельствует большое количество пословично-поговорочного и фразеологического материала, интерпретирующего данные понятия, например, эмоция злости может быть передана более чем 40 идиомами [Крылов 2002].

Описывая ту или иную «базовую» эмоцию, лингвист обращается к построению семантического поля, что позволяет ему эксплицировать словарь эмоции, то есть составить список идентификаторов выявляемого состояния. Анализ толковых, системных, ассоциативных словарей показывает весьма обширный и достаточно полный список имен исследуемой эмоции. Так, например,

словарь эмоции злости составил более 287 словоформ, называющих данное состояние, его становление или выражение.

Все единицы поля разделяются на ядерные и периферийные. К ядру относятся слова, семантика которых содержит максимальное количество категориальных, дифференциальных признаков понятия, организующего поле. Соответственно на периферию уходят слова, не имеющие большинства дифференциальных признаков данной системы.

Основное внимание уделяется именно ядерным компонентам, которые наиболее ярко, точно отражают идею, организующую СП, а значит, лучше позволяют выделить те признаки, которые отличают СП одной эмоции от другой. Выделение дифференциальных признаков эмоции позволяет решить такую задачу исследования, как отграничение исследуемого объекта от близлежащих семантических полей: злость необходимо отделить на языковом уровне от обиды, страха и прочих отрицательных эмоций. И анализ ядерных компонентов соотносимых СП позволяет это сделать.

Периферия, то есть области, где представлены совмещенные, сложные эмоции и способы их языковой интерпретации, остаются неисследованной областью семасиологии. Они рассматриваются как несамостоятельный, вторичный элемент эмотивной картины мира.

Внимание именно к пограничным элементам СП, по нашему мнению, позволяет по-новому взглянуть на само понимание границ эмотивных полей и их периферию. Изучение периферийных элементов СП в качестве самостоятельных названий эмоций дает возможность не только выделить признаки этих эмоций, но и описать процессы и причины их становления. Анализируя семантику и включенность этих слов в различные СП, мы тем самым восстанавливаем, актуализируем причинно-следственные связи между эмоциями, их взаимообусловленность и зависимость друг от друга. Семантика названий «небазовых» эмоций и их речевая реализация показывают, что носители языка чувствуют, что одно переживание порождает другое, но при этом не исчезает, а сочетается с новым состоянием и дает некое переходное переживание.

Рассмотрим соседство СП **злость** с другими полями на примере анализа названий эмоций (**отвращение, презрение**) и эмоционального воздействия (**насмешка**).

То, что указанные слова входят в состав СП **злость**, было определено нами в статье [Крылов 2002].

Рассмотрим особенности семантики **насмешки** на материале синонимических рядов и словарных дефиниций.

Насмешка, глумление, издевательство, издевка, укол, шпилька, желчь, острота, шутка, ирония, карикатура, пародия, сарказм, сатира, эпиграмма, юмор (СС).

Насмехаться, смеяться, издеваться, глумиться, потешаться, насмешничать, надсмехаться (СС).

НАСМЕШКА ж. *Обидная* шутка, издевка (ТСО).

ИЗДЁВКА ж. Злая, *оскорбительная* насмешка, *обидная* шутка, издевательство (ТСО).

ОСКОРБЛЯТЬ (наносить оскорбление). Причинять моральный ущерб, тяжело *обижать*, крайне *унижать* кого-л (ТСО).

ГЛУМИТЬСЯ. Издеваться, *зло* насмехаться над кем-л., чем-л (ТСО).

УНИЖАТЬ. 2. Умалчать чье-л. достоинство, оскорблять чье-л. самолюбие (ТСО).

ИРОНИЯ. Тонкая насмешка, прикрытая серьезной формой выражения или внешне положительной оценкой (ТСО).

Анализ материала указывает на то, что **насмешка** имеет одновременно отношение к СП **обида** и **злость**, о чем свидетельствуют семы, выделенные курсивом. Обращение к контекстуальному материалу объясняет причину такого положения:

Сосед по квартире, инженер Драгин, начальник цеха, со злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на девственно стройный, иссушенный стан, на её пенсне, висевшее на чёрном шнурочке. Его плебейская натура возмущалась тем, что старуха осталась предана воспоминаниям прошлого... (В. Гроссман. Жизнь и судьба).

Сочетание *злая насмешка* предполагает первичность именно **насмешки** как действия, а **злости** как оттенка эмоции, вспомогательного идентификатора. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что описывается не вариант злости, проявленной в насмешке, а именно ирония, насмешка, колкость. *Возмущение* объясняет причину *злой насмешки* – это внешнее проявление негативного воздействия на каузатор эмоции, которым характеризуется концепт **злость** и которое допустимо в культуре, обществе и позволяет снять напряжение от испытываемого переживания:

*Это само по себе было тяжело для меня; а в том, что произошло это против моей воли и желания, было что-то особенно **тяжёлое, унижительное, обидное, как насмешка*** (М. Арцыбашев. Жена).

Насмешка сравнивается с обидой, при этом она представлена в качестве самодостаточного состояния. Обида – это, очевидно, самая ожидаемая, самая частая реакция на насмешку, поскольку становится объектом сравнения.

*Но пикировка не прекращалась. Причем со стороны Пастернака, допускаю вполне, так называемые **колкости** возникали непредумышленно и случайно, но **обида** Ахматовой оттого не была меньше* (Н. Иванова. Пересекающиеся параллели).

Насмешка, колкость вызывают обиду. Причина же насмешки зачастую кроется в недоброжелательном, злом отношении к адресату. Описывая СП **обиды** и **злости**, лингвист затруднится провести между ними границу, признавая, что эти поля взаимопроницают и дополняют друг друга в области эмоционального воздействия посредством **насмешки** и **иронии**. Очевидно, что здесь наблюдаются причинно-следственные связи, а саму **насмешку** можно рассматривать как самостоятельную семантическую группировку.

Отвращение и презрение. К. Изард объединяет **гнев (злость)**, **отвращение** и **презрение** в «триаду враждебности» [Изард 1991]. Данные языка подтверждают это единство, о чем свидетельствуют представленные словарные дефиниции и синонимические ряды эмотивной лексики:

Отвращение, брезгливость, гадливость, нелюбовь, ненависть, неприязнь, нерасположение, омерзение, антипатия (СС).

ОТВРАЩЕНИЕ. Сильное чувство *неприязни*, соединенной с *брезгливостью; гадливостью, омерзением* (ТСО).

НЕПРИЯЗНЬ. Нерасположение, недружелюбное, враждебное отношение к кому-л., чему-л (ТСО).

БРЕЗГЛИВЫЙ. Преисполненный *отвращения* (ТСО).

ОМЕРЗЕНИЕ. Крайнее *отвращение* (ТСО).

ГАДЛИВОСТЬ. Чувство *отвращения, брезгливости* (ТСО).

Данная группа слов охватывает область пересечения СП **злости** с полем уже не эмоционального состояния, а физиологической реакции. Об этом свидетельствуют выделенные курсивом семы. В отличие от **неприязни**, эмоция **презрения** выделяется на стыке СП **злости** и поля **гордости (уважения)**. Анализ словарных дефиниций показывает, что **презрение** находится на пересечении СП **злости** и **гордости**. Особенность данного фрагмента словаря заключается в смене оценки с положительной (**гордость**) на отрицательную (**гордыня, кичливость**). **Презрение** – это оценка социального статуса человека как крайне низкого.

ПРЕЗРЕНИЕ. Чувство полного *пренебрежения*, крайнего *неуважения* к кому-л., чему-л (ТСО).

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ. Высокомерно-презрительное отношение, недостаток *уважения* к кому-л., чему-л (ТСО).

ВЫСОКОМЕРИЕ. Уверенность в своем превосходстве, *пренебрежительное* отношение к окружающим (ТСО).

КИЧЛИВЫЙ. Чрезмерно *горделивый*, заносчивый, высокомерный (ТСО).

ЗАНОСЧИВЫЙ. Высокомерный, *самоуверенный*, дерзкий (ТСО).

САМОУВЕРЕННЫЙ. Излишне *уверенный* в себе, в собственных силах, возможностях (ТСО).

ГОРДЕЛИВЫЙ. Проявляющий чувство собственного *достоинства*, уверенность в собственном превосходстве (ТСО).

УВАЖЕНИЕ. Чувство почтения, отношение, основанное на признании достоинств, высоких качеств кого-л., чего-л (ТСО).

Языковой материал показывает, что злость с отвращением могут отлично уживаться и дополнять друг друга:

С душевной болью, со злостью и с отвращением к себе, и к Любке и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин; не раздеваясь, на деревянный кособокий пролежанный диван и от жгу-чего стыда даже заскрежетал зубами (А. Куприн. Яма);

– Как это грубо, дико! – с тоской и злостью сказала она, отворачиваясь от него почти с **отвращением** (И. Гончаров. Обрыв).

При этом отвращение предполагает высокую степень эмоционального напряжения, когда человек уже не контролирует себя, о чем говорят слова *злость, бешенство, раздражение*. В отличие от **отвращения**, которое характеризуется низкокогнитивной оценкой, **презрение** – это высококогнитивная эмоция. При этом субъект эмоции ставит себя гораздо выше адресата:

Любить можно и с какой-то долей презрения, свысока. А верить в человека можно только с благоговением (Митрополит Антоний (Блум). О встрече).

Позиция *свысока* дает возможность использовать презрение в качестве защиты, противопоставления злости:

Когда мне прислали первое презренное, анонимное письмо, Петр Степанович, то, вы не поверите этому, у меня недостало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость... (Ф. Достоевский. Бесы).

Презрение, как и насмешка, может быть представлено как самостоятельная эмоция, свободно сочетающаяся с другими эмоциональными смыслами:

Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне. «Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд (Ю. Коваль. Капитан Клюквин);

Он ругал их при всяком удобном случае, ругал самыми последними словами, изливая на них весь яд презрения и злобы (Г. Белых. Лапти).

Презрение и **отвращение**, входя в состав СП *злость*, остаются достаточно самостоятельными эмоциями, имеющими свои признаки, использующимися в речи в качестве указаний на состояния, отличные от злости, не содержащие ее признаков.

Итак, изучение «небазовых» эмоций, периферийных элементов СП позволяет, с одной стороны, увидеть связь данных полей эмоций, области их пересечения, а, с другой стороны, на примере данных наблюдений эксплицитовать связь эмоций между собой, их взаимообусловленность и нерасчлененность. «Небазовые»

эмоции могут быть изучены как отдельные, самостоятельные состояния, что позволит описать системность эмотивной картины мира. Изучение «небазовых» эмоций представляется на сегодня наиболее перспективным и наименее разработанным направлением в лингвистике эмоций.

ЛИТЕРАТУРА

Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск, 1986.

Изард К. Эмоции человека. М., 1991.

Крылов Ю.В. Описание фразеологических единств со значением эмоционального состояния гнева // Молодая филология. Новосибирск, 2002. Вып. 4. Часть 2.

Крылов Ю.В. Периферийные компоненты поля эмоции **Злости** с синкретичным состоянием эмоционального состояния // Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении: Материалы Третьих Филологических чтений. 28 – 29 ноября 2002. Новосибирск, 2002.

СЛОВАРИ

Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 2006. (ТСО)

Словарь синонимов русского языка: в 4-х тт. М., 1985 – 1988. (СС)

Словарь синонимов / Под ред. Т.Н. Гурьевой. М., 2003.

УДК 81

М.А. Ланно

Новосибирск

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ / САМОИДЕНТИФИКАЦИИ КАК НЕЧЕТКИЕ (РАЗМЫТЫЕ) ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МНОЖЕСТВА

Языковые средства идентификации родства, пола и возраста проанализированы в статье в рамках прототипического подхода когнитивной лингвистики. Размытые лингвистические множества представляют со-

бой структурированный тем или иным образом континуум языковых единиц, имеющих различный семантический «вес».

Самоидентификацию мы понимаем, во-первых, как самоотожествление человека с какой-либо группой/классом/типом людей, во-вторых, как речевой акт, в котором говорящий дает определение, наименование себя в соответствии со своей принадлежностью к определенной национальной, социальной, профессиональной, возрастной, половой и т.п. группе/классу/типу/людей.

В работе психотерапевта М. А. Щербакова «Семь путешествий в структуру сознания» анализируются семь уровней самоидентификации: социально-профессиональный, семейно-клановый, национально-территориальный, религиозно-идеологический, эволюционно-видовой, половой уровень, духовный уровень. Вместе с тем, данные русского языка указывают на то, что можно выделить еще один ключевой уровень идентификации – возрастной, и на то, что он теснейшим образом слит с половым и семейно-клановым уровнями.

Целью нашей статьи является рассмотрение языковых средств идентификации и самоидентификации как нечетких лингвистических множеств. Материалом послужили лексемы, называющие представителей групп людей, связанных с категориями «семья», «пол» и «возраст».

Считается, что понятие нечеткого (или размытого) лингвистического множества ввел американский математик Лофти Заде, которым, в частности, написана книга «Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений».

По словам В.Б. Кашкина, «именно благодаря усилиям математики (и математической лингвистики) обнаружилось, что попытки уместить язык в прокрустово ложе ‘правильной’ позитивистской науки, оперирующей дискретными понятиями, в бытовом идеале аналогичными простым числам, в значительной мере упрощают и искажают сущность языковых процессов. В противовес механистическим системам, допускающим описание в рамках дискретной математики, языковые (и шире – гуманистические) системы – в терминологии Лофти А. Заде – требуют особого, линг-

вистического подхода и в рамках математики. После появления работ математика Л.А. Заде о лингвистической переменной и нечетких множествах лингвистическая, интерпретационная модель, учитывающая субъективную меру, т.е. позицию включенного наблюдателя, проникла в математику; и наоборот, концепция нечетких множеств (*fuzzy sets*) и лингвистической переменной (*linguistic variable*) стала использоваться в языкознании» [Кашкин 2000: 146].

Признаками нечетких лингвистических множеств являются:

- толерантная организация, т.е. элементы сходны, но не характеризуются транзитивностью (свойства одного из элементов не обязательно переходят на другие);

- потенциальная бесконечность (как от 1 до 0, так и от 0 до 1 то есть, до точки границы) толерантных лингвистических множеств приводит к нечеткости, размытости их границ, а также к динамике соотношения центра и периферии [Пиотровский 1979: 41–44]. «В случае классического множества любой элемент или входит в данное множество (имеет значение членства 1), либо находится вне его (имеет значение членства 0). В размытом множестве допускаются дополнительные значения между 0 и 1» [Лакофф 2004: 40].

В «Кратком словаре когнитивных терминов» под ред. Е.С. Кубряковой указывается, что работы по нечетким понятиям содержат идею прототипа. «Прототипический подход – подход к проблеме категорий, компромиссный между платоновским и витгенштейновским. Платоновский взгляд состоит в положении и строгой категоризации языка – лексических единиц, морфем, синтаксических конструкций и правил, регулирующих их употребление в коммуникации. В этой «списочной (checklist) концепции слово либо обозначает данную вещь, либо нет. **Категории** (выделено автором – М.Л.) дискретны и основаны на группировках свойств, внутренне присущих (ингерентных) представителям соответствующих категорий. Витгенштейновский взгляд связывают, напротив, с положением о недискретности, размытости границ, непрерывности и случайности в определении вещей и их именовании» [Демьянков 1997: 140]. И далее: «Континуум категорий обладает двумя различными градациями:

– все свойства-признаки имеют некоторый вес (в соответствии со своей важностью, значимостью) в установлении типичности объекта);

– все члены категории обладают определенным рангом, соответствующим количеству у них характерных свойств данного прототипа [там же: 141].

Кроме этого, актуально понятие «лучшего образца» категории («лучший пример»), связанное с тем единодушием, с которым носители языка характеризуют значение языковых единиц в отрыве от контекста (см. работы американского психолога Э. Рош): «Интуитивные представления о языковом концепте состоят в том, что он объединяет признаки и свойства разного веса – эту идею в семантику впервые «впустила» Э. Рош» [Рахилина 1997: 375].

Наш материал показывает, что признаками нечеткости лингвистического множества является также включение одной языковой единицы в разные семантические категории (в рамках семного и лексико-семантического варьирования) и признак относительности одного элемента по сравнению с другим. Обратимся к семантическим полям *родства, пола и возраста* в русском языке, лексические единицы которых используются как средства идентификации / самоидентификации носителями языка.

1. Категория «родство»

В лингвистике слова, относящиеся к данной категории, изучаются как термины родства, семантическое поле родства. Накоплен достаточный теоретический материал, многие лингвисты сходятся в том, что эта группа лексем (семем) достаточно четко структурирована: «В определенном отношении образцовое семантическое поле составляют термины родства» [Кронгауз 2001: 161]. Однако остаются вопросы структурирования указанного семантического поля в аспекте явления идентификации / самоидентификации.

Так, М.А. Кронгауз относит к центру поля слова, указывающие как на родство, так и на свойство (которое имеет семантику «указание на брак»). Мы считаем, что если говорить о степени родства, то следует в первую очередь учитывать кровных род-

ственников, дальние и тем более некровные родственники относятся к периферии этого поля (кроме, может быть, лексем «жена» и «муж»), поскольку жена и муж имеют непосредственное отношение к появлению на свет потомков, то есть своих кровных родственников).

Таким образом, к центру поля мы относим слова *мать, отец, сын, дочь, бабушка, дедушка, внучка, внук, дядя, тетя, брат, сестра, родители, дети*, а также слова *муж* и *жена*, а к дальней периферии – *невестка, сноха, зять, теща, тесть, свекровь, свекровка, свекор, сватья, сват, золовка, деверь, свояченица, деверь, шурин*. К ближней периферии относятся слова-названия родственников, в составе которых имеются приставка *пра-* и суффикс *-юродный*.

Обращает на себя внимание тот факт, что в современном русском языке уходят из активного употребления слова-наименования свойства, слова же, которые мы относим к ближней периферии поля, употребляются реже прежде всего вследствие экстралингвистических причин: прадеды не всегда доживают до своих правнуков, уходит ценность «большой» семьи, рода, на первый план выходит ценность «малой» семьи, узкого семейного круга, включающего самых близких родственников. С лингвистической точки зрения, наименования родственников самого ближнего круга являются однословными, а не составными, как наименования дальних родственников.

Также к периферии поля М.А. Кронгауз справедливо относит слова, связанные со вторичным браком, смертью одного из супругов, крещением и т.д.: *мачеха, отчим, падчерица, пасынок, вдова, вдовец, кум, кума*. По этой логике, нужно добавить слова *крестник, крестница, крёстный, крёстная* и *сирота*. Думается, что последнее слово можно отнести даже к центру этого поля, но со знаком «минус» (минус-родство). См. табл. 1: темно-серым цветом обозначено самое ближнее родство, центр поля обведен жирной линией.

Все слова, обозначающие родственников, независимо от их местоположения в семантическом пространстве, в первую очередь выражают идею *родства* (интегральная сема), во вторую

очередь – *пол, возраст* (дифференциальные семы). Способность выразить пол отсутствует у слов *родители, дети*, а у слова *сирота* пол может быть выражен только грамматически. У всех лексем поля родства имеется семантический потенциал переакцентуации сем либо в рамках лексико-семантического, либо в рамках семного варьирования. И соответственно либо в языке, либо в речи они относятся к разным семантическим полям. Этот потенциал заложен в самой языковой системе, объясняемой экономией языковых средств за счет размытости границ. Например:

Я ведь уже бабушка! (семное варьирование, актуализируется сема «возраст»).

Дедушка (дед), отец, мать, внучка, внучок (лексико-семантическое варьирование, при обращении к неродственникам на первый план выходит сема «возраст»).

Вон дядя (тетя) идет! (лексико-семантическое варьирование в детской речи – актуализируются семы «пол» и «возраст»; ср.: *Девочка / мальчик идет!*).

Таблица 1

ПОКОЛЕНИЕ	+3	Прадедушка / прабабушка	Двоюродный прадедушка / двоюродная прабабушка		
	+2	Дедушка / бабушка	Двоюродный дедушка / двоюродная бабушка		
	+1	Отец / мать родители	Дядя / тётя	Двоюродный дядя / двоюродная тётя	
	0	<i>(Ego)</i>	Брат / сестра	Двоюродный брат / двоюродная сестра (Кузен / кузина)	Троюродный брат / троюродная сестра
	1	Сын / дочь ребенок, дети	Племянник / племянница	Двоюродный племянник / двоюродная племянница	
	2	Внук / правнук	Внучатый племянник / внучатая племянница	Двоюродный брат / двоюродная сестра (Кузен / кузина)	
	3	Правнук / правнучка			
		0	1	2	3
СТЕПЕНЬ РОДСТВА					

2. Категория «возраст»

Интегральная семей лексических значений слов *старуха, старушка, старик, старичок, бабушка, дедушка, юнец, младенец, ребенок, отрок, подросток, мальчик, девочка, дети, дитя, ребята, внучка, внук* и др. является сема «возраст», дифференциальной – «пол» (кроме слов *ребенок/дети, дитя, подросток, младенец*). Нейтрализация семы «пол» может быть в речи: *Ты – старик, и я – старик* (пожилая женщина мужчине).

Для данного семантического поля не так актуально понятие ядра и периферии, сколько принцип собственно нечеткого множества (в понимании Л. Заде), то есть градуального характера категории. Точно так же, как для носителей русского языка в целом не вполне ясны границы элементов «утро», «день», «вечер» и «ночь» на временной шкале категории «сутки» (см. об этом [Пиотровский 1979: 42–44]), не четко определены семантические границы элементов категории «возраст» (именно поэтому в табл. 2 рядом с указанием на количество лет мы поставили знаки вопроса). Размытость характеризуется тем, что разные слова теоретически могут занимать на шкале различные по размеру зоны – от точки до всей длины шкалы [Шабес 1989: 25]. Например, мы видим, что *младенцем* называют человека с рождения до приблизительно 1 года, а *мужчиной* и *женщиной* – приблизительно с юношеского возраста до конца жизни.

Таблица 2

+стиль	Дитя, <i>ребята</i> , детишки		Отрок, юнец	Дева		<i>Старушка, старичок</i>
	<i>Ребенок, дети</i>					
	Младенец		<i>Подросток</i>			
+пол	<i>Мальчик / девочка</i>			<i>Юноша / девушка</i>		<i>Старик / старуха</i>
				<i>Мужчина / женщина</i>		
	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ?	?12 – 17?	?18 – 29?	?30 – 59?	?60 – ...

Интересно, что специализированными лексемами маркируются здесь в первую очередь крайние полюса категории – молодость (*младенец, дитя*) и старость (*старик, старуха*). Средний возраст в русском языке не маркирован именами существительными, хотя имеются описательные конструкции (*зрелый, опытный человек*).

И.М. Кобозева указывает, что «...к употреблению лексем с маркированным уровнем точности (в сторону меньшей, чем следовало бы, конкретности (то есть дискретности! – М.Л.) мы прибегаем... при выражении сочувствия: «*Бедный ребенок!*» (обращение к плачущим девочке или мальчику)» [Кобозева 2007: 99].

Важной особенностью использования данной лексической категории является относительный характер её элементов: так, при обращении к лицам старше 30 лет пожилые люди могут вполне использовать номинации «девочка» и «мальчик», возможно, уменьшая таким образом свой биологический возраст. Кроме этого, термины родства также часто используются для указания на возраст при обращении к неродственникам (см. примеры выше).

Нельзя не отметить и то, что круг средств идентификации гораздо шире, чем круг средств самоидентификации (в таблице данные лексемы выделены полужирным курсивом). Это объясняется тем, что при самоидентификации редки либо вообще не используются стилистически маркированные элементы (*отрок, детишки, юнец, дева*); слово *младенец* также не может быть использовано в целях самоидентификации по понятным причинам.

3. Категория «пол»

Центром данной категории выступают лексемы *мужчина* и *женщина*, вокруг которых соответственно выстраиваются слова *мальчик, юноша, мальчишка* и *девочка, девушка, девчонка* и др. Это ядро семантического поля «пол». Во всех семемах, кроме *мужчина* и *женщина*, семы «пол» и «возраст» тесно слиты, что доказывают следующие дефиниции МАС:

МАЛЬЧИК – 1. Ребенок, подросток мужского пола. || Об очень молодом, незрелом, несерьезном человеке.

ДЕВОЧКА – 1. Ребенок или подросток женского пола. || Об очень молодой, юной, неопытной девушке.

МАЛЬЧИШКА – 1. То же, что *мальчик* (в 1 знач.) || О недостаточно зрелом, неопытном, несерьезном человеке.

ДЕВЧОНКА – *Разг. Уничиж. к девочка*; то же, что *девочка*. || Об очень молодой, легкомысленной, несерьезной девушке.

ЮНОША – Лицо мужского пола в возрасте, переходном от отрочества к возмужанию; молодой человек.

ДЕВУШКА – 1. Лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее в браке. || *Разг.* Форма обращения к молодой женщине.

Женщиной либо *мужчиной* можно назвать человека любого возраста при указании его половой принадлежности, однако, как показывает языковой материал, компонент «возраст» при функционировании слов *мужчина* и *женщина* также нередко выходит на первый план: *Да ты еще мальчишка! Не девочка, но еще и не женщина.* А в толковании слова *женщина* это частично отражено в варианте «лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке» (в брак вступают при достижении совершеннолетия):

ЖЕНЩИНА – Лицо, противоположное по полу мужчине. || Лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств. || Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке.

МУЖЧИНА – Лицо, противоположное по полу женщине. || Лицо мужского пола, отличающееся мужеством, твердостью.

К периферии семантического поля «пол» мы относим слова, указывающие на родственные отношения, если в их семантике дифференцирован пол (*мать / отец, дочь / сын, сестра / брат* и т.д.) и слова – названия представителей профессий или социальных групп. В русском языке пол маркируется при названии лиц женского пола (*машинистка, учительница, спортсменка, студентка, читательница*), кроме слова *дояр*; маркирование пола словами мужского рода актуально только при противопоставлении их словам женского рода, поскольку более распространенным является использование слов мужского рода для обозначения лиц по принадлежности к профессии или социальной группе без указания на пол.

Изучение структуры полей идентификационных признаков «пол», «возраст», «родство» и др. позволяет учесть эти факторы

при описании функционирования самоидентификации. Так, степень родства может быть, например, более сильным аргументом, например:

– *Атмосфера – сгущается, – говорила Лара. – Время нашей безопасности миновало. Нас несомненно арестуют, тебя и меня. Что тогда будет с Катенькой? **Я мать** (выделено нами. – М.Л.). Я должна предупредить несчастье и что-то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаяюсь рассудка при этой мысли* (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

Степень родства матери максимальная, мать в данном случае – наиболее близкий родственник, ответственный за жизнь своего ребенка, поэтому ей необходимо что-то предпринимать, чтобы спастись от ареста. Ср.: *я прабабушка, я тетя, я кузина* (эти самоидентификации выступали бы как более слабые аргументы).

Или, наоборот, в речи Юрия Живаго обвинение высшего порядка аргументируется при помощи лексемы с семантикой нулевой степени родства: *Комаровский спаивал отца, запутал его дела и, доведя его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался **сиротой*** (выделено нами. – М.Л.).

Перспективами изучения средств идентификации / самоидентификации является анализ других категорий идентификации как множеств элементов, структурированных тем или иным образом, и влияния этих структур на языковую специфику самоидентификации.

ЛИТЕРАТУРА

Демьянков В.З. Прототипический подход // Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С.Кубряковой. М., 1997.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976.

Кашкин В.Б. Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания (часть 2) // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2: Язык и социальная среда. Воронеж, 2000.

Кобозева И.М. Лексическая семантика. М., 2007.

Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001.

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. М., 2004.

Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теории языка. Л., 1979.

Рахилина Е.В. // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и А.О. Секериной. М., 1997.

Словарь русского языка: В 4-т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1984–1988 (МАС).

Шабес В.Я. Событие и текст. М., 1989.

Щербаков М.А. Семь путешествий в структуру сознания. М., 1998.

УДК 81

***Е.В. Соснин**
Новосибирск*

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Статья посвящена проблемам реконструкции формальных архетипов индоевропейского праязыка, связанным с неопределённым статусом дополнительных гласных **i*, **u*. На основании работ специалистов в области фоносемантики, этимологии, исторического синтаксиса, морфологии и акцентологии выдвигается предположение о генетическом единстве акустических признаков дизности-бемольности, нисходящей и восходящей интонации, дифференциальных признаков твёрдости-мягкости в системе согласных, палатальности-лабиальности в подсистеме гуттуральных, полугласных **j*, **w* и дополнительных **i*, **u*, что связано с подвижностью границ между сегментным и суперсегментным уровнями и позволяет предположить генетическое родство пракорней, содержащих данные включения.

Эпоха структурализма сформировала мнение, что наиболее приемлемый способ описания языка – дискретный, при котором исследователь стремится разложить предмет описания на элементарные предельные сущности, «из которых дедуктивным путём, через комбинации, оппозиции или трансформации, будут выводиться все остальные сущности» [Степанов 1974: 97]. Однако в 60-е годы акцент в изучении языка смещается в область так называемой неопределённой лингвистики, поскольку накопленный

материал, особенно по истории языка, показал неоднозначность решений и постепенное стирание чётких границ между категориями и формами по мере продвижения в глубину времён. Так, например, в рамках «теории адаптации», выдвинутой ещё А. Людвигом в 1893 году и развитой Г. Хиртом, личные окончания **-m* и **-s* глаголов 1 и 2 лица восходят к соответствующим именным показателям винительного и именительного падежей [Красухин 2004: 40], а плюральное окончание 3 лица с чередованием **-nt* и **-r* неоднократно сопоставлялось с суффиксами гетероклитического склонения [там же: 40], размывая, таким образом, чёткие границы между именем и глаголом. При реконструкции лексических архетипов этимологи постоянно имеют дело с множественной этимологией и неоднозначностью этимологических решений, как на формальном, так и на семантическом уровне, что заставляет говорить не о дискретных границах, а о «зоне разброса» и «волновой передаче формы и содержания», представляющей собой «ряд ситуаций, расположенных по нарастанию одних признаков и убывания других» [Степанов 1995: 8, 14]. Об этом же писал и О.Н. Трубачёв, подчёркивая важность субстанционального, а не оппозиционного подхода, а также преобладание в реальности полутонов [Трубачёв 2003: 175 – 176].

Важность проблемы становится очевидной, когда реконструкция выходит за рамки внутренней лингвистики, а исследователь, опираясь на данные этимологии, приступает к восстановлению фрагментов древней культуры, поскольку культурно значимые, «горячие», в определении О.А. Смирницкой, слова, чья коммуникативная функция неотделима от поэтической, оставаясь прозрачными с точки зрения внутренней формы, сильно затемняются на формальном уровне [Смирницкая 2005: 167 – 168], синонимизируясь с созвучными образованиями и подвергаясь табуизации. Однако все эти кажущиеся спорадическими изменения на деле строго закономерны и обусловлены континуальностью самой языковой системы, что мы и хотим продемонстрировать на небольшом примере.

Отправной точкой нашего исследования служит работа Э. Бенвениста «Очерк теории корня», где были сформулирова-

ны четкие структурные черты индоевропейского корня позднего периода, среди которых наиболее интересными являются следующие: 1) за исходный вариант пракорня принимается трехбуквенный односложный с гласным **-e* между двумя любыми согласными, причем трехбуквенными считаются и корни, содержащие дифтонги, в которых второй неслоговый компонент является «вторым согласным»; 2) к исходным вариантам добавляются суффиксы либо в нулевой ступени, при полной ударной огласовке корня, либо в полной огласовке, при нулевой ступени корня; 3) именных основ, производных от корня, было гораздо больше, и сами они были многообразнее глагольных. «И.-е. язык располагал богатой гаммой возможностей образования имени – начиная от самого корня (=корневое имя) вплоть до самых различных образований с помощью суффиксов и распространений. Что же касается глагольных основ, то их образование было ограничено узкими пределами и допускало самое большее один суффикс и одно распространение» [Бенвенист 2004: 201 – 202].

Анализ материала этимологических словарей, начиная со словаря J. Pokorny, выявил ряд корней, несомненно общих по форме и восходящих к трехбуквенным прототипам, но тем не менее вынесенных в отдельные словарные статьи, например: **bhereg-* “brummen” (англ. *to bark* «лаять», русск. *брехать*), **bhereg’-* “glänzen” (англ. *birch*, нем. *Birke*, русск. *береза*), **bhereg’h-* “hoch” (англ. *barrow*, нем. *Burg*, русск. *берег*), **bherék’-* “glänzen” (др.-исл. *braga* «пылать»), **bhergh-* “bergen” (нем. *bergen*, англ. *borrow*, русск. *беречь*) и т.д. [Pokorny 1959: 139 – 145; Johannesson 1954: 621 – 624; Черных 1994: 85]. Уже Йоганнессон предполагает производность **bhereg’h-* “hoch” от **bher-1* “tragen; erheben” (лат. *ferō*, русск. *бегу*) [Johannesson 1954: 625], а П.Я. Черных отмечает колебание **gh : g’h* [Черных 1994: 85], что дает возможность сблизить корни с палатальным и велярным **g*, например: **bhereg-* “brummen” и **bhereg’-* “glänzen”. В любом случае, с первого взгляда очевидна связь **bher-1* “tragen; erheben” и **bhereg’h-* “hoch; erhaben”, **bher-5* “glänzend, hellbraun” и **bherék’-* “glänzen” [Pokorny 1959: 128 – 145]. Подобную картину можно наблюдать в рефлексах и.-е. корня, обозначавшего мо-

локо: русск. *молоко*, гот. *milhna* «туча» (**melk-*); русск. *молозиво*, лат. *mulgeo* «дою» (**melg'-*); русск. диал. *замоложивать* «заволакиваться тучами» (**melg-*) [Черных 1994: 540].

Для решения этой проблемы необходимо обратиться к статусу гуттуральных в индоевропейском языке. По всем реконструкциям отмечается их крайняя нестабильность и вариативность. Так, вместо одного ряда, гуттуральные представлены тремя рядами: велярные, лабиальные и палатальные. Основоположник теории трех рядов Г. Асколи считал лабиальный и палатальный ряды вторичными. Ю.В. Откупщиков, рассмотревший историю вопроса, выдвинул гипотезу о параллельном развитии лабиальных и палатальных [Откупщиков 2001: 102, 123 – 24]. Развивая свою гипотезу, Ю.В. Откупщиков иллюстрирует ее примером очень древнего слова с неясной этимологией: **krmis* «червь», многочисленные рефлексy которого по отдельным индоевропейским языкам не сводятся к общему единому источнику, а допускают палатальный вариант **k'rmis* (лит. *kirmis*) и лабиальный **kwrms* (лат. *vermis* с незаконномерным начальным *v-* вместо *qu-*) [Откупщиков 2001: 123]. Для нас в этой полемике важно то, что, по свидетельству некоторых исследователей (Г. Асколи, О. Семереньи, Я. Сафаревича и др.), палатализация и лабиализация происходила под влиянием гласных переднего и непереднего ряда, или, по выражению Г. Асколи, «паразитических» полугласных **i*, **u* [там же : 102, 113]. Таким образом, проблема гуттуральных тесно переплетается с другой – проблемой индоевропейских **i*, **u*.

Данный вопрос подробнее изложен в монографии А.М. Газова-Гинзберга «Символизм прасемитской флексии», где автор, опираясь на работы О. Есперсена, Э. Сепира, С. Ньюмана и В. Вундта в области звуко-символизма, а также на собственный материал семитских и и.-е. языков, выдвигает гипотезу, согласно которой дополнительные гласные **i*, **u* и их консонантные варианты **j*, **w* представляют частный случай высокого и низкого тона [Газов-Гинзберг 1974: 31 – 39], причем они обладают универсальным символизмом, основанным на физических законах природы: «колебания больших тел создают низкий звук, колебания меньших тел – высокий звук. В частности, это

относится к голосам различных живых существ (в зависимости от длины голосовых связок и т.п., что связано с размерами тела): как правило, у больших существ голос ниже, у меньших – выше» [там же: 32].

Это явление характерно не только для вторичных формантов(**melg-*/**melg'*-), но и для корневых инициалей. Последнюю проблему подробно исследовал в своей диссертации О.Н. Сорокин, обративший внимание не только на родство корней с начальными гуттуральными лабиальными и палатальными, но и на возможность лабиализации заднеязычного в результате вокализации **u* в нулевой ступени аблаутного чередования: **gel-*/**gl-* (лат. *globus* «шар») >**gul-* (лат. *gula* «глотка») >**gwel-* (греч. ἡ δελφύς «матка») [Сорокин 1993: 98 – 107], что, кстати, наблюдается и в других случаях, например, греч. ἡ νύξ <**nkwt-*, при хетт. *nekut-* и русск. *ночь* [Топоров 2005: 174].

Проблема палатальности-лабиальности возвращает нас к первичной структуре корня CV и так называемой гипотезе о праславянских группонемах В.К. Журавлева, обобщившей теории «силлабемы» Е. Д.Поливанова, исследовавшего материал японского и китайского языков, «слог-фонемы» А. и Е. Драгуновых, исследовавших материал дунгарского языка, «слогозвука» Н.Ф. Яковлева в применении к абхазо-черкесским языкам и т.д. [Журавлев 2005: 53 – 63]. В общетеоретических рассуждениях о языках силлабемного типа В.К. Журавлев упоминает дизность и бемольность как признаки гласного и согласного внутри слога, влияющие, например, на формирование дифференциального признака «твердости-мягкости» у согласных и ряда у гласных [там же: 66 – 78]. Эта же проблема рассматривалась и Ю.С. Степановым в связи со сложными отношениями между фонемой и слогом [Степанов 1974: 96 – 106]. Трудность в разграничении формантов и корней с гуттуральными обусловлена синкретичностью древнего слога и основных фонологических признаков: ряда у гласных и лабиальности-палатальности у согласных. Палатальность интересна еще и тем, что в истории русского языка, например, воспроизводится раз за разом от эпохи к эпохе, обнаруживая определенную цикличность: Satəm-палатализация в позднем ин-

доевропейском праязыке и протославянском до VI в., первичная палатализация в праславянском и вторичная в древнерусском. Абсолютно аналогичная картина наблюдается в аблаутном чередовании системообразующих гласных: первая лабиализация **e / *o* в индоевропейском (русск. *нести / ноша*), вторая лабиализация в древнерусском (слав. *единь / русск. один*) и третья лабиализация в великорусском (*медь / мёд*). Заметим, что параллельно с этим шел процесс делабиализации гласных **-o-* и **-u-*, в результате которого гласные **a* и **o* совпали в среднем **a* [Журавлев 2005: 41 – 42; Маслова 2004: 154 – 163]. По мнению А. Мартине, этот процесс вызвал соответствующую лабиализацию согласных, проходившую параллельно палатализации заднеязычных [Журавлев 2005: 42]. Подобные зависимости, возможно, и определяют неустойчивость заднеязычного элемента в корнях и формантах, и, что особенно важно, в теории группофонем есть положение, согласно которому «группофонемы праславянского языка... следует признать особыми фонологически неразложимыми единицами, противопоставляющимися по признаку дизности целиком: '(CV)~(CV)» [Журавлев 2005: 72], что соответствует положению А.М.Газова-Гинзберга: «... имена уменьшительные, видимо, гораздо распространеннее увеличительных в мировом масштабе. Это следует связать с тем, что в природе чаще наблюдается «уменьшенная копия» (в органическом мире, где за норму берется взрослая особь), и поэтому уменьшительность в языке более необходима, чем увеличительность» [Газов-Гинзберг 1974: 35].

Таким образом, высокие и низкие тоны пронизывают всю фонологическую систему индоевропейских языков, модифицируя не только фонетический облик индоевропейского корня, но и его значение. Начинаясь как акустические характеристики дизности и бемольности, они «сгущаются» на суперсегментном уровне в акутовую и циркумфлексную интонации, «материализуясь» в сегменты системы вокализма (дополнительные **i*, **u* как самостоятельные гласные и как неслоговые компоненты дифтонгов) и дифференциальные признаки согласных (твёрдость-мягкость и палатализованность-лабиализованность в подсистеме гуттуральных).

Подобное предположение открывает новые горизонты для семантической реконструкции. Кроме того, взаимозависимость, слабая дифференцированность явлений в системе консонантизма и вокализма размывает четкие границы между пракорнями, вскрывая их формальное единство, определяемое нелинейными процессами, что позволяет выявлять новые формальные связи и способствует решению одной из главных задач этимологии – определению наибольшего числа генетически родственных слов.

ЛИТЕРАТУРА

Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М., 2004.

Газов-Гинзберг А.М. Символизм прасемитской флексии. М., 1974.

Журавлев В.К. Очерки по славянской компаративистике. М., 2005.

Красухин К.Г. Аспекты индоевропейской реконструкции. М., 2004.

Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии. М., 2004.

Откупщиков Ю.В. Ряды индоевропейских гуттуральных // Opera philologica minora. СПб., 2001.

Сорокин О.Н. Индоевропейские гуттуральные и их рефлексy в греческом и латинском. Томск, 1993.

Степанов Ю.С. О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции // ВЯ, 1974, №5.

Степанов Ю.С. Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон и др. К вопросу о «нестрогом» сравнительно-историческом методе // ВЯ, 1995, №5.

Топоров В.Н. Ночь и день: их противостояние и взаимная тяга // Hrdá mánašā: сборник статей к 70-летию со дня рождения проф. Л.Г. Герценберга. СПб., 2005.

Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. М., 2003.

СЛОВАРИ

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т.1. М., 1994.

Johannesson A. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1954.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, München, 1959.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В ЛИНГВИСТИКУ

В статье ставится проблема методологической эффективности взаимодействия языкознанием моделей других наук. Рассматриваются социально-отраслевые последствия интегрирования математической модели коммуникации К.Шеннона в лингвистику. Ставится вопрос, почему принципы одной системы, которая представляет и изучает дискретные явления, очевидно не совпадающие с естественным языком и по отношению к нему вторичные, переносятся на естественный язык. Намечены основные причины актуальности такого способа получения новых знаний и возможные ограничения при использовании метафорических моделей.

Тенденция к углублению междисциплинарных связей, интеграции научных дисциплин считается сегодня одним из отличительных признаков новой научной парадигмы. Между тем лингвистика эту тенденцию демонстрировала всегда вне зависимости от научно-политической моды. Тенденция же эта, в свою очередь, обуславливает пристальное внимание представителей гуманитарных наук к методологическому инструментарию, методам и моделям математики, физики, химии, биологии. Этому способствует и вполне объяснимое стремление ученых-гуманитариев сделать свои исследования более убедительными и весомыми (или более похожими на «образцовые» точные и естественные науки?). И хотя в истории языкознания известно немало более или менее успешных попыток применения «точных» методов при изучении языковых явлений, а также осознанного или неосознанного использования моделей других наук, тем не менее возникает вопрос о границах такого способа получения новых знаний, его методологической оправданности, поскольку, с одной стороны, это может открывать широкие возможности, а с другой – как это ни парадоксально, приводить к неточным результатам, провоцировать методологическую эклектичность.

В качестве примера приведем одну историю. Любому лингвисту хорошо знакома модель коммуникации, известная в нескольких версиях (Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана, Г.П. Грайса и других). Первой из них была модель Р.О. Якобсона, представленная в его работе «Clusing Statement: Linguistics and Poetics» в 1960 г. (на английском языке). Однако не принадлежит к общеизвестным тот факт, что двенадцатью годами раньше была опубликована работа К. Шеннона «The Mathematical Theory of Communication», в которой была представлена модель коммуникации, описывающая процесс передачи электрического сигнала в сетях электросвязи. Модели сходны в целом ряде существенных определяющих черт. Так, модель К. Шеннона включала следующие компоненты: источник – передатчик – канал – приемник – конечная цель. В ней также содержались важные идеи шума в процессе передачи сигнала (позже это начали связывать с понятиями энтропии и неэнтропии) и избыточности сигнала¹. Но, что для нас очень важно, – цели у этой теории были сугубо прагматичные: математически обосновать необходимость усиления сигналов для международной телефонной связи, увеличения номерной емкости для передачи большего количества звонков по одной линии и другие. Сам автор указывал: «Наше изложение будет ограничено случаем дискретной информации, где сообщение, которое должно быть зашифровано, состоит из последовательных дискретных символов, каждый из которых выбран из некоторого конечного множества...» [Шеннон 1963].

Р.О. Якобсон, известный широтой научного кругозора и умением видеть перспективные для филологии идеи там, где никому не пришло бы в голову их искать, по-видимому, заинтересовался работой Шеннона, оценил простоту и изящество его модели и лишь слегка адаптировал ее к целям филологического исследования². При этом, что естественно, он использовал не собственно математическую модель, которая выводится в работе

¹ Показательно, что физики часто демонстрируют понятие избыточности как средства предотвращения коммуникативных неудач как раз на примере естественных языков.

² Целый ряд источников независимо друг от друга указывают на факт интереса Р.О. Якобсона к этой работе.

Шеннона из предварительной схемы, а лишь эту предварительную схему, которая содержит только набор базовых понятий в условно-графическом отображении. (Другими словами, то, что мы называем моделью Шеннона, на самом деле было лишь подступами к ней.) Так или иначе, с легкой руки Р.О. Якобсона практически все базовые принципы и понятия теории Шеннона (код, сообщение, канал, шум и пр.) в почти неизменном виде перекочевали в лингвистику, и даже в такие ее весьма специфические области, как стилистика (ср.: [И.В. Арнольд 1988]). Модель Р.О. Якобсона телеологична, поскольку с каждым из ее компонентов связана определенная языковая функция: референционная, поэтическая, эмотивная, конативная, фатическая, металингвистическая. Однако, при всей своей революционности, модель эта содержит – с позиций современной науки – ряд недостатков, в частности неразличение смыслов говорящего и слушающего, отсутствие компонента цели [Селиванова 2004: 129], отсутствие положения об «общности коммуникативных средств и знаний коммуникантов» [Тарасов 1989: 23] и др. И все-таки именно она сыграла важнейшую роль в лингвистическом изучении языковой коммуникации.

Далее эта модель была дополнена принципом обратной связи, предложенным в одноименной работе Н. Винера, отца кибернетики, идеей наблюдателя, выдвинутой Н. Бором (интересно, что первоначально идея дополнительности описаний разных наблюдателей, их неантагонистичности была продемонстрирована Бором как раз на примере разнообразия языков мира). Все это было заимствовано из кибернетики, физики, теории информации...

В дальнейших исследованиях процесса речевой коммуникации компоненты модели Шеннона–Якобсона уточнялись, конкретизировались, дополнялись. Так, известная инференционная модель Г.П.Грайса включает говорящего S , высказывание x , которое является манифестацией его интенций трех типов: $i1$ – вызвать определенную реакцию r в аудитории A , $i2$ – сделать так, чтобы аудитория распознала его намерение $i1$, а также $i3$ – чтобы распознавание этого намерения явилось основанием

для определенной реакции аудитории. Наличие трех интенций является необходимым условием успешности коммуникации [Грайс 1985]. Преимуществом этой модели является включение в процесс коммуникации эмоций, отношений, настроений и т.п., то есть отсутствие ограничения содержания высказываний исключительно информационными сообщениями. Однако, по сути, модель Грайса является развитием кодовой модели Шеннона, поскольку новым в ней является то, что именно кодируется и декодируется.

Модель Ю.М. Лотмана, реконструируемая на основе его концепции, также представляет собой модификацию модели Шеннона–Яacobсона, идеально приспособленную для анализа художественных текстов. В ней различаются языки словесный и изобразительный, репрезентирующие два различных канала передачи информации в пространстве культуры. При этом каждый язык имеет индивидуальную вариативность (текст «Я» в сознании «ОН» не отражается зеркально), что создает условия для энтропийного баланса семиосферы и человечества [Лотман 1981]. В модели А.Е. Кибрика [о т п р а в и т е л ь (владеющий кодом) — сообщение (содержит мысль говорящего) — акустический сигнал — физическая среда — получатель (владеющий кодом)] [Кибрик 1987] основное внимание уделено кодированию и декодированию мысли. Макросинтагма коммуникации Э.Р. Атаяна построена на принципе наблюдателя. В определенном смысле она соотносима с моделью Ю.М. Лотмана, однако в ней доминирует синтагматика intersubъектных отношений «Я – ОН». В ее составе – участники, два предмета сообщения (для слушателя и для говорящего), факторы коммуникации, объект сообщения в языковой форме, его репрезентации в сознании адресата и адресанта, а также выражение адресата в предмете сообщения [Атаян 1981].

Список моделей коммуникации, наследующих модель Шеннона–Яacobсона и успешно развивающих ее, можно продолжать. Но возникает следующий вопрос. Почему же шенноновская теория – сама по себе весьма конкретная и частная – из далекой для лингвистики сферы электросвязи была практически без изменений

перенесена в языкознание¹? И какие же вопросы решила для себя лингвистика, интегрировав теорию коммуникации (информации)? Безусловно, этот подход оказался объективно полезным. Прежде всего инкорпорирование данной модели дало возможность отвлечься от сосюрковского «языка в себе и для себя» (скажем точнее, от довольно однобокой интерпретации идей Ф. де Соссюра), увидеть в языке говорящую личность, включенного наблюдателя, поставить новые вопросы о механизмах конструирования действительности в речи, мотивах выбора средств в разных коммуникативных ситуациях, взаимообусловленности компонентов речевой коммуникации и т.д. Понятия и категории, предложенные Шенноном, позволили увидеть общее в очень разных явлениях, описать их в единой системе понятий и терминов. Немаловажно и то, что лингвистика приблизилась – по своей практической значимости и точности научного аппарата – к естественным наукам и существенно укрепила свой статус. Вполне возможно, что без интеграции модели Шеннона современная лингвистика имела бы менее привлекательный вид в общей системе наук.

Однако, несмотря на такую очевидную полезность для развития лингвистических изысканий, теория коммуникации Шеннона была предназначена для оптимизации передачи дискретных электрических сигналов – явлений, очевидно не совпадающих с естественным языком и по отношению к нему вторичных. Не должно ли тут быть каких-то ограничений и оговорок? Опас-

¹ Теория коммуникации Шеннона проникла и во множество других областей – в семиотику, психолингвистику, социологию, антропологию – и также завоевала в них господствующие позиции; и шире – она оказалась концепцией, способной объединить естественные науки (например, ДНК рассматривается как код генетической информации, мозг – как информационный процессор и т.д.), искусство (эстетический семиозис как коммуникативный процесс), социальные науки (коммуникация как базовый социальный процесс). В терминах теории информации определяют себя сегодня компьютерные науки, электротехника, статистика, библиотековедение, психолингвистика, менеджмент, экономика, журналистика, исследования массовых коммуникаций, когнитология и т.д. По мысли американского исследователя коммуникации Д.Д. Питерса, информация и коммуникация стали стимулом для мечты про унифицированную науку, какими в свое время были геометрия, дарвинизм, термодинамика, математическая физика и статистика: «Каждая из них обещала объединить все человеческое знание» [Peters 1999: 34].

ность универсализации теории информации сформулировал еще в 1956 г. сам автор в статье «Бандвагон»: «Очень редко удается открыть одновременно несколько тайн природы одним и тем же ключом. Здание нашего несколько искусственно созданного благополучия слишком легко может рухнуть, как только в один прекрасный день окажется, что при помощи нескольких магических слов, таких, как *информация, энтропия, избыточность...*, нельзя решить всех нерешенных проблем» [Шеннон 1963: 667].

Конечно, в современной лингвистической науке разработаны и другие – нелинейные диалогические – модели коммуникации, основанные на работах М.М. Бахтина, во многом опередившего свое время идеями об адресованности высказывания и хронотопе (приобретение смысла происходит только в контексте времени и пространства), Ю. Кристевой, подхватившей идеи Бахтина и предложившей понятие интертекстуальности, У. Матураны, подвергнувшего сомнению сам термин «передача информации» (поскольку в реальном языковом общении в буквальном смысле никому ничего не передается) и сформулировавшего теорию консенсуального взаимодействия самоорганизующихся систем, и пр. Однако анализ статей в лингвистических словарях (см., например: [Encyklopedia 2003; Płóciennik, Podlawska 2007; Селиванова 2006; Штерн 1998; Ярцева 1990] с очевидностью демонстрирует: именно модель Шеннона на сегодняшний день остается базовой и, несмотря на все оговорки про ее «техничность», «несовершенство», «неприспособленность к живой вербальной коммуникации», «статичность», именно на ней – с различными уточнениями и дополнениями – основана наиболее популярная интерпретация коммуникативного процесса. Иными словами, если использовать понятие парадигмы в интерпретации Куна, именно парадигма, восходящая к модели Шеннона, на сегодня является доминирующей, так как именно она используется в вузовских курсах и фигурирует в статьях лингвистических словарей.

Исходя из этого, логично предположить, что она доминирует и в сознании современного образованного человека. Мы проверили это предположение, проведя небольшой эксперимент в двух группах студентов-старшекурсников лингвистического факуль-

тета и факультета компьютерных технологий. В опроснике было задание: выбрать наиболее понятную, точную модель коммуникации из 6 предложенных – Шеннона, Якобсона, Ньюкомба, Лассвела, Лотмана и модель семиозиса Бюлера (последняя была привлечена в провокативных целях). И если выбор студентов-компьютерщиков был оправдан как минимум спецификой их технического образования (75% опрошенных выбрали модель Шеннона, 20% – Лассвела, оставшиеся 5% – модели Якобсона и Бюлера), то ответы студентов-лингвистов должны были бы восприниматься как неожиданные: 15% выбрали модель Ньюкомба, 15% – Лассвела, 20% – модель Якобсона и более 50% респондентов отдали предпочтение модели Шеннона. Вывод очевиден.

Приведенный пример экстраполяции модели, конечно же, далеко не единственный. Часто – и не всегда осознанно – познавательные модели заимствуются из логики, что, учитывая связь языка с процессами мышления, совершенно не удивительно. Позволим себе напомнить только наиболее известные факты: термин «части речи» был заимствован стоиками из логики, для определения структуры предложения античная грамматика позаимствовала модель структуры суждения *субъект—предикат*, из логики же был заимствован принцип антиномий для системного представления языковых категорий (прежде всего у Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона, Л. Ельмслева). Безусловно, параллель с логикой изначально служила мощным стимулом для развития языкознания, однако в определенный момент превращалась в тормоз, в частности, для развития синтаксической теории. Логика же стала источником познавательных моделей – опосредованно, через рационализм Декарта – для грамматики К. Лансло и А. Арно (Грамматики Пор-Ройяля), «Пространной немецкой грамматики» К.Ф. Беккера (1836 г.) и «Исторической грамматики русского языка» Ф.И. Буслаева (1858 г.). Однако главный тезис Декарта – о принципиально рациональном (разумном) устройстве мира и, следовательно, о его познаваемости – имеет и значительно большее влияние на моделирование языка, поскольку он же лежит в основе повсеместно распространенной аналогии «язык – (разумно устроенный) механизм» – аналогии, против которой столь энергично выступает, например, Б.М. Гаспаров.

Список подобных фактов в истории лингвистики можно продолжать, но в данном случае это не является нашей целью. Приведенные примеры лишь подтверждают допущение об актуальности такого способа получения новых знаний для лингвистики. Это может объясняться, по меньшей мере, тремя разными причинами:

– **онтологической**: объект языкознания слишком текуч и неохватен, поэтому для его изучения привлекаются модели, апеллирующие к более материальным, определенным, «ощутимым» объектам; кроме того, языкознание – единственная наука, в которой объект исследования и его инструмент совпадают, и, возможно, поэтому оно так стремится выйти за свои пределы;

– **прагматической**: лингвистика стремится занять более привлекательное место в системе наук;

– **исторической**: лингвистика выросла из античной философии, риторики и логики, отделившись от них, но сохранив заимствованные модели и термины.

В общем случае выглядит достаточно убедительной следующая аргументация правомерности использования моделей других наук в языкознании: любые модели, независимо от дисциплины, в рамках которой они создаются, строятся по одним логическим принципам – принципам устройства человеческого сознания, – и поэтому человек не может придумать ничего, что противоречило бы этой системе [Прохоров 1999].

Однако объекты изучения в областях, с одной стороны, теории связи, биологии и др. и, с другой стороны, в области лингвистики принадлежат к существенно разным типам. В первом случае (теория электросвязи) мы имеем дело с артефактом, во втором (биология) – с естественным феноменом, а в третьем – с так называемым феноменом третьего вида, представляющим собой ненамеренное следствие множественных намеренных индивидуальных действий (ср. теорию «невидимой руки» А. Смита, Р. Ноцика и ее приложение к языку в работе [Келлер 1997]). Уместно процитировать известную мысль В.Б. Шкловского: «Самое опасное мышление – мышление по аналогии. По аналогии вода от охлаждения сжимается». Насколько оправданным является применение моделей, которые хорошо «работают» в отношении двух первых объектов,

к изучению объектов третьего типа? Ведь очевидно, что выбор методов, а также базовой модели объекта анализа в рамках господствующей научной парадигмы в значительной, если не в определяющей, степени формирует собственно предмет исследования.

Известно также, что метафоричность, позволяющая объяснять неизвестное через известное, несет с собой и неизбежные аберрации, иногда сильно смещающие фокус исследования. Но даже если отвлечься от метафоричности и сосредоточить внимание только на одной из популярных моделей, то нельзя не видеть, сколь отлично представление о языке, заложенное в эту модель ее создателем, от того представления, которое декларирует сегодняшняя лингвистика. К. Шеннон писал: «В теории связи считается, что язык может рассматриваться как некоторый вероятностный процесс, который создает дискретную последовательность символов в соответствии с некоторой системой вероятностей» [Шеннон 1963: 334]. Вряд ли есть необходимость подчеркивать то, что у Шеннона в представлении о языке признак континуальности не входит.

В таком случае возникает вопрос: ЧТО именно, КАКОЙ язык исследует сегодняшняя лингвистика?

ЛИТЕРАТУРА

- Арнольд И.В.** Стилистика современного английского языка. М., 1988.
- Атаян Э.Р.** Коммуникация и раскрытие способностей языкового сознания. Ереван, 1981.
- Бюлер К.** Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 2000.
- Грайс Г.П.** Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985.
- Иванов Вяч. Вс.** Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М., 2004.
- Келлер Р.** Языковые изменения. О невидимой руке в языке. Самара, 1997.
- Кибрик А.Е.** Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
- Колмогоров А.Н.** Теория информации и теория алгоритмов. М., 1987.
- Лингвистический энциклопедический словарь.** М., 1990.
- Лотман Ю.М.** Текст в тексте // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 567. Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981.

Прохоров Ю.Е. Коммуникативное пространство языковой личности в национально-культурном аспекте // Язык. Сознание. Коммуникация. Вып. 8. М., 1999.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Киев, 2004.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006.

Сусов И.П. Семиотика и лингвистическая прагматика // Язык, дискурс и личность. Тверь, 1990.

Тарасов Е.Ф. Общение. Текст. Высказывание. Москва, 1989.

Шеннон К.Е. Теория связи в секретных системах // Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963.

Шеннон К.Е. Бандвагон // Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963.

Штерн И.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Киев, 1998.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 2003.

Jakobson R. Clusing Statement: Linguistics and Poetics // Style in Language. Cambridge, 1960.

Peters J.D. Speaking into the Air: A History of the Idea of Communication. Chicago, 1999.

Plóciennik I., Podlawska D. Słownik wiedzy o języku. Bielsko-Biała, 2007.
Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949.

УДК 81

*А.А. Чернобров
Новосибирск*

ЭССЕНЦИАЛИСТСКАЯ И НОМИНАЛИСТСКАЯ ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

В статье рассматриваются различные трактовки понятия «парадигма» в лингвистике и естествознании. Смена парадигм в лингвистике отчасти происходит «в подражание» естествознанию и философии. При этом более современная парадигма не означает более верная – парадигмы практически равноправны. Раскрывается суть двух важных парадигм в философии языка: номинализм и эссенциализм.

О парадигмах и смене научных парадигм в естествознании и гуманитарных дисциплинах написано очень много. При этом авторы зачастую употребляют термин парадигма в совершенно различных смыслах. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к теме, заявленной в заголовке, необходимо кратко разъяснить и сопоставить основные значения этого термина.

Известно, что само слово «парадигма» (от греч. *παράδειγμα* – «пример, модель, образец») первоначально употреблялось в грамматике и риторике. Согласно Словарю Брокгауза и Эфрона, парадигма «в грамматике – слово, служащее образцом склонения или спряжения; в риторике – пример, взятый из истории и приведенный с целью сравнения»¹. Со времен Ф. де Соссюра парадигмой стали называть не слово-образец, а формальную модель. Соссюр настаивал, что формальные отношения между знаками важнее их значения. Это и составило основной тезис структурализма в лингвистике.

Следующим шагом в расширении понятия парадигмы стало ее понимание вообще как модели. Философы описывают парадигму как познавательную модель. Википедия дает следующее определение: «Парадигма – универсальный метод принятия эволюционных решений, гносеологическая модель эволюционной деятельности». Это определение очень симптоматично. Во-первых, оно предполагает, что парадигма – это деятельность. Во-вторых, согласно такой трактовке, парадигма навязывает нам определенные решения, в-третьих, парадигма предполагает эволюционный характер, то есть развитие от низшего к высшему. Отсюда следует, что, хотя парадигмы и могут сосуществовать синхронно, одна из них является «высшей», другие же – «низшими», если и не устаревшими, то ограниченными.

Можно выдвинуть возражения по нескольким пунктам этого определения: во-первых, слово *деятельность* применимо к познающему субъекту, но не ко всем познаваемым объектам. Парадигма не всегда алгоритм деятельности, она может быть и статической моделью. Вообще, понятие деятельности превратилось в подобие фетиша в некоторых течениях философии и психологии. В реальности *деятельность* – почти такое же логически

¹ <http://www.vehi.net/brokgauz/index.html>

бесплезное понятие, как *существование*. Оно охватывает собой все, а следовательно – ничего. Во-вторых, парадигма – не жесткая структура, исключая определенные решения и предопределяющая другие. Парадигма – это предрасположение, облегчающее одно решение или объяснение и затрудняющее другое. Решения могут быть навязаны исследователю двумя путями – господствующей властью или психологическими стереотипами. Стереотипы могут быть социальными или индивидуальными. Крупные ученые часто не согласны с властью, опережают эпоху и противостоят расхожим мнениям. Гораздо труднее ученому избавиться от собственных психологических стереотипов. Именно индивидуально-психологический тип представляется нам определяющим при выборе парадигмы.

Наконец, парадигмы не всегда революционным или эволюционным образом сменяют друг друга. Зачастую они существуют параллельно, при этом одна из парадигм доминирует. Факторами, влияющими на становление той или иной теории, могут быть корпоративные интересы, мода, конъюнктура, «харизма» научного лидера и т.п. Примером такой моды в философии может служить всеобщее увлечение синергетикой. В последнее время в сети Интернет появилось много иронических откликов на это увлечение. Оно напоминает критикам засилье исторического материализма в советскую эпоху. Другой пример – теории о «пост-неклассической» парадигме в философии. Многие современные учебники и экзаменационные билеты по философии заполнены именно такими теориями. На наш взгляд, главными парадигмами в философии, существующими параллельно, являются реализм и номинализм. Эти две парадигмы соответствуют двум главным психологическим типам, которые К. Юнг называл интраверсией и экстраверсией.

Возможны ли на самом деле научные революции? Часто приводимый пример – это смена парадигм в физике. Ньютонская парадигма сменилась эйнштейновской, та в свою очередь – квантовой механикой, которую Эйнштейн не понял и до конца жизни считал заблуждением. Следующей парадигмой могла бы стать некая физическая гипотеза, которую иронически называют «всеобщей теорией всего». Проблема в том, что основные положения

таких теорий находятся за пределами опровержимости / доказуемости. Все теории, которые, по терминологии К. Поппера, не фальсифицируются, отдаются на откуп мистикам или спекулятивным философам. Мистики говорят, что следующей парадигмой должно быть проникновение в тайны «тонкого мира». Спекулятивные философы создают теории, подобные синергетике или «пост-неклассике».

Лингвисты вслед за философами взяли на вооружение понятие парадигмы. Но если в физике обращение к этой категории было вынужденным – философы пытались преодолеть кризис в физике, – то лингвисты заговорили о парадигмах, скорее, из желания подражать точным наукам. Первый пример такого подражания – гипотеза Сепира-Уорфа – была названа «гипотезой лингвистической относительности». Откуда такое название? Согласно теории относительности, масса-энергия детерминирует характер пространства. Чем больше масса, тем более неевклидовым становится пространство. Согласно Уорфу, тип языка детерминирует мышление, мышление якобы искривляется как неевклидово пространство. Но если у Эйнштейна теория описана системой точных математических уравнений, то у Уорфа это только вечная гипотеза, основанная на очень неполной и даже грубой аналогии.

Можно сказать, что сам Уорф сформулировал свою гипотезу в сильной форме. Сильная форма гипотезы вызывает скепсис у большинства ученых. Она обсуждается в слабой форме, например, Д. Слобиным [Слобин, Грин 1976: 198 – 215]. «Слабый вариант просто утверждает, что некоторые аспекты языка могут располагать к выбору человеком определенного способа мышления или поведения, но этот детерминизм не является жестким, мы не находимся полностью в плену у своего языка» [там же: 200]. Тот же Д. Слобин приводит интересное высказывание Ч. Хоккета: «Языки различаются не столько своей возможностью что-то выразить, сколько той относительной легкостью, с которой это может быть выражено. История западной логики и науки – это не история ученых, ослепленных или введенных в заблуждение специфической природой своего языка, а скорее история долгой и успешной борьбы с теми изначальными ограничениями, которые накладыва-

ет язык» [там же: 211]. Эта мысль перекликается с идеями Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа о том, что многие философские проблемы являются квазипроблемами, порожденными особенностями естественного языка, поэтому задачей философии и логики является лингвистический анализ и создание формальных языков науки. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что зависимость мышления от языка не является жесткой, она может быть преодолена.

Гипотезу Сепира-Уорфа иногда называют принципом дополнительности в лингвистике. Принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором в квантовой механике, состоит в том, что нельзя одновременно определить импульс (количество движения) данной частицы и ее положение в пространстве-времени. Таким образом, дополнительными в квантовой механике являются пространственно-временная и энергетически-импульсная картины. Этот же принцип якобы приложим к лингвистике: картины мира, описанные на разных языках, являются дополнительными, то есть элементы из одной системы описания неприменимы в другой системе. Имеет ли обсуждаемая проблематика какое-либо отношение к принципу дополнительности Бора? Даже если считать, что между физикой и лингвистикой есть что-то общее, это можно обсуждать на уровне метафоры, не говоря о какой-либо аналогии или изоморфизме (подобии). Метафора – один из важнейших компонентов языка, более того, ни один язык не был бы возможен без нее. Метафора – это также один из ключевых познавательных механизмов человека, она помогает осознать и усвоить сложные понятия и их связи. Однако не следует смешивать метафору как уподобление и истинное подобие. Принятие метафоры за изоморфизм может привести к глубоким заблуждениям.

Лингвисты заметили и такой парадокс: ни один реальный объект не отвечает в полной мере тем свойствам, которые заданы обозначающим его словом, поэтому возможно одно из двух: либо определение точного значения слова (например, “стул”), либо правильная референция (указание) на конкретный стул. Все же между языком и квантовой механикой меньше общего, чем это казалось некоторым публицистам, прочитавшим научно-популярные книги о теориях Н. Бора и В. Гейзенберга. Действи-

тельно, в научном языке в рамках данной теории необходимо точное определение значения каждого термина. При этом, как правило, эти термины не указывают на эмпирические объекты, они и не предназначены для этого. Напротив, в обыденном языке знаки служат для коммуникации, а не для точных дефиниций. Здесь для выявления семантической структуры часто достаточно процедуры компонентного анализа семантического поля родственных слов. Полученное номинальное определение вполне пригодно для коммуникации. Большой глубины или точности для общения не требуется. Здесь речь идет не о «дополнительности», «относительности» или «неопределенности». Х. Патнэм назвал это «разделением лингвистического труда» [Патнэм 1998].

На наш взгляд, одна из главных причин споров и недоразумений в трактовке значения слова – неосознанное смешение двух точек зрения: номинальной и реальной. Именно здесь мы выходим на то, что можно было бы назвать парадигмальными различиями. Парадигма – это не просто «универсальный метод принятия эволюционных решений, гносеологическая модель». Это не просто совокупность презумпций, а совокупность априорных недоказуемых предпосылок. Эти предпосылки носят философский характер. Одним из главных водоразделов в философии является идущее от средних веков различие между реалистами и номиналистами. Реализм (эссенциализм) утверждает, что слова отражают сущность вещей. Номинализм утверждает, что значение слова, в конечном счете, произвол говорящего.

Наиболее последовательными сторонниками противоположных взглядов на значение слова были номиналист Локк и реалист Лейбниц [Локк 1985; Лейбниц 1983]. Лейбниц утверждал, что слово связано со всеми признаками вещи, «не только теми, которые мы знаем, но и теми, которые мы не знаем». Эту трактовку можно назвать экстенциональной¹. Действительно, слово «Луна»

¹ Интенционал (лингв., лог.) – содержание понятия, необходимые и достаточные признаки, задающие то или иное понятие. Эти признаки представлены в виде жесткой, закрытой структуры. (ср.: Экстенционал). Экстенционал (лингв., лог.) – объем понятия, предметная область, описываемая данным понятием. Экстенциональный (лог.) – относящийся к эмпирическому объекту, а не к его описанию или понятию о нем.

каким-то образом всегда было связано с самой Луной, независимо от того, как менялись и будут меняться наши знания о ней. Локк, напротив, говорил, что знак не может быть связан со свойствами, неизвестными говорящему. Слово связано только с теми признаками, «до которых нам больше всего дела».

Мы больше склоняемся к линии, подчеркивающей произвольность знака. Эта линия выделяет преимущественно конвенциональный характер имен обыденного языка. Сопоставительный анализ концептуальных картин различных языков, ментальных, концептуальных реалий различных культур укрепляет в этом мнении. Примеры из разных языков показывают, что определяющим свойством предмета служит характерный признак, «до которого нам больше всего дела». Выбор такого признака часто произволен. Переименование вещи часто обусловлено культурными стереотипами коллективного сознания.

Различия между реализмом и номинализмом в подходе к значению слова – яркий пример разницы методологических основ теории языка. Особенность философских предпосылок состоит в том, что они недоказуемы, поэтому победа в философском споре определяется не столько тем, кто ближе к истине, а, скорее, интеллектуальной силой спорящих сторон. Еще один пример философской предпосылки – материализм, то есть вера в то, что значения слов определяются реальным миром вне нас. Материализм не вытекает с необходимостью из реализма (эссенциализма), но логически совмещается с ним. Российский психолингвист А.А. Залевская пишет: «...в настоящее время не имеется ни фундаментальной теории, ни непротиворечивой классификации всех известных типов и видов признаков». И далее: «Это определяется тем фактом, что за признаком стоит вещь, от которой он отвлечен» [Залевская 1992: 101]. Вот квинтэссенция философского взгляда, исходящего из материалистического допущения. Философы называют это именно допущением, так как оно недоказуемо в принципе, как недоказуемо и обратное. Подобные философские постулаты обязательно лежат в основе любой теории языка. Выбор ответа на базовые философские вопросы до какой-то степени произволен.

Противоположная точка зрения гласит, что реальность объекта не имеет значения для языка. Как говорил И. Кант, «тысяча реальных талеров в моем кармане имеет точно те же признаки, что и тысяча воображаемых талеров» [Кант 1991]. Язык отражает сознание, а не реальность. Яснее всего эта субъективность проявляется в сопоставлении национально-культурных особенностей конкретных языков.

Ю.А. Сенкевич рассказывал в телепередаче «Клуб путешественников» о своем пребывании в одном из первобытных африканских племен. Он спрашивал аборигенов, как называется тот или иной плод или растение и часто получал ответ: «Никак, мы этого не едим». Показательно, что для многих несъедобных плодов в этом языке не было отдельных слов, язык не образовал отдельных понятий для субъективно малозначимых предметов.

Другой аспект субъективности значения слова – ассоциации, связанные с одним и тем же понятием в разных языках. Иногда эти ассоциации имеют объективное объяснение, иногда – нет. Немецкий переводчик А. Нойберт приводит такой пример: XVIII сонет Шекспира начинается строкой: «Сравнить тебя я мог бы с летним днем» (Shall I compare thee to a summer's day). При переводе этой строки на арабский язык слово *летний* пришлось заменить на *весенний*: лето не вызывает у арабов тех же положительных ассоциаций, что у англичан [Швейцер 1973]. Некоторые ассоциации совершенно субъективны. В европейских культурах цвет траура черный, в китайской – белый. Можно выдвинуть гипотезу, что белый цвет для китайцев – символ бледного лица смерти.

Кроме методологического антропоцентризма в теории значения, здесь наблюдается другая важная антитеза в изучении языка – семантика и/или прагматика.

Л. Витгенштейн высказал мысль, ставшую знаменитым афоризмом: «Значение есть употребление» [Витгенштейн 1994]. На современном лингвистическом языке смысл этой фразы можно истолковать так: главная функция языкового знака находится не в семантической, а в прагматической плоскости. Говоря более простым языком, контекст употребления слова важнее его словарного значения. Функция языка не столько в том, чтобы точ-

но представлять (репрезентировать) сущности реального мира, сколько в том, чтобы вызывать у собеседника «мысли, сходные с моими» (Дж. Локк) и побуждать его к действиям, желательным для автора сообщения. Замена прилагательного *летний* при переводе сонета Шекспира – это крайний случай, когда точностью перевода пришлось пожертвовать ради главной, прагматической, цели – вызвать у адресата нужные ассоциации. Все сказанное, безусловно, следует учитывать и при обучении языку.

Итак, важные методологические постулаты на семиотическом уровне можно сформулировать таким образом:

- Язык отражает сознание, а не реальность.
- Семантика каждого языка национально специфична. Концептуальная схема каждого языка выделяет характерные признаки предметов, важные для данного социума.
- Прагматический, коммуникативный аспект языка важнее его отражательной роли.

Таким образом, мы увидели элементы трех «парадигм»: психоцентрической, культуроцентрической и прагматоцентрической. Если угодно, можно назвать все это элементами одной антропоцентрической парадигмы.

В.А. Маслова пишет: «Традиционно выделяются три научные парадигмы – сравнительно-историческая, системно-структурная и, наконец, антропоцентрическая» [Маслова 2001: 5]. Можно спорить, насколько традиционна данная трактовка. Е. С. Кубрякова, например, называет третью парадигму когнитивной, выделяя антропоцентризм как одну из особенностей «когнитивной науки» [Кубрякова 1994]. Структурализм в такой трактовке объявляется ушедшим в прошлое со ссылкой на такие авторитеты, как Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида и Умберто Эко [Угланова 2006]. Я уверен, что все упомянутые выше «парадигмы», или «исследовательские программы» в терминологии И. Лакатоса, могут быть вполне эффективными в зависимости от задач исследования. Нужно сказать, что В.З. Демьянков относится к термину «когнитивная парадигма» с некоторой иронией. Он говорит, что один и тот же автор может принадлежать одновременно к нескольким парадигмам и ее выбор может диктоваться «стилистическим совпа-

дением» и личными симпатиями авторов [Демьянков 2009]. Возможно, «настоящими» парадигмами можно назвать философские построения, философские презумпции. Все перечисленные выше теории языка исходят из некоторого количества недоказуемых философских предпосылок, которые детерминированы только типом мышления автора данной теории.

В истории философии мы довольно отчетливо различаем две линии: эссенциалистскую и номиналистскую. Это различие – один из главных вопросов философии. По мнению Джеймса и Юнга, он является едва ли не основным, потому что напрямую связывает мировоззрение с типом темперамента. Современные психологи употребляют термин «темперамент» в более строгом смысле, чем это делал Джеймс. В данном случае, возможно, более уместен термин «тип личности» или, если говорить еще осторожнее, «тип мышления». Вопрос о статусе языка и мышления решается по-разному, в зависимости от эссенциалистского или номиналистского взгляда мыслителя. С другой стороны, это различие мировоззрений порождает два разных взгляда на материальный и духовный аспекты культуры и их отражение в языке.

Философия, которая, согласно Джеймсу, обусловлена психологией, выражает себя в языке через парадигму языка. Культура и психология также отражаются в вербальных, синтаксических и других формах языка. Мыслители, осознанно или неосознанно, строили цепочку недоказуемых предпосылок, которые служили базой их теорий языка. Мы попытаемся сформулировать эти предпосылки.

Первая, эссенциалистская, линия исходит из следующих положений.

1. Знания, в том числе языковые, даются человеку а priori, до опыта.

2. Язык первичен по отношению к мышлению, он детерминирует мышление.

3. Язык отражает присущую вещам сущность, мы познаем эту сущность через язык.

4. Общие понятия не могут образовываться произвольно, они отражают общее в самих вещах.

5. Единичное менее важно, чем всеобщее.

6. Местоположение, «локус» истины находится в словепонятии. Истина непреходяща. Даже если вещи изменяются, высший разум заключает в себе истину, и в этом смысле истина вечна. Она может быть дана человеку через откровение¹. Истина не постигается при помощи опыта. Ключ к ее постижению есть слово.

Второе, противоположное, течение выдвигает другие постулаты.

1. Знания приобретаются из опыта, а *posteriori*.

2. Мышление может преодолеть зависимость от языка.

3. Конечная сущность вещей непознаваема. Язык связан с представлениями ассоциативно.

4. Общие понятия произвольны и образуются по договору.

5. Единичное первично, понятие об общем складывается из единичных фактов.

6. Истина есть логическое значение высказываний².

Как видим, постулаты (1) и (6) в обеих парадигмах относятся к противопоставлению рационализма и эмпиризма. Все же эти предпосылки тесно связаны. Ниже мы покажем, что одна из двух исходных посылок более или менее жестко подразумевает целый ряд других.

Первая, эссенциалистская, линия идет от Платона и таких его предшественников, как Парменид и Гераклит. В отечественных учебниках и словарях по философии «номинализм» и «реализм» считали двумя точками зрения в средневековом «споре об универсалиях», то есть общих понятиях. Логические позитивисты и некоторые другие философы, в особенности К. Поппер, считают, что эссенциализм и номинализм гораздо старше средних веков. Платон говорил, что небесная идея есть прототип всех вещей, единичное – лишь тень этой идеи, идеальная сущность есть реальность, а единичные вещи – лишь отображение реальности, «тени на стенах пещеры». Тем самым Платон уже сформулировал

¹ Для некоторых теологических школ, например католической томистской мысли характерно стремление примирить откровение и разум. Истинная вера не только не противоречит разуму, но и постижима при помощи разума.

² Все философские положения для простоты взяты в крайней форме. Существуют промежуточные концепции.

основной тезис эссенциализма: сущность – это то, что должны искать философы. Познание сущности первично по отношению к познанию явления.

Гераклит еще более «сущностный» философ, чем Платон. Он (Гераклит) говорит, что истинная суть вещей может быть познана через язык, через слово. По его выражению, слово есть «седалище знаний», слово есть не только выражение истины, но и ключ к ней. Мистики и герменевтики позднее утверждали, что одно лишь толкование священных текстов даст ключ к истине.

Очень примечательно, что Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в своем очерке «Из истории концепции слова какместилища знаний» [Верещагин, Костомаров 1980, 267 – 288] все время апеллируют к этой эссенциалистской концепции и ее наиболее ярким представителям: Платону, Филону, Плотину, Ф.Д.Э. Шлейермахеру, В. Дельтею, М. Хайдеггеру, Х.Г. Гадамеру. В этот ряд можно поставить и А.Ф. Лосева.

Вторая, эмпирическая, линия, пожалуй, идет от греческих атомистов, зачатки номинализма мы находим у стоиков, наиболее яркий номиналист средних веков – В. Оккам, виднейшие представители эмпиризма: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, Дж.С. Милль, Б. Рассел, Р. Карнап и др. более или менее явно придерживались номиналистских взглядов. Естественно, что номиналисты больше интересуются именами. Эссенциализм есть философия сущности; номинализм – философия именованья.

Эта мысль впервые была сформулирована основоположником философии прагматизма Уильямом Джемсом (Джеймсом), а затем развита К.Г. Юнгом [Юнг 1995]. Указанная книга послужила основой популярной в последнее время теории соционики. Можно спорить с конкретикой психологической типологии Юнга или с соционикой. Однако сама мысль Джемса кажется совершенно верной. Выбор той или иной философской теории обусловлен не ее преимуществом (поскольку это недоказуемо), а темпераментом философа.

Ю.С. Степанов создал теорию о трех парадигмах философии языка, положив в ее основу триаду Пирса и Морриса: «семантика – синтактика – прагматика» (дейктика) [Степанов 1985]. Он

утверждал, что наука попеременно стремится к каждой из этих трех парадигм, а затем, пройдя полный виток спирали, возвращается к первой исходной парадигме на новом уровне познания. Нам кажется, что дело не столько в триаде Пирса, сколько в дихотомии Джеймса – Юнга: эссенциализм – эмпиризм, экстраверсия – интраверсия. Развитие философских теорий языка можно представить не в виде спирали, а в виде маятника, раскачивающегося между крайним эмпиризмом, чаще всего номиналистическим, и крайним эссенциализмом. До конца 60-х годов XX в. доминировала эмпирическая парадигма в философии, последним ярким представителем которой был Р. Карнап. За последние 40 лет после заката неопозитивизма наблюдается явная тенденция возрождения эссенциализма. Особенно это заметно в последние годы в России. Вновь стали модными мистические, иррациональные теории имен. Ю.С. Степанов предлагает остановить этот маятник в средней точке. Нам представляется, что более приемлем номиналистический подход. В.Б. Касевич считает, что существует две картины мира – научная и мифологическая: «первая стремится к полноте, вторая к целостности» [Касевич 1996]. Безусловно, целостность, охват всех возможных вопросов мироздания – одна из самых соблазнительных особенностей мифологического мышления. «В действительности человек хочет не знаний, а определенности», – сказал как-то Б. Рассел. Общим для той и другой парадигмы является одно – единообразие объяснения, методологический монизм. В силу объема настоящей статьи мы не будем подробнее говорить о нашей теории и повторять написанное ранее, а только отошлем читателя к уже опубликованным работам.

Научные изыскания имеют два ограничения – пределы опыта и разума. Кроме чисто эмпирических трудностей, исследователь испытывает давление некоей мировоззренческой схемы, в рамках которой он создает ту или иную теорию. Зачастую это давление оказывается сильнее, чем любые объективные факторы. Мировоззренческое, парадигматическое обоснование теорий языка и есть синтез лингвистики и философии.

Однако мировоззрение имеет не только социальные, но и индивидуально-личностные корни. Типология теорий языка

парадоксальным, на первый взгляд, образом пересекается с психологической типологией личности.

Читателю предоставляется возможность решить, какие теории языка являются «настоящими» парадигмами, а какие нет и так ли необходимы постоянные апелляции к парадигмальной принадлежности этих теорий.

ЛИТЕРАТУРА

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.

Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сб. в честь Е.С. Кубряковой. М., 2009.

Залевская А.А. Индивидуальное знание. Специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.

Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб., 1996.

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.

Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1983.

Локк Дж. Опыты о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. Т.1. М., 1985.

Маслова В.А. Лингвокультурология. 2001.

Патнэм Х. Философия сознания М., 1998.

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976.

Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.

Угланова И.А. Существует ли мейнстрим в современной лингвистике? // Филологические заметки: Пермь; Скопье; Любляна, 2006. Вып. 4: в 2 ч. Ч.1.

Чернобов А.А. Лингвокультурология – основа интегрального гуманитарного знания. Новосибирск, 2006.

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973.

Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1995.

КОММУНИКАТИВНОСТЬ КАК КОНТИНУАЛЬНО-ДИСКРЕТНАЯ КАТЕГОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

В работе предлагается типология высказываний, в основу которой положен способ реализации качества коммуникативности, интерпретируемого как неотъемлемый признак любого высказывания. Категория коммуникативности предстает при этом как совмещающая признаки континуальности и дискретности.

Нынче не в моде обращение к законам диалектики. Хотя она ничем себя не скомпрометировала и вполне равнодушна к нашему к ней отношению. Рассматривая любую пару противоположных понятий, мы можем в конце концов прийти к выводу об их взаимообусловленности и неразрывном единстве. Например, рассуждая о лакуарности, нетрудно прийти к тому, что она есть не что иное, как истинное лицо целостности и полноты (во всяком случае, применительно к крупноформатным единицам). Между тем это всего лишь вполне стандартное применение первого закона диалектики к предложенному объекту размышлений. Примерно то же можно сказать и по поводу отношений между континуальностью и дискретностью – особенно когда речь идет о применимости этих понятий к языку. Очевидно, что дискретность есть способ существования языкового и речевого континуума, что любое речевое (в том числе текстовое) целое не просто членимо, а дискретно и потому обладает лакуарностью – разве что за исключением однофонемных междометных высказываний – и т.д.

Однако то, что представляется ясным на уровне общих рассуждений, нередко теряет очевидность при обращении к вопросам более конкретным. Отнюдь не столь прямолинейным выглядит

соотношение дискретности и континуальности, например, при обращении к категории коммуникативности как базовой категории высказывания – если иметь в виду не речевой континуум, а типологию высказываний. Априори представляется, что коммуникативность – коль скоро это базовая категория высказывания – должна быть в одинаковой мере присуща всем его типам. На деле это оказывается и так, и не так.

Оговорим понимание, вкладываемое в используемые термины.

Высказывание понимается как факт речи, оформленный интонацией относительно законченного целого; чаще всего это фразовая интонация, но в междометных высказываниях (см. ниже) это может быть также аффективная, ответно-утвердительная и др. интонация, так или иначе обеспечивающая отдельность данного речевого факта. **Коммуникативность** же трактуется как базовое свойство человеческого высказывания, его фундаментальная категория – но категория не в грамматическом, а в намного более широком смысле. Сущность этого свойства можно определить, по-видимому, только в самых общих чертах: способность служить единицей общения, то есть единицей передачи информации (фактической, эмоционально-оценочной, волитивной и т.д.). Анализ показывает, однако, что эта способность существует не сама по себе: она обеспечивается выполнением обязательных условий, нарушение которых ведет к коммуникативному провалу, даже если высказывание построено в полном соответствии с языковыми нормами [Дымарский 2005]. Эти условия формулируются как ясная для участников соотнесенность содержания высказывания с базовыми параметрами текущего коммуникативного акта: фигурами говорящего и слушающего, а также их пространственными и временными координатами. Кроме того, никакая коммуникация не состоится без наличия коммуникативного намерения говорящего (именно этот признак принципиально отличает человеческую коммуникацию от систем коммуникации животных).

Названные условия столь существенны, что представляется оправданным введение их в онтологическую интерпретацию коммуникативности. Если пойти на этот шаг, получим следующее определение: **коммуникативность — это свойство выска-**

зывания служить единицей общения, обеспечиваемое соотношенностью коммуникативной интенции и вещественного содержания высказывания с базовыми параметрами коммуникативной ситуации. Это можно записать и так:

$$(1) \quad K = \frac{k_{\text{Инт}} \times \text{Содерж}}{A_n \times A_t \times B \times M},$$

где K – коммуникативность, $k_{\text{Инт}}$ – коммуникативная интенция, Содерж – вещественное содержание высказывания; в знаменателе же представлены базовые параметры коммуникативной ситуации: A_n – адресант, A_t – адресат, B – время (временная локализация A_n и A_t), M – место (пространственная локализация A_n и A_t), причем каждый параметр должен иметь **определенное** значение.

Формула (1) носит, разумеется, условный, а не строго математический характер (в буквальном смысле умножить коммуникативную интенцию на вещественное содержание высказывания невозможно, поскольку эти «величины» не имеют количественного измерения), однако она верно отражает главные соотношения. В частности, в ней зафиксирован тот факт, что неопределенность любого из базовых параметров коммуникативной ситуации (равносильная подстановке на его место нуля) обращает все выражение в бессмыслицу, что на практике и означает коммуникативный провал. Формула также фиксирует обязательную соотношенность с базовыми параметрами коммуникативной ситуации интенции говорящего: если адресату неясно, его ли именно рассматривает в этом качестве говорящий, то речевой акт последнего обречен на коммуникативную неудачу (см. разбор неудач в ситуации звонка в прямой эфир в [Дымарский 2004]).

Теперь зададимся вопросом: каким же образом воплощается коммуникативность в высказываниях разных типов?

В основу типологии высказываний целесообразно положить меру и способ реализации в них качества коммуникативности. С этой точки зрения, в разнообразной речевой продукции человека имеет смысл различать по меньшей мере следующие явления (термины носят исключительно рабочий характер):

- 1) произвольные вокализации (*НВ*);
- 2) междометные высказывания (*МВ*);
- 3) высказывания, содержащие предикативную структуру (*ВПредик*).

Непроизвольные вокализации представляют собой реакции на внешний или внутренний раздражитель (внезапная сильная боль, испуг, восторг и т.п.), не контролируемые сознанием¹ и не опирающиеся на языковые средства. К речевой продукции в сколько-нибудь строгом смысле их отнести нельзя, однако именно они играют роль прообраза речевой деятельности в онтогенезе (именно с них начинается гуление — важнейшая стадия онтогенеза, предшествующая лепету и следующим позже первым собственно высказываниям ребенка – голофразам²). По мере освоения языка удельный вес *НВ* в речевой продукции человека неуклонно снижается, их функцию берут на себя междометные высказывания, но полного вытеснения первых вторыми не происходит: вероятность *НВ* в экстремальных ситуациях все-таки отлична от нуля.

Коммуникативность *НВ* – если исходить из очерченного выше понимания – равна нулю, так как в них отсутствует коммуникативная интенция. Однако это не означает нуля и на месте всех остальных параметров. Если под коммуникативной интенцией понимать (осознанное) намерение сообщить кому-либо нечто, то ее наличие автоматически означает наличие определенных адресанта и адресата: само намерение что-либо сообщить подразуме-

¹ Не случайно такие вокализации называют еще *лимбическими* (см. [Козинцев 2004]): в отличие от речевой деятельности, подчиненной кортикальному контролю, *НВ* у всех живых существ управляются лимбической системой, которая генетически старше неокортекса не менее чем на сто миллионов лет (она начала развиваться еще у рыб ок. 150 млн. лет назад) и обеспечивает выполнение жизненно важных функций организма (кровообращение, дыхание, пищеварение, взаимодействие со средой и др.), но не функций высшей нервной деятельности. Существенный признак *НВ*, связанный также с лимбическим (а не кортикальным) контролем, заключается в том, что они могут производиться как на выдохе, так и на вдохе, в то время как речь производится только на выдохе (произвольная регуляция дыхания свойственна только человеку).

² См. [Цейтлин 2000: 15 – 16]. Применительно к онтогенезу автор использует предречевые вокализации – более широкий по значению, так как им охватывается и лепет, который признаком произвольности уже не обладает.

вает осознание себя в качестве говорящего и приписывание некоторому объекту статуса слушающего. Отсутствие коммуникативной интенции означает, следовательно, отсутствие фигур адресанта и адресата, однако два других базовых параметра – **время** и **место** (со значениями 'здесь' и 'сейчас') – присутствуют. В этом отношении НВ ничем не отличаются от сигналов, издаваемых животными в условиях естественной среды обитания¹: любой сигнал животного (пение, крик, рычание, поза и т.д.) отнесен к 'здесь' и 'сейчас' и никакой другой отнесенностью обладать не может. Безусловная и автоматическая соотнесенность с моментом продуцирования НВ, отработанная миллионами лет эволюции в системах коммуникации животных, – прообраз автоматической соотнесенности с моментом речи, свойственной человеческим высказываниям; таким образом, зерно языковой категории времени (имплицитующей и пространственный параметр²) унаследовано человеком от биологических предшественников в отличие от категории лица, формирование которой начинается только с формированием коммуникативной интенции и которая свойственна исключительно человеческой речи³.

Междометные высказывания – весьма широкий и разнородный круг высказываний, объединяемых следующими общими признаками:

¹ Эта оговорка необходима потому, что во всех условиях, предполагающих регулярный контакт с человеком (заповедник, зоопарк, ферма, лаборатория и проч.), животные могут приобретать навыки диалогического взаимодействия с человеком, навязывающим им этот способ поведения, и их сигналы, следовательно, могут приобретать признаки наличия коммуникативной интенции — именно так они, как правило, интерпретируются человеком.

² В связи с этим см. изложение идей В.И. Вернадского: «Живое вещество есть единственный случай в природе, где надо иметь в виду не просто пространство, а время-пространство, единое явление, которого нет ни в каких других естественных телах. Только после смерти живого организма это единство распадается. А смерти нет ни в каких других естественных телах. Это не абстрактное измерение пространства, которое введено Эйнштейном, но реальное пространство-время, которое выражается в симметрии живого вещества, резко отличающейся от симметрии косного вещества» [Аксенов 2006: гл. 16].

³ См. концепцию коммуникативно-структурного синтаксиса, строящую синтаксическое описание по двум «осям»: структурной и коммуникативной, – объединяемым именно категорией лица [Ильенко 2009].

- а) безусловное наличие коммуникативной интенции;
- б) использование языковых средств (междометий; релятивов и некоторых вводно-модальных слов¹ вроде *Да, Нет, Конечно*; фразеологизмов и др. единиц, в том числе обценных, с функцией эмоциональной реакции вроде *Ну уж!*, *Да уж!*, *Вот еще!*²; *Черт!*);
- в) интонационная оформленность по законам данного языка;
- г) отсутствие предикативной структуры;
- д) жесткая привязанность к 'здесь' и 'сейчас'.

Признаки (а–в) отличают МВ от НВ, признак (г) – от ВПредик, признак (д) объединяет МВ и НВ. Из данной характеристики видно, что термин «междометные высказывания» весьма условен; вместе с тем он косвенно указывает на то, что по содержанию этот тип сопоставим скорее с НВ, чем с ВПредик, поскольку смысловое наполнение используемых средств ситуативно и личностно зависимо (некоторые из них более конвенциональны – например, *Да* и *Нет*, другие менее – и могут использоваться амбивалентно).

Содержание МВ, как уже сказано, поддается лишь самой общей характеристике, причем имеется несколько групп МВ, практически не связанных друг с другом по типу содержания: трудно найти, например, содержательную общность между релятивами *Да, Нет* и реактивами типа *Елки-палки!*

Из наличия коммуникативной интенции вытекает определенность в МВ не только локального и темпорального параметров, но также фигур говорящего и слушающего. Однако параметры А_н и А_т не получают в МВ никакого выражения, кроме интонационного. Все названные признаки и особенности МВ суммируются в свойстве, которое К.Бюлер называл «ситуативной зависимостью» [Бюлер 1993: 348]. Ситуативно зависимые высказывания успешно

¹ Не имеющих омонимов, способных входить в структуру предложения и позволяющих интерпретировать однословные высказывания как неполные предикативные структуры (ср.: *Возможно — Да, это возможно*).

² Возможность интерпретировать речения типа *Вот еще!* как осколки предикативных структур не отменяет того факта, что в современном языке такие речения (в отличие от других) полностью утратили связь с породившими их конструкциями и – более того – со стоящим за ними актом предикации, превратившись в эквиваленты междометий.

осуществляют коммуникативную функцию, могут служить полноценными репликами в диалоге, способными резко изменить его течение и т.д. Но, будучи в абсолютной зависимости от конкретной ситуации общения, вне этой ситуации они лишены смысла и способности выполнять коммуникативную функцию. Эти особенности МВ выразительно подчеркиваются диалогами типа:

– *Ой...*

– *Что-что?*

– *Ой...*

– *Я не слышу, что ты там говоришь?*

– *Я говорю – ой!..*

С одной стороны, способность к экспликации модусной рамки (последняя реплика) доказывает коммуникативную полноценность МВ; с другой стороны, эта реплика выглядит аномально, так как содержательно модусная рамка явно богаче диктума, хотя должно быть наоборот. А дело в том, что в данном случае вынужденная собеседником автоцитация фактически вырывает междометную реплику говорящего из первичного контекста, и последняя реплика, в отличие от исходной, уже не выражает никаких эмоций, а по смыслу эквивалентна фразе «Я тут произношу междометие «Ой»».

Высказывания, содержащие предикативную структуру, реализуют коммуникативность полнее всего, так как базовые параметры коммуникативной ситуации в них не присутствуют имплицитно, но грамматически выражены – прямо или косвенно.

Прямое выражение этих параметров обеспечивается формами 1-го / 2-го лица и настоящего времени (в значении актуального настоящего); косвенное – формами 3-го лица и других времен и наклонений, в том числе неактуального настоящего. В одном высказывании, таким образом, может иметь место и только прямое, и только косвенное, и сочетание прямого и косвенного выражения базовых параметров коммуникативной ситуации.

Грамматическое выражение этих параметров, каким бы оно ни было, обеспечивает ВПредик ситуативную независимость: поскольку в высказывании уже не подразумеваются, а з а ф и к с и -

рованы (прямо или косвенно) момент речи и участники коммуникации, становится возможным отнесение преддицируемого признака к любому временному и модальному плану, а также к любому субъекту, а не только к говорящему или слушающему.

Однако в неполных реализациях ВПредик могут отчасти или целиком – в зависимости от характера неполноты – утрачивать ситуативную независимость. Существует (и не только в русском языке) значительный корпус устойчивых неполных высказываний, занимающих промежуточное положение между МВ и ВПредик: *Вероятно (Это вероятно), Безусловно (Это безусловно), А то! (А то ты сомневался!) Ни в коем случае! (Не стану этого делать / Не делай этого / Не разрешу этого [и т.п.] ни в коем случае!)*. Ряд примеров может быть весьма протяженным. Степень «междометизации» подобных устойчивых формул различна, и многие из них представляют собой спорные случаи: например, проблематична квалификация выражения *Ни бже мой!*, которое трудно, с одной стороны, возвести к полной предикативной структуре, но трудно, с другой стороны, и безоговорочно свести к уровню МВ.

Любопытно, что при сопоставлении высказываний с прямым и косвенным способами выражения этих параметров обнаруживается явление, сходное с тем, которое мы только что наблюдали на уровне МВ. При экспликации модусной рамки высказывания «Ой...» его сущность выхолащивается, фактически от него остается только рамка. Рассмотрим аналогичное ВПредик:

(2) – *Постой, Абдулла! Это говорю я, Саид!* (Ежов В., Ибрагимбеков Р. Белое солнце пустыни)¹.

Более прямое выражение базовых параметров коммуникативной ситуации, чем во втором высказывании реплики Саида, вряд ли можно придумать: это полностью эксплицированная модусная рамка, осложненная вторичной предикацией (приложением). Но если отвлечься от этого осложнителя, то окажется, что информативность высказывания, представляющего собой как бы «воплощенную коммуникативность», стремится к нулю. Между тем в соседнем высказывании (первом в реплике Саида) информатив-

¹ В тексте романа реплика звучит иначе: «**Послушай**, Абдулла! Это говорю я, Саид!»

ность явно существенно выше, а коммуникативные параметры выражены только косвенно.

Эти наблюдения могут быть интерпретированы различно. Можно утверждать, в частности, что экспликация модусной рамки в норме, то есть – в данном случае – в высказывании, условия порождения которого не выходят за рамки прототипа, является излишней. Появление эксплицированной модусной рамки свидетельствует об отклонениях от прототипических условий коммуникативного акта: шум в канале связи, прагматически обусловленная потребность акцентировать тот или иной параметр (в реплике Саида – личность адресанта), жанрово обусловленная необходимость указать на смену коммуникативных ролей (ср. «переключатели» при пересказе диалога: *Она говорит: <...> Я говорю: <...> А она мне: <...>*).

Таким образом, применительно к ситуативно независимым высказываниям (ВПредик) можно говорить о балансе коммуникативного (служебного) и информативного начал. В полных высказываниях с исключительно косвенным способом выражения базовых параметров коммуникативной ситуации (3-е синтаксич. лицо, не наст. актуальное) имеет место коммуникативно-информативное равновесие: базовые параметры выражены, но не актуализированы, внимание адресата целиком сосредоточено на сообщаемой информации. Частично или полностью прямое выражение базовых параметров равносильно их актуализации, количество же информации, передаваемой высказыванием, при этом неизбежно снижается. Сопоставим два сходных высказывания:

(3а) *Я иду на почту;*

(3б) *Какая-то старушка идет на почту.*

ВПредик (3б), помимо информации о том, что субъект не совпадает ни с говорящим, ни со слушающим, содержит имплицитную информацию о существовании этого субъекта – *какой-то старушки*¹. Между тем в (3а) субъект совпадает с говорящим, и ясно, что информации о существовании *этого* субъекта (3а) не

¹ В артиклевом языке в данном случае был бы использован неопределенный артикль; именно это подчеркнуто в примере несколько нарочитым использованием неопределенного местоимения. В реальности же носители русского языка часто обходятся без него.

содержит: было бы странным, если бы говорящий сообщал слушающему о своем (или его) существовании. Следовательно в (3а) прямое выражение базового параметра коммуникативной ситуации ведет к усилению коммуникативного начала, но неизбежно оборачивается снижением информативности, в (3б) картина противоположная.

Итак, наличие предикативной структуры придает высказыванию ситуативную независимость, которая опирается на выраженность базовых параметров коммуникативной ситуации и потенциально бесконечное содержательное богатство.

Однако своеобразный баланс содержательного и коммуникативного начал, достигаемый на уровне ВПредик, может нарушаться использованием целой системы средств **актуализации параметров коммуникативной ситуации**. С.Г. Ильенко существенно расширяет круг средств, формирующих так называемый коммуникативный аспект предложения: кроме типов предложения по цели высказывания и актуального членения, она относит к ним (называя их средствами реализации «коммуникативной оси») вводно-модальные компоненты, обращения, эллипсис, парцелляцию [Ильенко 2009]. Следует подчеркнуть, что все эти средства так или иначе связаны с фигурами говорящего и слушающего – следовательно, могут быть интерпретированы как актуализаторы служебно-коммуникативных значений. Эти средства могут вполне свободно входить не только в структуру ВПредик, но и в МВ (*Ох, братцы...*), существенно изменяя коммуникативно-информативный баланс высказывания. Например, эллипсис, как уже говорилось, лишает высказывание ситуативной независимости, актуализирует фигуры говорящего и слушающего (ибо решение опустить некоторый структурно необходимый компонент принадлежит говорящему, рассчитывающему на понимание слушающего) и, таким образом, повышает уровень коммуникативной приспособленности высказывания, но в то же время, если рассматривать данное высказывание изолированно, явно снижает его информативность. В других случаях изменение баланса заключается только в увеличении удельного веса коммуникативной составляющей: так

происходит при введении в высказывание обращений, вводных компонентов и при парцелляции¹.

Таким образом, категория коммуникативности пронизывает все типы высказываний, создавая некий континуум коммуникативных единств, матрицирующих нашу речь. Однако присутствует она в них по-разному. Опираясь на сделанный обзор, можно говорить о трех способах ее реализации. Если в основание характеристики этих способов положить их отношение к грамматической системе языка, то можно назвать их **досистемным**, **системным** и **сверхсистемным** способами. Если в МВ коммуникативность представлена имплицитно (не имеет грамматического оформления и может быть выявлена только путем экспликации модусной рамки), то в ВПредик она грамматически выражена, то есть представлена системно. Актуализаторы же коммуникативности следует рассматривать как сверхсистемные средства. Их сверхсистемный характер проявляется, кстати, и в способности входить в состав МВ. Не случайно в традиционных синтаксических описаниях параграфы, посвященные вводности, вокативности (обращениям), парцелляции, эллипсису, всегда занимали периферийное положение, за которым угадывалось некоторое недоумение: явление существует, не упомянуть о нем невозможно, а вот включить его в описываемую грамматическую систему – не получается. И не могло получиться.

Итак, при том, что категория коммуникативности континуальна в плане присутствия во всех типах высказываний, нельзя не видеть и ее дискретности – слишком глубоких различий между способами ее присутствия. Между МВ и ВПредик – пропасть. Существуют ли переходные типы высказываний? Судя по приведенному выше примеру (*Ни божже мой!*) – да; но это пример движения, так сказать, сверху вниз. Существуют ли противопо-

¹ Следует оговорить, что способ выражения вводных компонентов и обращений также информативен и передаваемая таким образом информация часто не только вступает в сложное взаимодействие с содержанием высказывания, но и «перевешивает» его (ср. у М.А. Булгакова: «*Антракт, негодяи!*» – пример С.Г. Ильенко). Однако если бы в естественных языках существовали только закономерности, подобные намеченной здесь, и отсутствовали опровергающие их исключения, то было бы скучно, да и лингвистики как науки не существовало бы.

ложные примеры? Сохранились ли архаичные типы, которые могли бы рассматриваться как промежуточные звенья, где можно было бы наблюдать плавный переход от полной имплицитности коммуникативных значений к их грамматической выраженности? Видимо, не стоит спешить с отрицательным ответом: эти вопросы требуют тщательного изучения.

Пока же можно утверждать, что в современном языке категория коммуникативности континуальна в силу своей универсальности – и дискретна в силу слишком различных способов своего проявления в высказываниях разных типов.

ЛИТЕРАТУРА

Аксенов Г.П. В.И. Вернадский о природе времени и пространства: Историко-научное исследование. М., 2006. Режим доступа: [http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/aksyonov_o_vernadskom/aksyonov_o_vernadskom.htm].

Бюлер К. Теория языка. М., 1993.

Дымарский М.Я. Принцип толерантности и некоторые виды коммуникативных неудач // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. Екатеринбург, 2004.

Дымарский М.Я. Высказывание и коммуникативность // Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. СПб., 2005.

Ильенко С.Г. Коммуникативно-структурный синтаксис современного русского языка. СПб., 2009.

Козинцев А.Г. Происхождение языка: новые факты и теории // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. к 140-летию каф. общего языкознания СПбГУ. СПб., 2004.

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.

**КОНТИНУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» В СТРУКТУРУ
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

В статье рассматривается феномен представления текста в рамках сложного предложения, выражающий континуальную реакцию пишущего на аналитичность современной культуры, на актуализированную расчлененность отечественного прозаического дискурса последнего двадцатилетия.

В отечественной прозе последнего двадцатилетия в виде «предложения» нередко предстает целый текст или его значительная часть. В отличие от многокомпонентных сложных предложений классической литературы, подобные образования демонстрируют нарушение нормы членения и мира, и текста [Фарино 2004: 517]. Вместе с тем они отвечают принципам развертывания современного прозаического дискурса, подтверждая парадокс «одновременного усложнения и обеднения синтаксиса» [Руднев 1997: 240].

Заключая «предложение» в кавычки, мы подчеркиваем, что современные прозаики, аранжируя текст как предложение, ориентируются на традиционное школьное представление о границах последнего, отмеченных точкой, вопросительным, восклицательным знаком, многоточием. Если для лингвиста пунктуационно-графическая аранжировка высказывания является далеко не главным показателем его предложенческой сущности (особенно в случае так называемого графического бессоюзия), то для массового читателя знаки конца определяют границу самостоятельного предложения. Очевидно, что он, в отличие от лингвиста, увидит в следующем примере четыре простых предложения:

Из президентов надо выбирать веселых.

Из веселых – умных.

Из умных – твердых.

Из твердых – порядочных.

(М. Жванецкий. С кем быть?)

Представление текста (или его части) в виде «предложения» создает дополнительную функциональную нагрузку: подобные образования программируются автором и воспринимаются читателем как одна из стилевых доминант. Их осмысление сопряжено с постановкой целого комплекса вопросов (как в диахронии, так и в синхронии).

Очевидна поверхностность однонаправленного диахронического подхода: простое предложение – осложненное – сложное – многокомпонентное сложное предложение – текст (сверхпредложенческое образование). Существует и соблазн прямолинейной трактовки возвращения текста в структуру предложения после его генетического «высвобождения». Правомерней другая точка зрения: «Сложное предложение столь же древне, как текст» [Мишланов 1996: 108], оно возникает в процессе текстопорождения по деривационным образцам [там же: 24].

Приведем также мнение В.Л. Георгиевой: «Своеобразной особенностью древнерусского синтаксиса является соединение нескольких предложений при помощи повторяющихся союзов *и* или *а*. Такие структуры в нашей лингвистической литературе получили название многочленных цепей. Если учесть, что пунктуационное деление такой цепи на отдельные куски – дело современных нам издателей, то во многих случаях следует констатировать весьма длинную цепь... Бысть языкъ единъ. И умножившемся челоуѣкомъ на земли, и помыслиша создати столпъ до небесе, въ дни Нектана и Фалека. И собращася на мѣстѣ Сенаръ поли здати столпъ до небесе и градъ около его Вавилонъ; и созда столпъ то за 40 лѣтъ, и не свершенъ бысть. И сниде господь богъ видѣти градъ и столпъ, и рече господь: «Се родъ единъ и языкъ единъ». И съмѣси богъ языки, и раздѣли на 70 и 2 языка, и разсѣя по всей земли (Пов. вр. л.). Так летописец, согласно легенде, объясняет наличие на земле разных языков (Георгиева 1968: 112). Подобные конструкции, характерные для летописей и памятников деловой письменности, «становятся все менее употребительными, хотя наблюдаются еще в памятниках XVII–XVIII вв.» [Георгиева 1968: 113].

Диалектика взаимоотношений текста и предложения проявляется не только в их сближении, но и в том, что в современном дискурсе наблюдается распад сложноподчиненного предложения (ядра системы сложного предложения), в основе которого (с диахронической точки зрения) лежит вопросо-ответный диалог. Нередки случаи, когда уже не текст предстает как предложение, а предложение – как текст, причем не только с пунктуационно-графической точки зрения:

Если ты раньше не был удачлив.

Если ты раньше не был терпим.

Если ты раньше завидовал чужому.

Если ты раньше мечтал отнять и поделить.

Если ты раньше ни в чем не обвинял себя.

Если ты раньше лишь мечтой приближал мечту и не мог встать в пять утра.

Если ты раньше ничего не мог понять, кроме приказа.

Если ты раньше не просил помощи, а просил денег.

Если ты раньше не думал о законах и любым поворотом тела вылезал за их пределы.

Зачем тебе Америка? (М. Жванецкий. Зачем тебе Америка?)

В синхронии мы чаще всего имеем дело с герметическим, сугубо предложенческим анализом многокомпонентных образований [Гаврилова 1981], однако даже при таком подходе следует дифференцировать собственно предложения и квазипредложенческие структуры, независимо от их пунктуационно-графической аранжировки. Многокомпонентные высказывания создаются как с ориентацией на модель сложного предложения со структурным или коммуникативным осложнением, так и с ориентацией на модель ССЦ (или сложного тематического целого). И в том, и в другом случае могут использоваться парцелляция и абзацное членение:

Звонкие колокольчики в руках у обнаженной женщины, в который раз оббегающей вокруг своего дома во имя спасения от всех желтых и черных болезней; голые смеющиеся дети, которые старются не отставать от нее, визжат и хохочут в эту страшно важную минуту;

и возбуждающий огонь костра возле дома, у которого старуха накидывает на нее плащаницу и, улыбаясь беззубым ртом, торжественно уводит ее в дом, огражденный теперь ее заговором от всех болезней на целый год;

и потрескивающие костры, обжигающие лица наклонившихся над фантастическим пламенем, вокруг которого мчатся друг за другом с криками взалхб молодые парни и девушки в летящей одежде; <...>

и ржание коня, влетевшего на всем скаку в реку;

и смех;

и визг;

и взмахи белых, как мел, рук в ночном воздухе, – все это приводит задохнувшегося Андрея к берегу... (А. Кончаловский, А. Тарковский. Андрей Рублев).

Герметический подход (в рамках предложения) в определенной мере себя исчерпал, лингвистами все больше осознается необходимость выхода в новейший дискурс (что с успехом было продемонстрировано Г.Н. Акимовой (2006) в анализе рассказа В. Пелевина «Водонапорная башня»). Текстовое рассмотрение, в свою очередь, требует учета принципов современной прозы, анализа идиостилей авторов, выявления стимулов как сближения предложения и текста, так и представления текста в «образе» предложения, присутствующем в сознании пишущего и читающего.

Одним из важнейших стимулов сближения предложения и текста является их изоморфизм [Ляпон 1986]. В.Г. Адмони подчеркивал диалектику самостоятельности / взаимопроникновения предложения и текста: «Текст и предложение – это, в принципе, формы, соотношенные с высказыванием различным образом» [Адмони 1985: 68]. По мнению В.Г. Адмони, наиболее изоморфны предложение и художественный текст, «но в той или иной мере изоморфен предложению и каждый естественный текст, поскольку в нем обычно содержится развитие от более известного к более новому и создается некоторое «рематическое» напряжение, приобретающее, правда, в литературе чрезвычайно различные формы» [там же: 68]. Не менее важный стимул сближения –

цементирующая роль модели предложения, его композиционного типа, характера напряженности [Адмони 1969; 1975].

Представление текста в рамках предложения не только «эксплуатирует» наивные читательские представления о предложении, но прежде всего актуализирует континуальность текста, которая упорядочивает хаос изображаемой действительности в организованной линейной последовательности. Континуальность не тождественна, но связана с другими характеристиками текста: линейностью, последовательностью, подробностью и (неизбежный повтор) связностью, – тогда как прерывистость – с дискретностью и беглостью. При этом линейность и дискретность – это «неустранимые свойства» не только текста, но языка и речи [Фарино 2004: 482].

Когда у пишущего возникает потребность представления текста как предложения? Как способ такого представления соотносится с миром: трансформирует его или стремится быть ему конгениальным? Это вопросы, скорее, общефилологического характера, к которым мы вернемся в конце статьи. На лингвистическом уровне ответы на них связаны с представлением о функционально-композиционных типах речи (демонстрационном, информационном и сентенционном) в концепции С.Г. Ильенко [2003: 458 – 460].

Современная отечественная проза, в отличие от классической, ориентируется в развертывании многокомпонентных образований прежде всего на демонстрационный (ДТР) и информационный (ИТР) типы речи, ей не столь свойственны длинные сентенции. Текст рассказа В. Пелевина «Один вог», равный одному многокомпонентному предложению, развертывается как ДТР:

*Один вог — это количество тцеты, выделяющееся в женском туалете ресторана **СКАНДИНАВИЯ**, когда мануал-рилеифер Диана и орал-массажист Лада, краем глаза оглядывая друг друга у зеркала, приходят к телепатическому консенсусу, что уровень их гламура примерно одинаков, так как сумка **ARMANI** в белых чешуйках, словно бы сшитая из кожи ящера-альбиноса, и часики от **GUCCI** с переливающимся узором, вписанным в стальной прямоугольник благородных пропорций, вполне компенсируют похожий на мятую школьную форму брючный костюм от **PRADA**,*

порочно рифмующийся с короткой стрижкой под мальчика, но этот с трудом достигнутый баланс парадигм и извивов делается совсем не важен, когда в туалет входит натурал-терапевт Мюся с острыми стрелами склеенных гелем волос над воротом белого платья от **BURBERRY**, которое напоминает туго стянутый двубортный плащ с косо отрезанными рукавами, после чего Лада с Дианой приходят в себя и вспоминают, что дело не в **GUCCI** и **PRADA**, которые после недельных усилий может позволить себе любая небрежливая школьница, и даже не в **BURBERRY** с двумя рядами перламутровых пуговиц, а в доведенном до космического совершенства фирмой **BRABUS** автомобиле **MERCEDES GELANDEWAGEN** с золотыми символами **RV-700**, на котором Мюся, как обычно, подъехала со своим другом и спонсором, а Мюся с пронзительной ясностью осознает, что секрет совершенного рилифа не столько в знании мужской психологии, анатомии или других гранях трудного женского опыта, сколько, наоборот, в полном отсутствии такового, в крахмальной свежести души и наивной ясности взгляда, связанных даже не столько с возрастом, сколько с незнанием некоторых вещей, которые Мюся уже не сможет забыть никогда, что при рыночном укладе обстоятельств не гарантирует места в автомобиле **BRABUS RV-700** на завтра, так как Лада с Дианой юны и готовы на все, а крем **VICHYPUETAINE** не поворачивает время вспять, как обещает инструкция-вкладка, а скорее напоминает о его необратимости, и, что может оказаться гораздо серьезнее всего вышеперечисленного, сам друг и спонсор, нервно курящий в это время на балконе сигару **TRINIDAD FUNDADO-RES**, на которую с кривой ухмылкой глядит из-за оцепления безногий инвалид в камуфляжном тряпье, начинает догадываться, что дело вовсе не в оральном массаже и даже не в анальном эскорте, а в этом резком, холодном и невыразимо тревожном порыве ветра, только что долетевшем со стороны **КРЕМЛЯ**, — хотя, может быть (и скорее всего так и есть), что все это в очередной раз просто всем померещилось (В. Пелевин. Один бог).

Выбирая ДТР в качестве текстовой основы, натянутой на раму предложения, пишущий обнаруживает стремление не только

«схватить мгновение», но раздвинуть его рамки, передать особую плотность бытия. В качестве «рамы» он выбирает предложение напряженного типа: «...напряжение – в его наиболее законченном виде – создается постановкой в самом конце предложения какого-нибудь компонента, необходимого для структурной завершенности предложения» [Адмони 1975: 9], что подтверждается вышеприведенным примером. Возникает парадокс уменьшения объема текста при увеличении объема предложения. Это нередко происходит в результате синкретизма моделей осложненного и сложного предложений, когда предикативные части не только сочетаются друг с другом, но и расширяют позиции однородности, обособления, используются в роли вставных конструкций:

Выслушав наконец и подругу – что куплено, да что пригорело, и чем болел ушастый ребенок, рассмотрев чужого стандартного мужа – лоб с залысинами, тренировочные штаны, растянутые на коленках, нет, такой не нужен, – уходила, разочарованная, уносила себя, изящную, за дверь, и на площадку, и вниз по лестнице, в освежающую ночь – не те люди, зря приходила, напрасно преподнесла себя и оставила в тусклой кухне свой душистый отпечаток, напрасно скормила изысканный, с горчинкой шоколад чужому ребенку, только сожрал, и измазался, и не оценил, вот пусть-ка его засыплет с ног до головы диатезом. Зевала (Т. Толстая. Поэт и муза).

ИТР является текстовой основой рассказа В. Пелевина «Водонапорная башня», представляющего одно многокомпонентное сложное квазипредложение. Вследствие невозможности его полного воспроизведения в статье (см. его анализ в статье Г.Н. Акимовой: [Акимова 2006], приведем в качестве примера фрагмент рассказа Л. Петрушевской «Лавина»:

Болезненно честный человек, готовившийся уйти в монахи, изливающий на всех (особенно на чужих детей) свою молчаливую мудрость и долготерпение, мягкий, еще не нашедший своего интереса в жизни, как бы мятущийся (но внутри себя), ни жены, ни любовницы, только тетка, у которой свои чудовищные трудности (пьющий сын и пьющий же муж, больной опухолью пениса), так вот, честный человек, внешне очень похожий на образ Пье-

ра Безухова из романа «Война и мир» Толстого, очки, полнота, доброта, этот человек вдруг встречает энергичную, целеустремленную женщину старше себя, и эта женщина начинает любить Пьера с огромной, неистовствующей силой, буквально уводит его с неведомого одинокого пути, по которому он шел в монахи, он теряет голову, они, двое влюбленных, мотаются то там, то здесь, то в Питере (она из Питера), то на родине предков в Москве, в его квартире, которую он должен был (кстати говоря) перед уходом в монахи отдать тетке, прописать ее к себе через, скажем, фиктивный брак, в монастыре ему ничего не понадобится, — или же негласно отдать монастырю: была некоторая борьба в душе Пьера по этому поводу заранее, между монастырем и семейным долгом, мужу тетки предстояло оплачивать дорогое лечение у тибетского ламы (нашли знахаря, врачи не в счет, они хирурги, им бы лишь бы отрезать), а сыну ее необходимо было дать деньги, так как он угнал в пьяном виде чужую машину (Л. Петрушевская. Лавина).

Развертывая ИТР, пишущий ориентируется на модель сложного тематического целого, на бесконечную цепь нанизывающихся высказываний в спонтанной устной речи. Он пытается уместить если не целую жизнь, то ее огромную часть в одном «предложении», что создает аномалию соотношения мира и текста, провоцирует оценку жизни персонажа как нечто скоротечное, ненастоящее, сериальное, «киношное». В.Тучковым в рассказе «Тот свет» «демонстрация фильма» осуществляется в результате сборки замкнутых предложений в одно сложное тематическое целое, в котором детерминанты *под стрекотание кинопроектора* и *какую-то незнакомую музыку* обладают сверхпредложенческим радиусом действия:

Под стрекотание кинопроектора и какую-то незнакомую музыку (Давыдов предположил, что она имела неземное происхождение), вызывающую ощущение причастности ко всему существу, на экране (...) — — — аккуратно подстриженные советские футболисты забивали голы на чемпионате мира в Англии (из чего Данилов заключил, что никакой Великобритании тогда не было и в помине) и не раздевались при этом, как теперь, а по-мужски пожимали друг другу руки — — — какие-то люди, которых дик-

тор называл “дружинниками”, но без коней, шлемов и мечей, а с повязками на рукавах ходили по улицам и охраняли покой советских трудящихся от тех, кто нарушает нормы социалистического общежития (почему они делали это на улице, а не непосредственно в общежитии, было непонятно) — — — по Красной площади везли огромные ракеты, которые были щитом, защищающим нашу Великую Родину от агрессоров и реваншистов, а потом там же, на Красной площади, шли люди, размахивающие флажками, и эти люди дружно кричали “ура” и “да здравствует”, играла музыка, которую Давыдов прежде никогда не слышал (В. Тучков. Тот свет).

Непрерывность, ассоциативность иллюзии и бреда провоцирует синкретизм ДТР и ИТР. В рассказе Т. Толстой «Сюжет» стилем непрерывного развертывания квазипредложения является фантазмагоричная интертекстуальность, которая не только передает состояние бреда, но и выражает временные модальные сдвиги, ироничную историософскую настроенность автора:

Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, — к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор? — шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей, до небес, морошкой; прекрасная калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, — тварь дрожащая или право имеет? — переламывает над его головой зеленую палочку — гражданская казнь; что ты шьешь, калмычка? — Портка. — Кому? — Себя (Т. Толстая. Сюжет).

Как выстраиваются отношения с читателем в результате сближения предложения и текста? Они строятся, с одной стороны, на конвенции наивного «нормального» понимания предложения, а с другой стороны — на запрограммированном автором нарушении нормы членимости текста на отдельные предложения, что подготавливает читателя к восприятию других возможных аномалий. В самом деле, именно аномальным с синтаксической точки зрения оказывается (при внимательном повторном прочтении) «короткий текст» К. Давыдова-Тищенко «Осень»:

Многие, здесь это слово буквально, столь модные в двухцветных изданиях писательницы, достаточно рано вступившие в пору своей блистательной литературной зрелости, чудесным образом этим упоенные, с многозначительной отрешенностью, искусно выверенной, **назидают грядущих потомков о том, как** в приливе неких колоритных чувств, перебирая пожелтевшие фотографии и старые открытки (равномерно изъявленная приязнь и пожелания неувядающей молодости, от праздника к празднику, в строго календарной последовательности), **вдруг** забывают о предмете, и их воспоминания – кавычки открываются – о далеком прошлом отматываются назад, будто клубок ниток, и уводят далеко-далеко в прошлое – кавычки закрываются; и вслед за тем из глубины разворота страницы, который есть подобие конца перспективы, плавно исходит желто-прелый аромат, осени присущий лишь отчасти... (К. Давыдов-Тищенко. Осень).

Многокомпонентные образования априорно создают трудность восприятия, нарушают «охранную грамоту адресата», демонстрируя бессмысленность человеческого существования, тщетность любой попытки преодоления хаоса.

Свидетельствует ли замыкание текста (или его фрагмента) в рамках предложения о победе континуальности над прерывистостью? Казалось бы, – да, если учитывать цементирующую роль самой структуры предложения. Но, во-первых, континуальность заведомо не может быть обеспечена только на одном (синтаксическом) уровне [Фарино 2004: 564]. Во-вторых, континуальность текста даже в замкнутом пространстве «предложения» постоянно атакуется различными средствами выражения прерывистости (прежде всего вставными конструкциями, демонстрирующими динамику смены точек зрения, ориентацию автора на сказовую манеру изложения, на разговорный синтаксис). Точнее было бы говорить о том, что «возвращение» текста в структуру предложения демонстрирует диалектику континуальности / прерывистости.

Это весьма относительная победа континуальности текста, если иметь в виду симультанность жизни и линейно-дискретную природу предложения как способа ее изображения. Современный

прозаик нарушает читательские ожидания, конструируя в тексте континуальную картину мира, но подразумевая при этом трагическую невозможность, иллюзорность любой попытки организации хаоса. Сближение предложения и текста – не частная идиостилевая черта, а симптоматичный показатель развертывания современного прозаического дискурса. Это континуальная реакция пишущего на аналитичность современной культуры [Фарино 2004: 519], на актуализированную расчлененность отечественного прозаического дискурса последнего двадцатилетия.

ЛИТЕРАТУРА

Адмони В.Г. Синтагматическое напряжение в стихе и прозе // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.

Адмони В.Г. Содержательные и композиционные аспекты предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975.

Адмони В.Г. Грамматика и текст. Вопросы языкознания 1985. №1.

Акимова Г.Н. «Водонапорная башня» В. Пелевина – синтаксический нонсенс? // Мир русского слова. 2006. №3.

Гаврилова Г.Ф. Усложненные сложные предложения в системе других синтаксических конструкций (на материале современного русского литературного языка): автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1981.

Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. М., 1968.

Ильенко С.Г. Русистика. СПб., 2003.

Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений. М, 1986.

Мишланов В.А. Семантика и структура русского сложного предложения в свете динамического синтаксиса. Пермь, 1996.

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997.

Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004.

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТОВ

В статье рассматриваются проблемы перевода диалектных текстов на примере творчества И.Бабея. Делается ударение на необходимости передачи при переводе не эквивалентности, а скорее адекватности высказывания. Изучаются возможности воссоздания ритма прозы при переводе как на лексическом, так и на синтаксическом уровне.

Многие французские переводчики русских литературных произведений признавали сложность адекватного перевода таких фигур речи, как эпитеты, метафоры и сравнения. Кроме того, трудности перевода возникают не только на лексическом, но и на фонетико-синтаксическом уровне. Как отразить в языке перевода синтаксическое и звуковое строение текста оригинала, чередование слоговой ударности-безударности? Все эти вопросы находятся в центре внимания переводчиков художественных произведений.

В ряду дискуссионных проблем переводоведения одной из важнейших является проблема адекватности перевода, то есть сохранения в переводе лингвистического своеобразия подлинника. В русле этих проблем вопросы возможности перевода диалектной лексики представляются весьма актуальными.

Диалект – это говор, наречие, разновидность данного языка, используемая более или менее ограниченной группой людей, связанных территориальной, профессиональной или социальной общностью.

Темой нашего исследования является изучение одесского диалекта, который появился в первой трети XIX в. Мы не знаем, как был создан одесский язык, но в нем вы найдете по кусочку любого языка. Это даже не язык, это винегрет из языков. Герцог Ришелье писал об Одессе, что никогда ни в одной стране мира не скапливалось на столь малом пространстве такое количество народностей, притом столь различных во нравах, языке, религии

и обычаях. На территории Одессы в начале XIX в. жили итальянцы, поляки, французы, греки, турки, армяне, евреи – всего 132 национальности.

Поэтому совсем не удивительно, что даже если основой одесского языка был русский, то он был изрядно расцвечен неожиданными оборотами, непривычными сочетаниями, невиданными грамматическими формами и словами многих других языков. Так, многочисленные украинские слова легко и естественно вошли когда-то в язык Одессы, где ходят не «растрепанными», а «распатланными», рассеянного человека называют не «разиней», а «раззявой», варят не «тыквенную», а «кабаковую» кашу, семечки не «грызут», а исключительно «лускают», в борщ кладут не «свеклу», а «буряк», люди не «ссорятся», а «гаркаются», из трех пальцев не «кукиш», а «дулю» складывают и т.д.

Много словечек и выражений, бытующих в одесском языке, – из блатного жаргона. Одесский язык не признает ни склонений, ни спряжений, ни согласований, характерных для нормативного языка. Так, родительный падеж используется в Одессе где надо и не надо и усердней всего там, где он совсем не нужен. В Одессе говорят не «смех сквозь слезы», а «смех сквозь незаметных слез». Это язык настоящих болтунов, язык свободный, как ветер. На одесском языке скучают обязательно «за чем-нибудь» или «за кем-нибудь». Публика скучает за театром, продавцы за покупателями, жены скучают за мужьями. Некоторые одесские писатели называли одесский язык восьмым чудом света. А чудо долго не забывается.

Истинным ценителем и знатоком одесского языка был И. Бабель, многие фразы которого стали расхожими: «пусть вас не волнует этих глупостей», «я вам не скажу за всю Одессу», «еще не вечер» и т.д.

Темой нашего исследования будет изучение специфики перевода на французский язык произведений Бабеля, впитавших в себя одесский колорит. Я обратилась к переводу «Одесских рассказов», изданных в издательстве «Gallimard» в Париже в 1967 г. Авторы перевода – известные переводчики А. Bloch, М. Minouchine, I. Markovitch и С. Térouanne.

Прежде чем перейти к примерам, я хотела бы обратиться к теории «Skopos» и рассмотреть, в какой мере ее можно применить к анализу перевода одесского диалекта. «Skopos» (от греческого слова «цель», «миссия») была предложена немецким лингвистом Г. Вермеером в 1978г. Суть этой теории сводится к тому, что при переводе диалектных текстов переводчик должен стремиться к передаче не эквивалентности, а, скорее, адекватности высказывания.

Эквивалентность в переводе может оказаться препятствием в правильном понимании текста, и излишняя «диалектализация» (то есть излишний поиск диалектных терминов в ином языке) может привести к тому, что будет теряться культура исходного языка. Иными словами, этот прием может дать обратный эффект и заслонить текст оригинала. Так, например, использование бретонского диалекта при переводе одесских диалектизмов на французский язык перенесет нас в мир Bretagne и из-за излишней «франкизации» заслонит мир Одессы.

Адекватность в переводе – стремление к сохранению идиолекта автора, то есть индивидуальных особенностей языка, при котором перевод рассматривается как воссоздание текста не только на лексическом, но и на синтаксическом и стилистическом уровнях. Воссоздание определенного ритма текста оригинала как элемента стиля особенно важно при переводе языка Бабеля, впитавшего в себя «музыку» одесского диалекта.

Приведем отрывок из новеллы «Как это делалось в Одессе».

Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше (И. Бабель).

«A quoi pense un tel Papa? Il pense à boire un bon petit verre de vodka, à cogner sur la gueule de quelqu'un, à ses chevaux, et à rien d'autre» (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoutchine).

Если анализировать эту фразу в русском языке на синтаксическом уровне, то нетрудно заметить, что вместо предлога *о* употребляется предлог *об*, за которым следует инфинитив, а придаточное предложение опущено. Правильно надо было бы сказать: «Он думает о том, чтобы выпить стопку водки, чтобы дать кому-

нибудь по морде». Но именно этот оборот является типичным для одесского диалекта, который придает ему особый колорит.

Французский переводчик употребляет похожую синтаксическую конструкцию: за глаголом *penser* следует предлог *à* + infinitif *boire*. Такая конструкция считается абсолютно правильной во французском языке и из-за этой правильности теряется самобытность одесского диалекта. Франкоязычный читатель не воспринимает адекватно текст и не испытывает те же эмоции, что и русскоязычный читатель.

Ритм фразы у Бабеля создается сознательным повтором предлога *об* (4 раза). Во французском переводе ритм фразы удастся сохранить благодаря повтору предлога *à* (5 раз). Здесь мы можем говорить о безусловной находке переводчика, так как ему удастся реконструировать, сотворить новый текст на французском языке благодаря приемам, характерным для языка реципиента, то есть франкоязычного читателя. С этой точки зрения реципиент достаточно адекватно воспринимает текст, слышит его музыку и испытывает похожие эмоции при его чтении.

При анализе перевода на лексическом уровне мы замечаем, что выражение *дать кому-нибудь по морде* переводится французским сочетанием *à cogner sur la gueule de qn*, которое, как и в русском, является достаточно грубым. Переводчик тем самым сохраняет уровень языка оригинала.

И. Бабель часто в рассказах прибегает к своему излюбленному приему «soblas-sarfinidas», который также встречается в средневековых песнях, когда каждая последующая фраза начинается повтором последних слов предыдущей фразы.

Приведем пример из новеллы «Король», когда во время описания свадебной церемонии короля бандитов Бени Крика вдруг стал остро чувствоваться запах гари, и у приглашенных возникла мысль о пожаре.

– Бенья, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший среди биндюжников грубияном, – Бенья, ты знаешь, что **мине** сдается? **Мине** сдается, что у нас горит сажка.

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста,

выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей (И. Бабель).

– *Benia, dit Papa Krik, un vieux charretier qui passait pour un malotru auprès des autres charretiers, Benia, tu sais ce que j'ai idée. J'ai idée qu'il y a un feu de cheminée chez nous.*

– *Papa, répondit le Roi à son père ivre, je vous en prie, buvez et mangez et ne vous laissez pas troubler par ces bêtises* (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoutchine).

И. Бабель употребляет неправильную форму местоимения **я**, которая является отличительной чертой одесского колорита. Французский переводчик также употребляет дважды неправильную конструкцию *j'ai idée*, что позволяет в какой-то мере перенести в другую языковую среду атмосферу оригинального текста. И наоборот, неправильное употребление родительного падежа во фразе *пусть вас не волнует этих глупостей*, столь характерного для одесского языка, переводится литературным оборотом *ne vous laissez pas troubler par ces bêtises*. Во французском языке нет падежей, и в связи с этим передача неправильной конструкции родительного падежа представляется еще более сложной в переводе. Поэтому в данном случае достичь адекватности переводчику не удастся.

Рассмотрим функционирование предложно-падежной формы с предлогом **за**. Предлог **за** имеет множество значений в одесском диалекте. Так, к примеру, его часто употребляют вместо предлога **о**. Если в повседневной жизни «жены скучают за мужьями» и «публика за театром», то у Бабея Беня Крик «плачет за дорогим покойником, как за родным братом», где вместо предлога **о** + предл. падеж «о дорогом покойнике» употребляется предлог **за** + творит. падеж. Ср.:

Вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

Voilà quarante-huit heures que je pleure le cher disparu comme si c'était mon propre frère (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

Эту особенность одесского диалекта (жонглирование падежами) было очень трудно передать в переводе. Переводчик пред-

лагает правильную литературную конструкцию *je pleure le cher disparu comme si c'était mon propre frère*, которая, кроме всего прочего, удлинняет фразу. Это приводит к потере ритмического своеобразия, столь характерного для кратких бабелевских фраз. Если разделить обе фразы на синтагмы, то и здесь количество синтагм во французском языке превышает их число в русском.

Еще один прием создания ритма – это повтор одинаковых служебных слов через определенные промежутки. Например, повтор сочетания союза **как** и предлога **за** в русском оригинале. Во французском переводе такой повтор сохранить не удастся. В первом случае эти слова переводятся союзом **que**, а во втором сочетанием **comme si**, что разбивает ритм фразы.

То же явление наблюдается и еще в одном примере:

Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого звать (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

Benia! Si tu étais un idiot, je t'écrirai comme à un idiot. Mais je ne te connais pas cette réputation et Dieu me garde de jamais t'en connaître une semblable (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

В первой фразе для создания ритма Бабель повторяет дважды слово **идиот**; переводчику удастся воссоздать бабелевский ритм благодаря адекватной синтаксической конструкции. И наоборот, во второй фразе повтор выражения *я тебя за такого (не) знаю* оказался невозможным в переводе, переводчик удлинняет и утяжеляет фразу, что неизбежно приводит к изменению стилистической окраски текста и неадекватности перевода.

В следующем примере переводчик, не имея достаточного знания особенностей одесского диалекта, неправильно понимает значение предлога **за** и переводит его глаголом *remplacer* в значении «вместо» по аналогии с такими фразами, как «я **за** тебя это сделаю». Однако в русском тексте выражение **кто здесь будет за хозяина** обозначает *кто здесь хозяин*.

– *Кто будет здесь, наконец, за хозяина?* – стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

– *Я здесь буду за хозяина,* – сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

– *Enfin qui remplace le patron ici? se mit-on à interroger le malheureux Mouguinstein.*

– *C'est moi qui remplace le patron, dit le premier commis, vert comme l'herbe verte* (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

Как мы видим, недостаточное владение тонкостями диалекта приводит к искажению информации исходного текста.

В следующих примерах холостяк погибает не *из-за*, а *через* глупость, а Тартаковский пострадал не *из-за*, а *через* своих же молдавских. Такое типичное для одесского жаргона употребление предлога *через* переводится на французский язык двумя разными выражениями: *bêtement* и *par la faute de*. Оба решения являются нормой французского литературного языка, вследствие чего адекватность в переводе достигается лишь частично.

Жил себе невинный холостяк как птица на ветке – и вот он погиб через глупость (И. Бабель. Как это делалось в Одессе)

Un célibataire inoffensif vivait bien tranquille, comme un oiseau sur la branche, et voilà qu'il est mort bêtement (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

У Тартаковского душа убицы, но он наш. Он вышел из нас... И он пострадал через своих же молдавских (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

Tartakovski a l'âme d'un assassin, mais c'est un des nôtres. Il est issu de nous... Et il a pâti par la faute de ses propres petits gars de la Moldavanka (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

И, наконец, выражение *кладите себе в уши мои слова* переводится калькой на французский язык *enfoncez mes paroles dans vos oreilles*, что звучит достаточно тяжело.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

Et maintenant je vais parler comme parlait le seigneur sur le mont Sinai, dans le buisson ardent. Enfoncez mes paroles dans vos oreilles (I. Babel, traduit par A. Bloch et M. Minoustchine).

Так не принято говорить. Лучше было бы сказать *écoutez-moi de toutes les oreilles*, или *ouvrez-bien vos oreilles*. Но, видимо, пе-

реводчик умышленно решил не отрываться от языка оригинала, что является выбором, характерным для сурсистов.

Предпринятое исследование текста-оригинала и переводов позволяет сделать следующие выводы: если при переводе диалектных текстов переводчик прибегает к литературному языку, то речь может идти лишь о частичной адекватности, так как у сопоставляемых лексических единиц и выражений коннотации не совпадают. Поэтому полной адекватности при переводе диалектизмов достичь очень трудно. Часто переводчик прибегает к приему описания, который не всегда производит одинаковый эффект на читателей оригинального и переведенного текста.

Для достижения адекватности при переводе диалектных текстов и сохранения эмоциональной окрашенности оригинала необходимо стремиться к сохранению индивидуальных особенностей языка автора, к воссозданию ритма как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. Необходимо, на наш взгляд, чтобы переводчик прекрасно знал исторический и социальный контекст, в котором создавалось произведение. В особенности это касается Одессы, где проживало в эпоху И. Бабеля 132 национальности. Перевод одесского диалекта требует владения несколькими языками, так как в нем встречаются выражения из идиша, украинского языка, греческого, польского, молдавского, турецкого и др.

ЛИТЕРАТУРА

- Белый А.** О художественной прозе. Москва, 1934.
Гиршман М. Проблемы целостного анализа художественной прозы. Донецк, 1973.
Жирмунский В. О ритмической прозе. Нью-Йорк, 1966.
Catteau J. L'épopée babélique. Varsovie, 1973.
Томашевский Б. Ритм прозы. Ленинград, 1929.
Nilsson N. Tolstoj-Chexov, Babel – shortness and syntax in the russian short story. Scando-Slavica, Copenhagen, 1982.

ИСТОЧНИКИ

- Бабель И.** Детство и другие рассказы. Иерусалим, 1979.
Babel I. Contes d'Odessa, traduit par A. Bloch и M. Minoustchine. Paris.1967.
Babel I. Cavalerie rouge, traduit par I.Markowitch, C. Téroouanne. Paris.1997.

КОНСТАНТЫ ЧЕХОВСКОЙ ПРОЗЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРАМИ КОНТИНУАЛЬНОСТИ И ДИСКРЕТНОСТИ

На основе допущения, что текст чеховского произведения (период 1890 – 1900-х гг.) может рассматриваться как дискурс(ы) персонажа (ей), описан ряд маркеров значимого выделения митуации из ряда стационарных, прежде всего особенности функционирования ЛС-моделей с контактными словами – глаголами совершенного vs несовершенного вида.

Континуальность и дискретность – универсальные категории, с помощью которых описываются свойства самых разнообразных объектов. «Сам термин «континуум» означает непрерывное образование чего-то, т.е. нерасчлененный поток движения во времени и пространстве. Однако движение возможно проанализировать только в том случае, если приостановить его и увидеть в разложенных частях дискретные характеристики, которые во взаимодействии создают представление о движении» [Гальперин 1981: 87]. Но именно процедура членения художественного текста представляет значительную трудность – не случайно в современных изданиях по филологическому анализу текста выделяют три вида членимости [Бабенко 2004].

Представляется, что проблема дискретности художественного прозаического текста может быть частично решена с опорой на понятие ситуации, хотя ситуация, понимаемая как совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения сама по себе (также как совокупность или ряд ситуаций), не объясняет возникновения эффекта движения. По-видимому, имеет смысл говорить не только о потенциальной *расчлененности* континуума на элементы (так, И.Р. Гальперин, в числе текстовых категорий выделяя континуум, «в самых общих чертах» определял его как «определенную последовательность фактов, событий, разверты-

вающихся во времени и пространстве»), но и о *выделенности* некоторых из них. Это логично приводит к использованию понятия «событие». Событие, с одной стороны, противопоставлено ситуации (как нетипичное – типичному или особое, исключительное – характерному, заурядному), а с другой – может быть рассмотрено как ее частный случай.

Известно, что понятие события широко используется в филологии, получая разное наполнение, в том числе и в теории текста (см. например: [Арутюнова 1988; Николаева 1980; Демьянков 1983; Шабес 1989 и др.]). Однако для текста художественного прозаического произведения остается актуальным предложенное Ю.М. Лотманом, понимание события как образования, лежащего в основе сюжета [Лотман 1998: 222], т.е. структурирующего авторский замысел. «Событием в тексте является перемещение персонажа через границу семантического поля. Из этого вытекает, что ни одно описание некоторого факта или действия в их отношении к реальному денотату или семантической системе естественного языка не может быть определено как событие или несобытие до того, как не решен вопрос о месте его во вторичном структурном семантическом поле» [там же: 224 (выделено автором. – И.Л.)]. Процесс выделения событий из ряда стационарных ситуаций, таким образом, неизбежно затрагивает вопросы критериев, в свою очередь связанные с идиостилем.

В произведениях А.П. Чехова реализуется своеобразная сюжетообразующая стратегия – «бесфабульная», с ее отказом от внешнесобытийного построения произведений, основанная на отражении динамики психических (нравственных) изменений человека. При этом объективная манера повествования (персональный стиль [Падучева 1996]) почти полностью превращает текст в экспликацию восприятия персонажем окружающего мира, что обуславливает возможность рассматривать текст чеховского произведения (периода 1890 – 1900-х гг.) как дискурс персонажа-отражателя¹.

¹ Обращаем внимание на сходство в широко используемом понимании дискурса и континуума, сравните соответственно: «текст, погруженный в жизнь» [Арутюнова 1990: 137] и «3. физ. Сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно» [Крысин 2000].

В этом случае выделяется целая система средств, с помощью которых сознание персонажа «обрабатывает» поступающую информацию, в том числе о собственных интеллектуальных и эмоциональных реакциях, выделяя среди них наиболее интересные факты, таким образом происходит членение «персонажного дискурса» на компоненты. В качестве операторов дискретности активно используются показатели временные, формирующие субъективное, «персонажное», время: *когда-то, уже, еще*; фиксирующие причинную неопределенность: *почему-то*; вводящие значение неожиданности, неосознанности: *вдруг* и др. Обратимся к анализу конкретного текста.

История о невесте, сбежавшей из-под венца («Невеста»), реализуется как сюжет о «пробуждающейся душе». Изменения, затрагивающие в психике аксиологическую сферу, берут начало в сфере бессознательного, проявляясь как ряд нестандартных эмоциональных реакций – это и образует континуум текста.

(1) – *Мне всё здесь как-то дико с непривычки, – продолжал он (Саша. – И.Л.). – Чёрт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы – тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.*

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

(2) *Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были всё те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но **почему-то** теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она **стала испытывать страх, беспокойство**, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тягелое.*

Внимание героини направлено на переоценку как будто бы устоявшихся представлений, причем толчок к переосмыслению дают неосознанные «движения сердца». Странность ситуации,

ранее представлявшейся Наде обычной, появление непривычных реакций на привычные факты и осознание этого нарушает нормальный ход душевной жизни героини: для нее это – исключение (событие), влекущее за собой попытку найти его причину.

(3) Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит одно и то же, как по писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Закономерно, что именно в рассказе «Невеста» отмечается чрезвычайно высокая даже для стиля Чехова частота употребления наречия «почему-то». Но показательна не только и не столько сама по себе частотность наречия со значением каузальной неопределенности, сколько его употребление. Одна из важнейших функций – концентрация внимания на психическом состоянии персонажа, маркирование с помощью «почему-то» эмоциональных и интеллектуальных реакций, имеющих особую значимость. Свидетельством этого являются факты авторской правки: изменения, внесенные на завершающем этапе, выявляют стратегию работы автора над текстом произведения.

Сравним первоначальный и окончательный варианты текста «Невесты» [Чехов 1977: 268–321], связанные с введением или отказом от использования «почему-то».

Было

Вспомнила она о том, как по утрам плачет Нина Ивановна и как от плача сводит у нее руки и ноги.

И почему-то Наде **вдруг стало досадно**, и уж она не могла понять, почему до сих пор она видела в этом плаче что-то особенное, какую-то тайну, которую постичь не могла.

(Беловой автограф)

Стало

Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

(Окончательный вариант)

Вместо досады Нади на мать и разочарования в ней как в необыкновенной личности введен весьма значимый мотив неудачного замужества.

Было

Андрей Андреич играл; все слушали молча, **и стало почему-то грустно.**

(Первый слой черного автографа)

Стало

Андрей Андреич играл; все слушали молча.

(Окончательный вариант)

Снимается эмоциональное восприятие Надей музыки, игры на скрипке ее жениха – мотив психологической совместимости Нади и Андрея Андреича (и возможной ошибки Нади), таким образом, снимается.

Было

Она засмеялась и заплакала, и легла на постель и минут пять пролежала, наслаждаясь, припоминая прошлое.

(Первый слой черного автографа)

Стало

Вечером она легла спать, укрылась, и **почему-то было смешно** лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

(Окончательный вариант)

Изменяется эмоциональная реакция Нади на возвращение домой из Петербурга: если первый вариант (черновой автограф) можно было бы трактовать как некое пристрастие к комфорту в бабушкином доме (потенциально обуславливающее мотив сожаления), то в окончательном варианте акцентируется ироничное отношение Нади к прошлому.

Таким образом, по-иному расставляя акценты, Чехов при помощи «почему-то» выделяет только те эмоциональные реакции Нади, которые обостряют основной конфликт произведения.

Рассматривая состав средств, которые могут играть особую роль маркеров дискретности текста, нельзя обойти вопрос о функциональной нагрузке глагольного вида, которая не раз попадала в поле зрения исследователей [Маслов 2004]. Континуальность и дискретность соотнесены с видом глагола, однако не о всяком факте употребления совершенного вида можно, например, говорить как о событии.

Достаточно интересную информацию дает анализ частотности и текстовых функций лексико-синтаксических моделей (ЛС-моделей), включающих контактные (соотносительные) слова – глаголы, различные по виду.

Проанализировав частоту употребления ЛС-моделей с контактным словом глаголом в произведениях А.П. Чехова позднего периода творчества, получаем следующие результаты: модели с глаголами совершенного вида употребляются реже моделей с глаголами несовершенного вида более чем в два раза.

Остановимся подробнее на использовании ЛС-моделей в рассказе «Невеста». В приведенной ниже таблице дана полная выборка ЛС-моделей с глагольным контактным словом (точнее, их вариаций и вариантов)¹ с сохранением порядка следования в тексте произведения.

Общее число моделей указанного типа в тексте – 32, из них с глаголом совершенного вида – только 10 (т.е. 31%), при этом половина ЛС-моделей с контактным словом глаголом совершенного вида встречается в прямой и косвенной речи персонажей: [дал слово], (что...); [покажите], (что...) – Саши; [упрекнул в том], (что...) –

¹ Лексико-синтаксическая модель (ЛС-модель) – понятие, впервые введенное в «Лексико-синтаксическом словаре русского языка», отражающем основной состав данных единиц в современном русском языке [Ильенко, Левина 2007]. Она понимается как абстрактный минимальный образец СПП, представляющий бинарную структуру нерасчлененного типа, в главной части которой получает экспликацию лексический компонент (контактное, или соотносительное, слово), предопределяющий своим значением наличие придаточной части и связь с нею определенным грамматическим компонентом (союзом), а также включающий другие необходимые и достаточные конструктивные признаки: [УЗНАТЬ1], (ЧТО...); [УЗНАВАТЬ1], (ЧТО...); [КАЗАТЬСЯ_{зс/п}], (ЧТО...). Как и другие абстракции подобного типа, ЛС-модель допускает варьирование, в связи с этим строится в виду соотношение *инвариант / вариант / вариация* ЛС-модели: *вариант* – конситуативно не обусловленная, не нарушающая тождества модели ее модификация, возникающая в результате а) введения дополнительного служебного компонента или б) замещения компонента модели его функциональным аналогом и иногда сопровождающаяся изменением ее стилистической окраски, например [УЗНАТЬ1 О ТОМ], (ЧТО...); *вариация* – формальная разновидность репрезентации модели, обусловленная парадигматическими потенциями контактного слова, сопровождающаяся определенным системным видоизменением содержания предложения, типа [узнал1], (что...); [узнали1], (что...); [кажется], (что...); [казалось], (что...) (см. [Левина 2008: 58 – 59]).

ЛС-модель (вариация)	Контактное слово: сов./несов. в.
хотелось думать, что	○
казалось, что	○
говорили, что	○
знала, что	○
– утверждать, что	○
молилась, чтобы	○
– сознаться, что	●
– должен прибавить, что	●
почувствовала, что	●
приходило на мысль, что	○
– покажите, что	●
хотела сказать, что	●
казалось, что	○
вспомнила, что	●
дал слово	●
имели в виду, что	○
– упрекнул в том, что	●
думая о том, что понять, шутит или говорит серьезно	○ ●
чуялось, что	○
жаловалась, что	○
ожидая, что	○
ей казалось	○
казалось, что, что, что	○
вспомнила, что	●
– говорила, что	○
– хочу, чтобы	○
чувствовали, что	○
ей казалось, что	○
писал, что, но что	○
сообщалось, что	○
сознавала, что, что и что	○

Условные обозначения: ● – сов.в.; ○ – несов.в.; — – в прямой речи.

Андрея Андреича; [сознаться], (что) – Нины Ивановны; [должен прибавить], (что...) – о. Андрея. Они реализуют типичную для изъяснительной конструкции функцию и не представляют особого интереса для анализа. Однако текстовая нагрузка остальных 5 моделей (это 16% от общего количества) весьма примечательна. Они употребляются в «авторском повествовании», репрезентирующем «план персонажа», а именно: передают позицию главного персонажа, с чьей точки зрения ведется повествование (персонажа-отражателя), Нади Шуминой. Так же, как при использовании неопределенных местоименных слов с семантикой причины, здесь выявляются закономерности. ЛС-модели становятся средством введения только определенных ситуаций. Так, в «Невесте» обращение к ЛС-моделям с глаголами совершенного вида устанавливает характерные связи, оформляя весьма значимые для идиостиля Чехова (см., например: [Баханек 2005; Журавлева 2005]) феномены памяти (фрагменты 4, 5, 6) и понимания (фрагменты 7, 8).

Выделяемые ситуации (4) и (5) формируют контраст. Сравним:

(4) *Надя **почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять.** Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.*

(5) – *Поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать и ваша бабушка ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь; а разве это чисто, не грязно?*

*Надя хотела сказать: «да, это правда»; **хотела сказать, что она понимает;** но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.*

Действительно, контраст возникает на основе лексического наполнения и за счет лексического повтора в придаточных предложениях, с одной стороны, и использования отрицания, с другой стороны: *не понимает – понимает*. Своеобразное, «промежуточное», положение в смысловом отношении для текста занимает следующий фрагмент, где используется вариация модели [ПО-НЯТЬ], (...ЛИ):

(6) – *Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здравье, – сказал он (отец Андрей. – И.Л.) бабушке, и трудно было **понять, шутит он это или говорит серьезно.***

Контраст возникает на основе соположения смысла придаточных, когда используется одна и та же модель [ВСПОМНИТЬ], (ЧТО...), и в следующем случае.

(7) Она (Надя. – И.Л.) сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... **Вспомнила** она почему-то, **что** ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

(8) Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она **вспомнила**, **что** она едет на волю, едет учиться, а это всё равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

Формированию контраста способствуют, прежде всего, антонимические связи лексем *зависимость – воля* (ср. также: *несчастный – радость перехватила дыхание*). Поддерживает и усиливает контраст введение негативной оценки последствий замужества Нины Ивановны (в надиной интерпретации): *не любила – не имела – несчастная*. При этом текстовые связи (ср.: *Для нее (Нади. – И.Л.) уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреевича или, может быть, не любила его никогда...*) позволяют читателю прогнозировать последствий свадьбы Нади: она может повторить судьбу матери. Подобным образом реперзентированные ситуации фрагментов (7) и (8) занимают особое место в развитии сюжета: для персонажа они выводятся на уровень события.

Таким образом, репрезентирующие дискурс персонажа отражателя ЛС-модели с контактным словом глаголом совершенного вида входят в систему маркеров, предназначенных для вычленения ситуаций-событий из ряда стационарных ситуаций, актуализируя тем самым значимое для чеховской поэтики 1890–1900-х годов противопоставление **бытие (повседневность) – событие**.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории. Принципы и аспекты анализа. М., Екатеринбург, 2004.

Баханек С.Н. Феномен понимания в творчестве А.П.Чехова конца 1870-х – первой половины 1890-х годов. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2005.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

Демьянков В.З. Событие в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. АН СССР. СЛЯ. 1983. № 4.

Журавлева А.А. Феномен памяти в художественном творчестве А.П.Чехова. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.

Ильенко С.Г., Левина И.Н. Лексико-синтаксический словарь русского языка: Модели сложноподчиненного предложения. СПб., 2007.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2000.

Левина И.Н. Словарное описание сложноподчиненного изъяснительного предложения: лексикографические решения // Сложноподчиненное предложение в лексикографическом аспекте. СПб., 2008.

Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.

Маслов Ю.С. Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. М, 2004.

Николаева Т. М. “Событие” как категория текста и его грамматические характеристики // Структура текста. М., 1980.

Падучева Е. В. Семантика нарратива // Падучева Е. В. Семантические исследования. М., 1996.

Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

Шабес В.Я. Событие и текст. М., 1989.

ИСТОЧНИКИ

Чехов А.П. Полное собр. соч.: в 30-ти т. Сочинения в 18-ти т. Письма в 12-ти т. М., 1974 – 1983. Т.10. М., 1977.

Чехов А.П. Варианты. Невеста: Первая редакция (подготовка текста Л.Д. Опульской) // Полное собр. соч.: в 30-ти т. Сочинения в 18-ти т. Письма в 12-ти т. М., 1974 – 1983. Т.10. М., 1977.

Опульская Л.Д., Чудаков А.П. Примечания. Невеста // Чехов А.П. Варианты. Невеста: Первая редакция (подготовка текста Л.Д. Опульской) // Полное собр. соч.: в 30-ти т. Сочинения в 18-ти т. Письма в 12-ти т. М., 1974 – 1983. Т.10. М., 1977.

УДК 81'38

Н. А. Мишанкина

Томск

РОЛЬ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТА НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ

Метафорическая концептуализация рассматривается в работе с точки зрения ее значимости в формировании представления объекта научного описания. Она осмысливается как базовый гносеологический механизм, с опорой на который осуществляется научное познание.

Сфера научной деятельности, как особая сфера жизни человеческого духа, всегда осознавалась людьми в качестве специфической области, связанной с познанием, от которого напрямую зависит успешность развития человеческого социума. Метанаучная рефлексия лежит в основе современной философии и методологии как отдельных научных областей, так и всей науки в целом.

Научное, познавательное мышление изначально метафорически осмыслялось как действие, вносящее дискретность в континуальность бытия, разделяющее это бытие на познанное, понятое, освоенное и неизвестное. Этот способ действия отражается во внутренних формах глаголов интеллектуальной деятельности ср.: лат. *intellegō* (воспринимаю, познаю, мыслю) от *inter+legō* (собираю); рус. разбираться. В современном научном тексте для моделирования способов научного действия активно привлекаются глаголы деконструирования. Процесс анализа тесно связан с представлением деконструкции объекта:

разделение, вычленение, выделение; Разбор каждой очередной гипотезы... и т.п.

Но научное познание, во-первых, формируется на базе общегносеологических механизмов мышления и, во-вторых, имеет целью не только «разобрать» объект изучения, но и «собрать» снова, представить его научную, «истинную» модель, некоторую целостность, обладающую рядом значимых признаков.

Одним из базовых механизмов моделирования в науке и гносеологии вообще выступает аналогия, лежащая в основе метафорической концептуализации. Эту черту познавательной деятельности человека отмечают многие исследователи. К. Леви-Стросс, описывая значимые черты тотемного мышления, отмечает: «Неприрученное мышление углубляет свое познание с помощью *imagines mundi* (образов мира). Оно конструирует ментальные сооружения, облегчающие ему постижение мира, если только они ему подобны. В этом смысле его можно определить как аналогическое мышление...» [Леви-Стросс 1994: 321]. При этом автор уточняет, что оно «...является логическим – в том же смысле и таким же образом, как и наше: каким выступает наше, когда применяется к познанию универсума, в котором оно признает одновременно и физические, и семантические качества... это мышление действует на путях рассудка, а не аффективности, с помощью различений и оппозиций, а не через смешение и сопричастие» [Леви-Стросс 1994: 325].

С.С. Гусев в качестве основного признака, объединяющего мифологическое и собственно научное мышление, также определяет наглядный характер познавательной деятельности, характерный для мифологического этапа развития. Выделение первичных дихотомий, таких как верх – низ, свет – тьма, внешнее – внутреннее и пр., связано с физическими аспектами мира и субъективным интересом познающего сознания. Автор отмечает, что «антропоцентризм данного периода проявлялся в стремлении описывать физический мир как объект, на который обращено внимание человека. Например, система оптических воззрений Евклида излагалась в виде способов видения человеком отдаленных предметов» [Гусев 1984: 59].

Аналоговый способ мышления, на основе которого выстраиваются первичные модели реальности, представляет собой гносеологический механизм, актуальный для человеческого мышления как такового. С.С. Гусев отмечает: «Всевозможные варианты отождествления различных аспектов человеческой природы с объективным миром могут рассматриваться как первый достаточно универсальный способ описания действительности, сложившийся в рамках мифологического подхода, но продолжавший функционировать и после разложения первобытной формации» [Гусев 1984: 68].

Проблема привлечения метафорической концептуализации в научной деятельности достаточно актуальна в последнее время, и исследования, проводимые в различных научных сферах, позволяют говорить о том, что данный вид концептуализации является едва ли не базовым в научном познании. Об этом свидетельствует значительное количество работ, приведем некоторые из них: А.Е. Седов «Метафоры в генетике», Ю.И. Манин «Математика как метафора», И.А. Шмерлина «Биологическая метафора в социологии», А.П. Дьяченко «Метафоры в медицине», Ф. Анкерсмит «Нарративная логика. Семантический анализ языка историков» и мн.др.

Понятие метафоры в таких работах значительно трансформируется по отношению к традиционному и основано на когнитивной теории концептуальной метафоры. В рамках когнитивной концепции метафора представлена не только и не столько как языковой феномен, но в первую очередь как феномен когнитивный, психический. Наличие метафорических выражений в языке – это следствие существования метафорических моделей в психической сфере человека [Лакофф, Джонсон 2004: 89]. Концептуальная метафора – это базовая ментальная модель, основанная на аналогии и позволяющая осмысливать объекты (явления, сущности) на основе знаний о других объектах (явлениях, сущностях) и получающая выражение в языке, дискурсе, тексте в виде целостной системы метафорических выражений. Подобная модель получает широкие возможности языковой реализации: от традиционного лексико-семантического вари-

рования до модели, участвующей в выстраивании целостного текста либо дискурса.

Эвристичность и информационная емкость напрямую связаны с особой спецификой метафорического моделирования, включающей следующие аспекты.

Во-первых, это свойственное именно для механизма метафоризации сочетание двух принципиально отличных друг от друга способов осмысления мира: дискурсивно-логического и лингво-мифологического [Кассирер 1990: 38]. При метафоризации поиск нужного образа в уже имеющемся опыте происходит на интуитивной основе, бессознательным образом, но его «разработка» и адаптация к представлению модели объекта – уже на логической.

Во-вторых, метафорическое именование всегда предполагает выбор единицы, представляющей признак, значимый для отображения свойств объекта, но при этом ассоциативные связи выстраивают образ целостной ситуации. Метафорическая модель входит в текст посредством ограниченного количества репрезентантов, включая в себя в свернутом виде потенциально бесконечное количество компонентов. Метафорическая модель, будучи одновременно емкой и компактной, легко занимает позицию интертекстуального компонента. При этом происходит ее переупорядочивание, позитивная переработка, актуализация незадействованных компонентов.

Еще одно, третье, важное свойство, органично вытекающее из вышеназванных, – интеракциональность метафорической модели. Эвристичность метафорической модели напрямую связана с гештальтно-фреймовой ее организацией. Фрейм, репрезентантами которого и выступают языковые единицы, создает схему, каркас образа, объединяющий коммуникантов, гештальт же является индивидуальным «наполнителем» данной схемы. Таким образом, метафорическая модель варьируется для автора и читателя текста и зависит от фоновых знаний коммуникантов, актуализируя сходные, но не идентичные когнитивные структуры.

Дж. Лакофф и М. Джонсон [Лакофф, Джонсон 2004] предлагают типологию концептуальных метафор, разделяя все концеп-

туальные метафоры на три основных типа: структурные, ориентационные и онтологические. Основой для подобной типологии выступают, во-первых, тип когнитивной модели, стоящей за языковым выражением, во-вторых, способ выражения метафоры. Этот подход позволяет выявить метафорические модели разного уровня концептуализации и значительно расширить спектр языковых средств, служащих для репрезентации метафорической модели. Наиболее очевидными, по мнению авторов, являются *структурные метафоры*, так как они позволяют увидеть проецирование структуры одной концептуальной области в другую, как правило, не имеющую формального выражения. Эти метафоры реализуются в полисемии и целостных метафорических контекстах, спектр подобных метафор очень широк, он соотносим с количеством концептуальных пространств и подпространств и объектов.

Ориентационные метафоры имеют более универсальный характер, так как соотносятся в первую очередь с телом человека и его ориентацией в физическом пространстве. В данном случае актуальным является понятие физической нормы: концептуализируются нормальные и ненормальные положения тела человека и его движение. Наиболее глубинные слои концептуализации связываются с *онтологическими* метафорами, спектр которых ограничен и соотносим с кинестетическими образ-схемами, формируемыми на ранних этапах развития человеческого существа. Именно онтологические метафоры труднее всего рефлексировать носителями языка, так как часто получают выражение посредством грамматической формализации. В качестве примера авторы приводят наиболее распространенные в европейской культуре модели ОБЪЕКТ (ПРЕДМЕТ), SUBSTANCE (ВЕЩЕСТВО), CONTAINER (ВМЕСТИЛИЩЕ), которые выступают базой для осмысления множества областей. Например, понятие времени традиционно осмысливается в европейской культуре как ОБЪЕКТ, что позволяет именовать данную категорию посредством имен существительных, причем этот вид объектов может быть множественным и даже выступать по отношению друг к другу как CONTAINER.

Зачастую метафорическая модель представляет собой сложный конструкт, объединяющий несколько типов моделей. Например, если обратиться к метафорической модели «генеалогическая классификация языков», то мы видим структурную метафору, в которой типология языков уподобляется типологии биологических видов (а), но использование подобной модели возможно только на основе более глубинной, в которой языки уподобляются живым существам, рожденным другими живыми существами подобного вида (б). Но и эта метафора возможна только при допущении того, что язык – это объект, обладающий материальным бытованием в пространстве, наряду с другими объектами (в).

Анализ различного рода научных текстов показывает, что научная концептуализация, моделирование объекта научного описания всегда осуществляется на базе общезыковой и общегносеологической концептуализации. В качестве исходного материала для формирования нового знания субъект научной деятельности использует не только собственно научную информацию, но и все фоновые знания, весь опыт концептуализации мира. Научная метафора, таким образом, создается с привлечением общезыковых, общекультурных моделей как на уровне моделирования научной деятельности, так и на уровне моделирования научного объекта. При этом зачастую осуществляется трансформация используемых моделей для реализации собственного авторского видения научного объекта.

Для аргументации этого положения рассмотрим значимые для лингвистики XX века структуры, где, с нашей точки зрения, происходит трансформация, основанная на появлении нового способа моделирования реальности.

Частотной как для языка, так и для научного дискурса является метафора **картины**.

Существует известная архетипическая языковая и концептуальная метафора **театра**, которая является развитием более древней метафорической модели **игра**. Театральная метафора (метафора игры) и метафора картины связаны с традиционными способами моделирования реальности и уже давно осмысляются как динамическая и статическая модели мира, соотносясь с двумя

вторичными моделирующими системами: ритуалом и изображением.

В работе З.И. Резановой [Резанова 2007] рассматриваются ключевые модели *игры*, определившие представление языка в современной лингвистике. Автор убедительно доказывает, что научная метафора стоит на прочном основании концептуальной метафоры, лежащей в основании осмысления мира в пределах данного языка и данной культуры, и метафорическая модель переживает трансформацию в рамках различных концепций.

Вариант игровой метафоры, а именно **театральная** метафора, как и метафора **картины**, выступает как одна из наиболее частотных в лингвистическом тексте. Приведем метафорические контексты из работ А.А. Потебни: *Известно, что в нашей речи тон играет очень важную роль и нередко изменяет ее смысл; мой взгляд сохранится неизменным в составляемом мною общем образе картины.*

С появлением такой новой формы пересоздания реальности, как кинематограф, начинается трансформация этих метафорических моделей. Р.О. Якобсон, рассматривая семиотику кинематографа, говорит о сходстве видения мира кинематографом и языком: *Об одном и том же человеке мы можем сказать, что он «горбун», «носатый» или «носатый горбун». Во всех трех случаях объект нашей речи один и тот же, тогда как знаки различны. Подобным же образом, в фильме мы можем снять этого человека со спины – тогда мы увидим его горб, затем анфас – и мы увидим его нос, наконец, в профиль, тогда мы увидим и то и другое. Теперь стоит продемонстрировать синекдохическую природу языка, сославшись на нашего уродца как на просто «горбуна» или «носатого». Терминология сценария с его «кадрами средней длины», «крупными планами», «полукрупными планами» довольно познавательна в этом отношении. Кино имеет дело с многочисленными фрагментами объектов, различающихся по величине, а также с фрагментами времени и пространства, различающимися подобным же образом. Кино изменяет их пропорции и противопоставляет их на основании смежности, сходства, или контраста; т.е. кино выбирает либо метони-*

мию, либо метафору (два основных вида кинематографической структуры).

Таким образом, кинематограф совмещает в себе два вида пересоздания реальности, трансформируя их: метафорическая модель «картины» преобразуется в метафору «кадр».

Новая модель начинает свое функционирование в работах лингвистов, не всегда выступая в качестве ключевой. Например: *Падающего человека можно изобразить на фотографии так, чтобы казалось, будто он летит. Вне зависимости от данного снимка человек все же падает. Язык можно тоже описать «остановленным», но реально существует он только в движении. Синхронию и диахронию следует уподоблять не моментальному снимку, а кинолентке, на которой можно запечатлеть и покой, и движение* (Е.С. Кубрякова). Или, например, можно в качестве иллюстрации привести название одной из работ Ю.С. Степанова: *Субъектность или эгоцентризм французского*. Так как кинематограф выступил ареной, где две модели соединились, появляется новая понятийная область, выступающая в качестве источника для метафорических моделей новых направлений лингвистики: *фрейм, рамка, сценарий (сценарный фрейм), попласть в фокус*.

Наиболее показательна парадигмальность этой метафорической модели представлена в работе В.З. Демьянкова «Семантические *роли и образы* языка». Метафорическая концептуализация проявляется уже в заглавии работы.

Автор активно прибегает к «театральной» метафоре на протяжении всего текста:

В предложении слова играют каждое свою синтаксическую роль: подлежащего (субъекта), сказуемого (предиката), дополнения, определения и т.п...; Например, исполняя роль хранилища, язык может быть не только в своем типовом падеже, но и в именительном падеже; В русском предложении лингвистический язык играет одну из четырех главных семантических ролей: агенса, хранилища, инструмента-объекта (роли инструмента и объекта трудно разграничить в исполнении слова язык) и сцены; Наконец, роли хранилища

и сцены только условно можно назвать ролями: в театральном смысле их скорее можно отнести к реквизитам и/или к декорации; Артисту почетнее и приятнее выступать на сцене столичного театра, чем на захолустных подмостках, то же верно и для языка-сцены; Новое именование как первый выход на сцену.

Как можно убедиться, театральный мир как исходная сфера концептуализации представлен в тексте самыми различными репрезентантами: *играть роль, исполнять роль, главная роль, сцена, реквизит, декорация, выступать на сцене, столичный театр, выход на сцену* и т.п.

Итак, первоначально автор прибегает к театральной метафоре, постепенно уточняя и корректируя ее введением метафоры картины: *Например, когда говорят, что концепт, выражаемый некоторым словом в предложении, «играет» семантическую роль агенса, имеют в виду, что в картине, входящей в смысл всего предложения, в данном месте (в данной «прорези») видится действующее одушевленное существо... Иначе говоря, для картины находится фрейм, в котором данный концепт соответствует заполнителю определенной «прорези» (слота). Продолжает роль хранилища картина, обыгранная в следующем предложении...*

Одновременно исследователь модифицирует метафору картины, уточняя, что у картины есть рама – фрейм. А концепт – один из сюжетных образов данного изображения. Вместе с тем в контексте актуализируется метафора «прорези» – окна в другой мир, мир в котором объекты не статичны, – и можно наблюдать события в их динамике. С другой стороны, определенный событийный ряд и его стандартные участники (своего рода сериал) тоже позволяют отождествить фрейм: *Фреймы идентифицируются как наборы ролей, или прорезей, репрезентирующие ситуации.*

Кинематографическая метафора поддерживается в тексте за счет актуализации деталей исходной понятийной области. В частности, в качестве опорного может выступить такой признак, как «амплуа актера»: *В одних ролях лексема более органична, чем в других: многое зависит от ее природного «амплуа».*

Указывая на различие подходов в понимании языка, автор опять актуализирует кинематографическую метафору, акцентируя внимание на разных аспектах: для лексикографического подхода более важен признак «роль в фильме», а для философского – «свойства актера»: *Лексикографу наиболее интересно узнать, какие роли и в каких фреймах играет слово язык. Философ же стремится выяснить, каков сам по себе тот «актер», которого мы воспринимаем как более или менее удачного исполнителя ролей, лишь догадываясь о том, с каким трудом (или, наоборот, с какой легкостью) этому исполнителю даются все эти роли.*

Таким образом, мы можем подвести некоторые итоги. Научный дискурс, как поле гносеологической деятельности, направлен на анализ континуума, из которого он вычленяет объект как набор дискретных признаков. Но в то же время презентация этого объекта, как правило, осуществляется в виде целостной модели. Одним из наиболее частотных и базовых средств создания таких моделей выступает метафора – ведущий гносеологический механизм. Метафорическое моделирование в науке осуществляется на базе общеязыковых метафорических моделей, и при формировании нового видения объекта научного описания происходит их трансформация. Использование метафорических моделей позволяет говорить о более глубоком междискурсивном взаимодействии, включающем, с одной стороны, как осознание четкой дифференциации дискурсивных областей, с другой – осознание синтетичности мира как внешнего, так и внутреннего, единства мира в его многообразии. Именно поэтому для понимания языка, языкового взаимодействия привлекаются такие разнообразные и подчас парадоксальные модели.

ЛИТЕРАТУРА

- Гусев. С.С. Наука и метафора. Ленинград, 1984.
Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990.
Лакофф Д. Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004.
Левин-Строс К. Первобытное мышление М., 1994.
Резанова З.И. Метафора в лингвистическом тексте: типы функционирования // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 1. 2007.

**ВАРИАНТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ИСХОДНОГО ТЕКСТА
В СОЧИНЕНИЯХ ЕГЭ
(в аспекте проблемы языковой способности)¹**

В статье анализируются вторичные тексты школьников, созданные на основе одного источника. Автор показывает, что выделение информантами из континуума исходного текста неодинаковых формальных и смысловых компонентов делает возможными типологические построения в проблемном поле лингвоперсонологии.

Тот факт, что интерес современной отечественной лингвистики к вторичному тексту совпадает по времени и по персоналиям с подъемом лингвоперсонологии, далеко не случаен. Среди приемов описания и типологии языковых личностей – сопоставление порожденных ими вторичных текстов, производных от одного и того же исходного. По-разному реагируя на один текстовый стимул, языковые личности обнаруживают когнитивно-речевые несовпадения системного характера.

Трактуя языковую личность в аспекте ее способности к речевой деятельности, исследователи акцентируют внимание на понятии языковой способности: языковая личность – это «языковая способность определенного типового качества, данная ей (личности. – Н.О.) изначально и впоследствии развиваемая» [Голев 2004]. В свою очередь, языковая способность понимается как реальный психо-физиолого-социальный феномен, механизм пользования языком для решения коммуникативных задач, многокомпонентная функциональная система, компоненты которой включают в себя специфические правила прескрипторного типа (см. обзор в диссертации [Прокудина 2009]).

Изучение языковых способностей личности на материале вторичных текстов целесообразно осуществлять с опорой на понятие дискретизации исходного текста. Предполагаем, что варианты

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФНФ 09-04-00185а.

дискретизации, обусловленные «языковой способностью определенного типового качества», релевантны для создания типологии языковых личностей. Параметры для сопоставления вторичных текстов в этом случае могут быть представлены в виде привативных оппозиций («есть – нет», «выделено – не выделено»). Достоинство методики, основанной на анализе единиц и компонентов, которые выделены автором вторичного текста из исходного, – возможность формализовать процедуру описания.

Конкретизируем проблемную ситуацию применительно к анализу выпускных сочинений на основе исходного художественного текста. Художественный текст – одновременно системное (а значит, дискретное) и целостное (следовательно, континуальное) образование [Тюпа 2006: 16]. Воспринимающие текст субъекты выделяют в его континууме различные формальные и смысловые компоненты. При этом *актуализируются некоторые единицы, компоненты, связи, отношения и игнорируются другие, а также устанавливаются отсутствующие в исходном тексте. Данные процессы и их результаты являются различными вариантами дискретизации исходного текста.* Гипотетически выпускник школы должен проявить себя во вторичном тексте двояко. С одной стороны, перед нами языковая личность, определяемая по социальным признакам «возраст» и «образование» и сформированная в известных социокультурных условиях. С другой – личность, определяемая комплексом психофизиологических характеристик. Следовательно, можно прогнозировать как общие (или, по крайней мере, характерные) свойства метаязыкового сознания семнадцатилетних информантов, так и несовпадающие, но поддающиеся типологизации. Исследователь, как и его информанты, дискретизирует текст (только уже вторичный), что-то «замечая» в нем, что-то, напротив, считая несущественным. Отсюда осознание того, что предлагаемые наблюдения и выводы являются результатом моделирующей деятельности лингвиста.

Компоненты языковой способности и обусловленные ими варианты дискретизации исходного текста выявлялись на материале сочинений на основе фрагмента из романа А.И. Куприна «Юнкера» (всего 40 текстов, проверенных экспертами). Мы по-

пытались ответить на вопрос, коррелируют ли данные варианты с качеством вторичного текста в целом, которое с долей условности определялось по баллу за сочинение. Были сделаны наблюдения над компонентами языковой способности, которые детерминированы ее социокультурной составляющей.

В ходе моделирования учитывались следующие факторы.

1. Уже введенные в научный оборот основания типологии языковых способностей: ориентация на содержание либо форму исходного текста, механистическое (формальное) либо осмысленное прочтение исходного текста, «культуренный» либо «природный» характер вторичного текста, степень отвлечения от исходного текста и т.д. [Сайкова 2009: 260 – 262; Прокудина 2009]. Выделенные учеными основания типологии языковых способностей имеют, по-видимому, универсальный или почти универсальный характер.

2. Специфика исходного текста, в данном случае художественного: значимость (содержательность) формальных компонентов текста, способность пробуждать эмоциональную рефлексию читателя, условность художественного мира.

3. Жанр вторичного текста и коммуникативно-прагматическая ситуация, в которой он продуцировался. Между исходным художественным и вторичным текстами находится ориентирующий текст вспомогательного характера – формулировка заданий части «С». Он ориентирует пишущего сочинение на осмысление содержательной стороны исходного текста – формулировку проблемы, аргументированную рациональную оценку позиции автора; предписывает выход за пределы исходного текста, предостерегает от воспроизведения исходного текста в значительном объеме и т.д.

Последние два фактора, которые гипотетически должны так или иначе проявить себя во вторичных текстах, находятся в отношениях противоречия: задания ЕГЭ «уводят» авторов вторичного текста от восприятия имманентных компонентов первичного (художественного) текста и отражения их в сочинении. В целом между проявлением языковых способностей, типом исходного и типом вторичного текста существуют сложные и разнонаправленные отношения.

I. Выделение из континуума исходного художественного текста единиц и компонентов формы

Случаями дискретизации формы исходного текста являются:

(1) Включение в сочинение слова или словосочетания исходного текста в качестве объекта метаязыковой рефлексии.

Метаязыковая рефлексия является в данном случае признаком, с наибольшей очевидностью диагностирующим не только наличие «чувства слова», но и «семасиологическую стратегию метатекстовой деятельности» [Сайкова 2009]. Как речевой маркер внимания к форме рассматривались кавычки. Разграничены сочинения, авторы которых создают ситуацию, предполагающую – объективно или субъективно – метаязыковое реагирование на слово или словосочетание (50%), и остальные сочинения (50%). Средний балл сочинений, в которых кавычки употребляются корректно во всех случаях или в части случаев – 11,4, в то время как средний балл всех сочинений – 7,9. Таким образом, чувство языка (в данном случае наличие адекватной рефлексии по поводу слова, понимание того, что оно может использоваться разными субъектами по-разному, с разными целями) соотносится с другими коммуникативно-когнитивными «плюсами» языковой личности.

(2) Фиксация и вычленение такого компонента исходного текста, как стиль, слог, манера письма.

Маркеры обращения к художественной форме – *избрал совершенно верный стиль и слог для отражения внутреннего мира персонажа; автору как нельзя лучше удалось показать...* Маркированными по данному признаку оказались 7,5 % сочинений, немаркированными – 92,5 % сочинений. Все авторы сочинений первой группы корректно «закавычивали» слова и выражения исходного текста (см. выше), что подтверждает внимание данных информантов к форме речи как характеристике одного из компонентов их языковой способности. Отметим, однако, что художественный стиль, будучи компонентом исходного текста, ни в одном из вторичных текстов не создает эффекта стилистического заражения: они написаны квазинаучным стилем либо в манере, сочетающей элементы квазинаучного стиля с официально-деловым и публицистическим. Практически не выражена и эсте-

тизированная эмоция – адекватная форма реагирования на художественный текст (единственное исключение – *очень интересно описывает*).

Таким образом, форма (художественная) оказывается неактуальной для абсолютного большинства исследуемых языковых личностей. Предполагаем, что информационная доминанта современного коммуникативного пространства формирует языковую личность, ориентированную на «что сказано», а не на «как сказано». Если внимание к форме все же проявляется, следует говорить о ярко выраженной способности, «данной изначально».

(3) Воспроизведение речевых структур исходного текста.

Перенесение во вторичный текст слов и выражений в тех же грамматических формах, в которых они употреблены в тексте-источнике, копирование речевых единиц без учета их роли, позиции, функциональной нагрузки в структуре исходного текста указывает на неосмысленное прочтение последнего. Неоправданное выдвигание единиц и компонентов формы исходного текста выявляет несформированность у авторов сочинений необходимых когнитивных структур, отсутствие энциклопедических и культурных знаний, позволяющих понять исходный текст. Фактор, обуславливающий данный вариант дискретизации исходного текста, – ментальные основания языковой способности. См. отклики на следующий эпизод:

Вечером сторож постучался в дверь карцера.

— Вам, господин юнкер, книжку принесли.

Эта книга, сильно потрепанная, была совершенно незнакома Александрову.

«Казаки». Сочинение графа Толстого – стояло на обложке.

<...>.

Что же это такое? – шептал он, потрясенный и очарованный... Господи, что же это за великое чудо? Обыкновенный человек, да еще и с титулом графа...

Из тех школьников, кто прокомментировал данный эпизод, 58% повторили выражение из текста: *сочинение (книга) графа Толстого «Казаки», сочинение (книга) графа Толстого, граф Толстой, обыкновенный человек*. Копирование исходного текста

в данном случае означает, что авторы не улавливают тот смысл, который воспринимают «просвещенные читатели». По контексту некоторых сочинений понятно, что их авторам так же, как герою Куприна юнкеру Александрову, незнакомо прецедентное сегодня произведение, а *«граф Толстой»* не идентифицируется с гениальным писателем. Средний балл этих сочинений – 6,8.

II. Варианты дискретизации содержания исходного художественного текста

(0) Наличие лексических единиц *«проблема»*, *«позиция»*, *«согласен – не согласен»*, членов лексико-семантической группы *«аргументировать»*, а также определенное расположение данной лексики в тексте сочинения отражают реакцию не столько на содержание исходного текста, сколько на коммуникативно-прагматическую ситуацию, сформированную текстом-заданием. По сути, дискретизируется именно он, а не художественный текст. Об этом свидетельствует факт некорректности употребления слов *«проблема»* и *«позиция»* в значительной части высказываний, высвечивающий искусственность их введения во вторичный текст, и то, что порядок предъявления данных лексем в сочинении изоморфен структуре текста-задания. Речь идет о маркерах такого свойства сочинений, как *«окультуренность»* (в данном случае понимаемого как результат научения, следование алгоритму). Немаркированным членом оппозиции в этом случае является *«природность»*, которая моделируется как шкала с более или менее существенными отступлениями от схемы (отсутствие вербализации некоторых *«протокольных»* слов, использование косвенных обозначений компонентов схемы, перестановка структурно-смысловых блоков и т.д.). *«Окультуренные тексты»* составляют 22,5 %, *«природные»* тексты разной степени – соответственно 77,5% (из них без всякой опоры на алгоритм – 30%). Анализ сочинений показал, что признаки *«природность»* – *«окультуренность»* слабо связаны с качественными характеристиками языковой личности пишущих. Как высокие, так и низкие баллы получали сочинения в каждой из групп. Одни в разных ситуациях действуют *«как учили»*, ориентируются на нормы, образцы и делают это хорошо или плохо; другие (которых тоже учили) в разных ситуа-

циях, с теми же результатами проявляют индивидуальное начало, «свой почерк».

Следующие параметры характеризуют варианты дискретизации исходного текста:

(1) Вычленение фактуальной информации.

Маркеры – пересказ эпизодов и комментарии к ним. Данный вариант дискретизации преобладает в 50 % текстов. Примеры: *По училищу пронеслась слава о местном писателе; Поместил «местную знаменитость» в карцер для профилактики, чтобы не зазнавался; И капитан у него спросил: за что были арестованы?; Он специально дал приказ принести Александрову книгу.* Средний балл сочинений – 8,75.

(2) Вычленение концептуальной информации.

Маркеры – общие суждения, сентенции, абстрактная лексика. Данный вариант дискретизации преобладает в 30% текстов. Примеры: *Критика самого себя должна присутствовать, но не должна останавливать; Свои шишки каждый набивает сам; Дисциплина превыше всего; За все нужно платить; Хорошо, когда рядом есть человек, готовый в любой момент прийти на помощь, подсказать, как нужно вести себя в той или иной ситуации; Ведь если заниматься любимым делом, то можно не только получать от этого удовольствие, но и приносить пользу обществу.* Средний балл этих сочинений – 5,8.

Прокомментируем (1) и (2). В каждом вторичном тексте в той или иной степени присутствовало оба вида информации. Преобладание того либо другого варианта дискретизации определялось по соотношению текстовых пространств, занимаемых в сочинении пересказом и комментарием (1), сентенциями и оценочно-интерпретирующими суждениями – (2). Поскольку в данном случае в тексте А.И. Куприна концептуальная информация эксплицитно не выражена, вариант (2) означает большую степень отвлечения от исходного текста.

В 20% сочинений (их средний балл – 9,25) фактуальная и концептуальная информация уравнивают друг друга. Закономерно, что они оценены несколько выше других: такая смысловая композиция отвечает заданиям, а значит, горизонту ожиданий

проверяющих. Низкий балл в случае (2) объясняется тем, что авторы не справляются с задачей адекватной интерпретации смысла исходного текста. Состояние речевой и когнитивной компетенции школьников не позволяет им рефлексировать качественно. В целом же полагаем, что варианты дискретизации (1) и (2) не связаны с качественно-оценочными характеристиками языковой личности: те, кто в метатекстовой деятельности тяготеет к отвлечению от исходного текста, сильнее выглядят в одних видах этой деятельности, те же, кто не отдаляется от первоисточника, – в других.

(3) Вычленение подтекстовой информации.

Восприятие подтекстовой информации исходного художественного текста зависит от многих факторов, в том числе жизненного и читательского опыта, начитанности, общего кругозора и т.д. Формализовать признаки, по которым опознается данный тип восприятия, достаточно сложно. Выше было сказано о копировании фрагмента „*«Казачи»*. *Сочинение графа Толстого*” как свидетельстве механистического прочтения эпизода. Те, кто заменил выражения из исходного текста номинациями *Л.Н. Толстой, гениальный (замечательный) русский писатель*, уловили именно подтекст: они посмотрели на название книги не глазами героя-юнкера, а глазами «понимающего» читателя следующих поколений. Относительно высокий уровень речевой и когнитивной компетенции авторов данных сочинений отмечен высоким средним баллом – 14.

(4) Вербализация затекстовой информации. В данном случае выделяется и эксплицируется информация, отсутствующая в исходном тексте. Маркер – тематический отрыв от фабулы исходного фрагмента: *Я служил в войсках МВД*. Согласно коммуникативной задаче, поставленной перед авторами сочинений в текстезадании, они должны выйти за пределы смыслового пространства исходного текста в область «жизненного или читательского опыта». В исследуемом материале «затекстовое» присутствует в 25% сочинений, остальные 75 % авторов проигнорировали задание, оставшись «внутри» исходного текста. К читательскому опыту не апеллирует никто. По-видимому, в данном случае проявилось

социально-психологическое начало языковой способности информантов и такие свойства групповой языковой личности, как неготовность к самопрезентации, отсутствие необходимых знаний.

Следующие параметры (5) и (6) фиксируют варианты дискретизации исходного текста, представляющие взгляд на отраженные в нем события либо как на имитацию действительного мира, либо как на условный (художественный) мир. Можно предположить, что во втором случае уровень культурной компетенции должен быть выше (в данном случае автор сочинения выступает в роли «подготовленного читателя»). С другой стороны, задания к части «С» ЕГЭ по русскому языку ориентируют на восприятие любого текста как имитации жизни, и, если школьник адаптирован к коммуникативно-прагматической ситуации экзамена, он может проигнорировать художественную основу текста. Чтобы формализовать анализ, мы вычленили из вторичных текстов и проанализировали отдельные позиции (номинации жанра исходного текста, его автора и главного героя), предполагая, что они содержат информацию о моделируемом во вторичных текстах мире. Нерелевантными в интересующем нас ключе являются номинации жанра *текст* и *отрывок* (32%), номинации автора *автор* (55%), номинации главного героя *Александров, юнкер* (53%).

(5) Вычленение объектов действительного мира.

В явном виде не относит исходный текст к художественной литературе единичная номинация жанра *статья*. При средней оценке сочинений 7,9 автор, обозначивший жанр таким образом, получил 2 балла. Восприятие художественного текста как имитации жизни выразилось в использовании анахронизмов *курсант* и *учащийся* (вместо *юнкер*). Авторы сочинений, в которых встретились данные номинации, получили в среднем 7,5 балла. Среди номинаций автора в данном случае нет маркированных.

(6) Вычленение объектов художественного мира.

Обозначения предложенного фрагмента из романа А.И. Куприна лексемами *повесть, рассказ, произведение, сочинение* относят исходный текст к художественной литературе (23%). Авторы, использовавшие данную лексику, получили средний балл

8,6, то есть выше среднего за все сочинения. Обозначение героя фрагмента как *героя, главного героя, персонажа* встретилось в сочинениях, получивших средний балл 6,5. В тех случаях, когда автор исходного текста обозначается *Куприн, А.И. Куприн, писатель*, средний балл за сочинение 9,1. Таким образом, осознание исходного текста как художественного, вопреки коммуникативно-прагматической установке экзамена, коррелирует с более успешным (в целом) решением коммуникативно-прагматической задачи.

Сделаем выводы.

Большая часть компонентов языковой способности, проявляющихся в метатекстовой деятельности (в частности – в том или ином варианте дискретизации исходного текста), имеет психофизиологическую доминанту. Такова «изначально присущая языковой личности и впоследствии развиваемая» способность к метаязыковой рефлексии, способность реагировать на форму исходного текста, предпочтение в метатекстовой деятельности «природного» либо «окультуренного» начал, разная степень отвлечения от исходного текста. Другие компоненты языковой способности испытывают влияние социокультурных факторов. Так, информационная доминанта современного коммуникативного пространства формирует языковую личность, ориентированную на содержательные аспекты текста. В этом смысле в неблагоприятной социокультурной ситуации оказывается художественный текст. Включение художественных текстов в перечень предлагаемых в части «С» ЕГЭ по русскому языку усугубляет положение дел.

К компонентам языковой способности неприменима шкала «лучше / хуже». В то же время для исследования становящейся языковой личности актуален вопрос о том, что она уже знает, умеет, воспринимает, чего еще не знает, не умеет, не воспринимает. Такая характеристика, как способность / неспособность к восприятию имплицитных смыслов художественного текста, коррелирует с общим состоянием языковой, когнитивной, коммуникативной компетенции школьника. В целом адекватное восприятие художественного текста (реагирование на языковую форму, восприятие художественной реальности как условного мира) свиде-

тельствует об относительно высоком уровне развития языковой личности.

ЛИТЕРАТУРА

Голев Н.Д. Лингвоперсонологическая вариативность языка // Известия Алтайского государственного университета. Серия «История, филология, философия и педагогика». Барнаул, 2004. – № 4.

Прокудина И.С. Русская языковая личность в аспекте лингвокогнитивных стилей репродуцирования научного текста (на материале студенческих рефератов). Дисс. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2009.

Сайкова Н.В. Метатекстовая деятельность носителей русского языка // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Часть 1. Коллективная монография / Отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово; Барнаул. 2009.

Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений. М. 2006.

УДК 81+81'367

Н.П. Перфильева
Новосибирск

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ ТЕКСТА: ПУНКТУАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается соотношение понятий континуальность и дискретность под углом зрения синтагматики, иначе говоря, в тексте. В центре внимания автора знаки препинания в широком смысле слова как средства выражения дискретности.

Словарь трактует **континуальность** как непрерывность (*континуальный* есть «непрерывный»). Данный термин соотносится с лексемой *континуум* (от лат. *continuum* – непрерывное, сплошное), которая имеет значение «непрерывность, неразрывность процессов, явлений»; в математике она обозначает «непрерывное

(связное) множество», а в физике – «сплошную материальную среду, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно» [Современный словарь... 1994: 304].

Дискретность же, согласно словарной дефиниции, это прерывность, раздельность; в физике и химии – «зернистость строения материи, её атомистичность» [Современный словарь... 1994: 205].

Цель статьи – рассмотреть такой феномен, как письменный текст, под углом зрения универсальных для науки понятийных категорий континуальность и дискретность. В качестве объекта мы выбираем не текстовые категории (в этом плане многое сделано И. Р. Гальпериным и его последователями [Гальперин 1981]), а пунктуацию.

Письменный текст представляет собою среду, в которой функционирует вторичная знаковая система – пунктуация.

Континуальность, или линейность, признаётся обязательным типологическим признаком связной речи, а значит, и текста [Гальперин 1981; Москальская 1984; Перфильева 2006]. Однако этот признак трудно уловим за скрывающей его очевидностью. Тем более что он часто эксплицируется с помощью синкретичных вербальных метапоказателей-скреп, например логического вывода (*отсюда, следовательно, значит, стало быть, выходит*), или метавысказываний, указывающих также и на связность: *А теперь от разговора о некоторых тенденциях в общественных нравах перейдём непосредственно к вопросам социальной политики. В статье Г. Лисичкина не однажды встречаются соображения о том, что перестройка должна сопровождаться незамедлительным и существенным ростом благосостояния трудящихся* (Дружба народов. 1988. № 2).

Мысль о линейном (читай: непрерывном) характере речи принадлежит Ф. де Соссюру [Соссюр 1990] и развивается Л. Теньером. Он назвал последовательность звуков, которую мы воспринимаем с помощью органов слуха и которая является словом, высказыванием, речевой цепочкой, подчёркивая её **одномерность** и **однонаправленность**. Речевая цепочка предстаёт в виде непрерывного ряда точек, континуума, линии, вектор которой направлен, подобно времени, в одну сторону. Особенно

ярко проявляется линейный, континуальный характер письменной речи. «По существу, любая книга – по мнению Л. Теньера – представляет собой не что иное, как одну длинную строку, лишь нарезанную на мелкие порции ради удобства размещения на странице» [Теньер 1988: 29].

При употреблении термина *линейность* мы обычно имеем в виду такие признаки, как однонаправленность, одномерность, векторность и т.д. При замене его термином *континуальность* применительно к письменному тексту актуальным становится компонент ‘сплошная материальная среда’. В пунктуационном аспекте письменный текст изначально характеризовался только континуальностью: в нём не было дискретных единиц (слов, предложений, ССЦ).

Стандартный же современный письменный текст характеризуется и континуальностью, и дискретностью. Современный взрослый читатель привык не замечать дискретность в таких предложениях, как *Мама мыла раму*. Хотя слова как дискретные единицы отделены пробелами, а точка выполняет демаркационную функцию – обозначает границу между предложениями / сложными предложениями; однако читатель в таком тексте, скорее, видит не «зернистость строения материи, её атомистичность», а **сплошную среду**. Её разрушение воспринимается читателем как аномалия, и именно в этом случае, скорее, мы будем размышлять над свойством дискретности.

С прагматической точки зрения степень дискретности письменного текста может быть разной.

Дискретность **нулевой степени** встречаем обычно в экспериментальных художественных текстах (вспомним литературные опыты Д. Джойса или футуристов) или в текстовых фрагментах, в которых реализуется коммуникативный замысел автора. В последнем случае дискретизация, или сегментация, осуществляется только с помощью пробелов между словами, например в текстовом фрагменте из миниатюры И.А. Бунина «Сон пресвятыя богородицы»:

И спеша, восторженной скороговоркой, без передышки, начинает:

– *В Вифлееме иудейском спала-почивала пресвятая мати богородица приде к ней Иисусе Христе и рече к ней о мати моя возлюбленная и рече к нему пресвятая мати богородица со слезами...*

В выделенном фрагменте, по замыслу автора, имитируется плавность, монотонность речи – манера произнесения сакрального текста.

Дискретность **первой степени** наблюдается в стандартном письменном тексте, оформленном с помощью знаков конца предложения (точки / вопросительного знака / восклицательного знака) или его середины (запятая; двоеточие и тире в бессоюзном предложении). В этом случае текст со знаками препинания, особенно с запятыми, имеет **амбивалентную природу: свойства континуальности и дискретности как бы уравнивают друг друга.**

С одной стороны, все эти пунктуационные знаки выполняют формальную, или демаркационную, функцию, обозначая границу между синтаксическими сегментами – предложениями, предикативными единицами, – и, следовательно, являются средством оформления дискретных единиц, иначе стандартной, прерывистой, формы конструкции или предложения, и это необходимо читателю для адекватного декодирования текста, например:

Это спрашивает мальчик, отвечает девочка, дети вдового хозяина постоялого двора, лежащие на печи, над нами (И.А. Бунин).

С другой стороны, при беглом чтении читатель, скорее, такое высказывание интерпретирует как **непрерывное**, минимально обращая внимание на запятые или знаки конца предложения (образно говоря, «стремясь к финишу»). Неслучайно старшеклассники при диктовке часто «забывают» про знаки конца предложения.

Многие из названных выше пунктуационных знаков, выполняя частную коммуникативно-прагматическую функцию – **актуализации**, – являются средством **дополнительной** (или максимальной?) дискретизации письменного текста. Так, этот приём экспрессивного синтаксиса, как парцелляция, оформляется с по-

мощью точки, вопросительного знака, восклицательного знака, точки с запятой, например:

(1) *Все отвергал: законы! совесть! веру!* (А. Грибоедов);

(2) *Кто же вас гонит: судьбы ли решение? зависть ли тайная? злоба ль открытая?* (М. Лермонтов);

(3) *Подошли новые. Столпились. В лаптях; босиком; в спец-овках; без спецовок; в башимаках; русые; вымывшиеся; грязные; в майках; в футболках; в рубахах; ханумовские; ермаковские; разные; но все – молодые, все – с быстрыми, блестящими глазами* (В. Катаев).

Как видим, в данных контекстах разрушается континуальность высказывания и на первый план выдвигается его дискретность: получается по Л. Теньеру – строка «нарезана на мелкие порции». Сегментация здесь коммуникативно и эстетически оправдана: путем дополнительной актуализации и, следовательно, создания особого ритма высказывания в (1) и (2) контекстах достигается их экспрессивность, повышается, выражаясь словами А. Вежбицкой, «эмоциональный градус». Кроме того, в (3) контексте в результате замены запятой на точку с запятой отчётливо возникает кинематографический эффект, когда сплошное множество рабочих становится дискретным, как будто камера «выхватывает» из коллективного мозаичного портрета отдельные звенья.

Тире в простом предложении, так же как и скобки в целом, обеспечивает дискретность **высокой степени**, например: *Символизм – умер* (А. Блок). В данном случае нарушена привычная нам континуальность предложения, которая сопровождается дискретностью нулевой степени. В нормативной пунктуации XX в. (например [Розенталь 1988]) тире в данном случае неудачно называли интонационным. Тире как знак, обслуживающий письменный вариант текста, выполняет, в нарушение пунктуационной нормы, демаркационную функцию – обозначает границу между подлежащим и сказуемым. Важно, что в данном случае эта формальная функция подчиняется коммуникативно-прагматической: тире выступает как сигнал дополнительной актуализации.

Скобки всегда нарушают векторный, линейный, характер письменной речи, делая текст прерывистым:

*Кто может спать в мясорубке
(Если мама готовит фарш!),
На граммофонной пластинке
(когда исполняется марш!),
Под душем (когда купаются),
На венике (если метут),
А Вьюшка – не сомневайтесь! –
Спит себе, тут как тут!* (Б. Заходер. Кошка Вьюшка).

Иногда нарушается и цельнооформленность, или континуальность, слова, например:

*Нет места в нашей квартире,
Где бы она ни спала –
От А
(бажура)
до Я
(щика письменного стола)* (Б. Заходер. Кошка Вьюшка).

Употребление скобок жёстко детерминировано авторским замыслом. Цель деструкции очевидна при текстоцентрическом подходе, в последнем контексте – в пределах цикла стихотворений «Мартышкин дом» и макротекста (всех детских стихотворений Б. Заходера). Не обращая внимания на то, что заключено в скобках, читатель легко «вычитывает» представленный линейно фразеологизм *от А до Я*. В первом контексте вставки, или дискретные единицы, взаимодействуют друг с другом, при этом каждая из них представляет собою комментарий к тому обстоятельству, при котором располагается. Все вставки связаны со строчкой – *КОТОРАЯ СПИТ НЕ ТАМ*.

Таким образом, особенность восприятия высказывания с несколькими вставками состоит в том, что, с одной стороны, отчётливо вычлняются и взаимодействуют дискретные единицы – сегменты в скобках, а с другой – иногда мы прочитываем базовую часть предложения без них и даже пытаемся отгадать «авторский секрет».

Дискретность **максимальной степени** наблюдается в художественных текстах, насыщенных таким знаком, как многоточие, которое, выполняя частные прагматические функции, обеспечи-

ваит не просто дискретность, а «зернистость, атомистичность» письменного текста.

Так, несколько глав в романе В. Богомолова «В августе сорок четвёртого...», описывающие знаменитую сцену на поляне глазами одного из персонажей, построены так же, как данный текстовый фрагмент:

Кто они и как оказались в лесу?.. Зачем?.. Морщи лоб и шевели губами...

Удостоверение личности... Фактура обложки... Конфигурация... Наименование... Шрифт тиснения... Звёздочка... Реквизит содержания... Особые знаки... удостоверительные... Шрифты текста... Серия... номер... Фотокарточка... Голова... Губы... подбородок... соответствуют... Печать гербовая... Оттиски... совмещаются... Подпись командира... части... натуральная... Гвардии майор... Карпенко... Дата... Чернила... Масстика штемпельная... Фактура бумаги... плотность <...>

Эти главы передают максимальное эмоциональное напряжение персонажа с помощью его внутренней речи, которая в основном выглядит атомистичной, как отдельные линейные звенья.

Как показывает языковой материал, многоточие обычно употребляется во фрагментах, описывающих ментальные процессы. Подобные контексты отчётливо демонстрируют такое свойство человеческого мышления, как квантовость. Опираясь на идею современного естествознания о том, что квантовый характер неорганического и органического миров свойственен работе человеческого мозга [Stapp 1982], Е.И. Диброва высказала очень важную мысль о квантовом режиме речевого мышления человека, проявляющемся в процессах письма или говорения: «Квантовость (дискретность) человеческого мышления и выход его в речевых актах в виде отдельных порций большего или меньшего объёма определяет структуру содержания текста. Прерывистость мысли спонтанна, произвольна: она проявляет себя в пространстве текста» [Диброва 2001: 300].

Похожее явление мы наблюдаем и в контексте:

<...> заехала как-то его сестра, фрейлина великой княгини Елены Павловны – Елизавета Васильевна, похожая на натяну-

тую струну. Не снимая шубы, в зловещем молчании проследовала она на третий этаж. В комнате не пожелала сесть, стояла в дверях, брезгливо взглядываясь в прихотливое ничтожество княжеского убранства. С виноватой улыбкой Мятлев выслушал ее расточительный гнев, не желая понимать своей вины, которая была ужасна хотя бы тем, что напоминала вызов, ибо все эти преобразования и стиль поведения... Он безуспешно пытался вставить хоть слово, но она повелительным жестом прерывала его и говорила сама, сама, сама... И он кивал ей, будто бы соглашаясь, но она-то знала, как мало согласия в мягких кивках этого сумасброда... Она не намерена краснеть за него и видеть недоумение и осуждение в глазах людей, окружающих её, и выслушивать их соболезнования!.. Больше её нога... бесчинство... гнев государя... забвение... (Б. Окуджава).

Финальный фрагмент высказывания, благодаря его дискретному оформлению, можно интерпретировать следующим образом: в силу разных причин персонаж Мятлев воспринимает речь сестры как обрывки фраз, фиксируемые его сознанием.

Типичными являются и дискретные контексты, подобные следующему:

Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... мне... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то... жжёт... Как же я пошлю своё... фф... фото, когда я весь в каше?! (В. Драгунский).

Многоточие регулярно используется в эмоциональном дискурсе: создаётся эффект пауз, заикания и т.д., сопровождающих проявление ряда эмоций (страх, волнение и т.д.).

В системе знаков препинания действуют две взаимно противоположные тенденции – к созданию континуума, или непрерывного ряда, и к оформлению дискретной единицы. Эта закономерность очевидно проявляется в двух оппозициях: «дефис – запятая», «запятая – косая черта» (последняя формируется в наше время).

Ср.: (1) *В столовой/кабинете/мастерской/гостиной он зажжёт свет* (П. Крусанов). – *В столовой, кабинете, мастерской, гостиной он зажжёт свет*; (2) *Вспомнят нас внуки-правнуки. – Вспомнят нас внуки, правнуки.*

Рассмотрим первый пример. При редактировании контекстов, подобных исходной фразе, неслучайно возникает вопрос, необходимы ли пробелы перед и после косой. Косая черта и запятая выполняют в рассматриваемой ситуации разные частные семантические функции. Косая вместе с отсутствием пробелов – знак интеграции, условно говоря, цельнооформленности как бы одного сложного слова. Этот комплекс имеет здесь значение «комната, выполняющая одновременно функции разных помещений» и противопоставлен в семантическом плане классическому ряду однородных членов предложения в трансформе, называемому «совокупность разнофункциональных помещений в одном доме / квартире». Аналогичные семантические различия наблюдаем и во второй оппозиции.

ЛИТЕРАТУРА

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

Диброва Е.И. Категория связности художественного текста // Традиционное и новое в русской грамматике: сб. ст. памяти Веры Арсеньевны Белошапковой / Под ред. Т.В. Белошапковой, Т.В. Шмелевой. М., 2001.

Москальская О.И. Текст – два понимания и два подхода // Русский язык. Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984.

Перфильева Н.П. Метатекст в свете текстовых категорий. Новосибирск, 2006.

Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке: справочники для работников печати. М., 1988.

Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994.

Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.

Stapp Н.Р. Mind, Matter, and Quantum Mechanics // Foundations of Physics. 1982. № 12. Vol.4.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса: пер. с франц. М., 1988.

СПЕЦИФИКА ЧЛЕНИМОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЗАИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В статье рассматриваются свойственные современному прозаическому дискурсу явления дискретности, когезии, ретроспекции, иерархической упорядоченности на материале повести А. Геласимова «Жажда».

Современному прозаическому дискурсу свойственна дискретность, проявляющаяся в переплетении планов повествования, ретроспекция, дистантная когезия, иерархическая упорядоченность состояний, парцелляция. Все эти закономерности с той или иной частотностью проявляются в прозе современных писателей: Андрея Геласимова, Татьяны Толстой, Александра Кабакова, Людмилы Петрушевской и других.

Как известно, современная проза имеет тенденцию бессобытийности. По мнению Ежи Фарино, литература не особо заинтересована имитацией недискретности и континуальности мира. Она не строит его копии, она мир моделирует. Мир литературы прежде всего семантичен. Разработка семантики – ее экспликация или ее компликация – вот основная область литературы. Поэтому проблема дискретности или недискретности, соположенности или одновременности семантики и ее диахронических состояний выдвигается в литературе на первое место [Фарино 2004: 574]. В прозе на передний план выходит не предмет высказывания (мир), а именно «точка зрения», «мир в чужом восприятии» (иначе – модели мира). Важны не факты, а отношение к ним.

В современном прозаическом дискурсе жизнь персонажа не строится в строго линейном порядке. В произведениях современных авторов биография героя основана не столько на взаимодействии с бытовой реальностью, сколько на взаимодействии с вечными ценностями. Точнее, биография героя выстраивается от столкновения с драматическими событиями жестокой реальности до необходимости осознания базовых жизненных ценно-

стей. Тенденции построения современного прозаического дискурса в полной мере проявляются в текстах Андрея Геласимова.

Герой повести А. Геласимова «Жажда» Константин эволюционирует на протяжении жизни и текста (хотя директор училища Александр Степанович, сыгравший в его судьбе ключевую роль, открывший в подростке талант художника и возможность иного видения мира, замечает, что *Константин* – значит «постоянный»). В начале текста герою свойственен аутизм – состояние, противоположное информационному метаболизму, взаимодействию с окружающим внешним миром, обмену информацией с внешней средой. Человек отключается от контактов с окружением и погружается в собственный внутренний мир, что свойственно в ограниченных дозах каждому человеку хотя бы для того, чтобы обработать информацию, непрерывно поставляемую жизнью. Обычно это явление возникает в случаях утомленности, понижения активности, сосредоточенного внимания на какой-нибудь проблеме.

Константин проходит путь от разъединения с внешним миром, отсутствия контакта с ним (в детстве – распадающаяся семья, в юности – чуждое по духу строительное училище) через трагические потрясения Чечни к прямому контакту со всей вселенной, к высшим человеческим ценностям. Окружающий мир организуется вокруг него: начинает реализовываться жажда любви, понимания, гуманизма.

Если в классических произведениях русской литературы 19 века начало текстов совпадает с началом создаваемого там мира, то в современном дискурсе нет этого совпадения: рамки текстов значительно уже мира, о котором повествуется. В текст попадает лишь небольшой фрагмент действительности. Как отмечает Ежи Фарино, случайный характер получает сам мир (его фрагмент) и благодаря этому производит впечатление более естественного, более подлинного, а не специально подобранного и специально аранжированного в законченное целое и тем самым – сочиненного, вымышленного, искусственного [Фарино 2004: 491]. Персонажи «Жажды» могут говорить несущественное, фактическая коммуникация между ними протекает на невербализованных

уровнях, на уровнях интонаций и умолчаний. Речи зачастую отводится только функция формального контакта.

Для прозаического дискурса характерна дистантная когезия. Связь между планами повествования, то есть текстообразующая связь когезии, осуществляется дистантным лексическим повтором через ключевые слова. В тексте «Жажды» отчетливо выявляются ключевые слова: *лицо, отец, мать, дети, водка, рисунки, деньги, жажда*. Сюжет повести таков: Константин, молодой человек, находится как бы вне времени и пространства, он вынужден изолироваться от общества. Во время войны в Чечне он горел в танке, его лицо обожжено и изуродовано. Внешних событий в жизни практически не происходит, он общается только с тремя боевыми друзьями. В нем идет незримая внутренняя работа, в своих воспоминаниях и размышлениях он возвращается в детство, юность, на войну в Чечне. Этот анализ и выводит героя к иному пониманию мира и человека. В повести многие события переживаются дважды: они «узнаются» и приобретают новый смысл. Открывающийся смысл ведет к внутреннему перерождению героя, к обретению «своего лица».

Слово «лицо» не просто одно из ключевых. Это понятие лежит в основе всего метафорического дискурса. У героя не только сожжено лицо (*у меня когда-то было **лицо**, а не обожженный кусок мяса*), но им потерян и смысл жизни. Ретроспективно в детских и юношеских воспоминаниях это понятие связано с чем-то тревожным, слово имеет эмоциональную коннотацию: (1) *С такой кожей загорать нельзя. Слишком много веснушек. Дай я намажу тебя кремом. А то у тебя **сгорит все лицо**.* (2) *А когда поступил в строительный техникум, нас всех выстроили перед зданием на линейку, и завуч сказал: «Вы теперь – **лицо** строительной индустрии. Не подводите своих отцов». Хотя кого там было уже подводить? Завуч наш явно был не в курсе. Вместо отцов дома крутились какие-то дяди Эдики.* (3) *Мама говорила: «Только не надо морщить **лицо**. Эдуард Михайлович нам помогает».* После войны лицо становится символом несчастья, *рожей*: (1) *Отец посмотрел мне в **лицо**, и я увидел, что ему это было нелегко сделать.* (2) *А мне какие очки надеть? Мне, блин! На мою, блин, вот*

эту рожу! (3) Просто этот маленький мент сказал, что с моей **рожей** не по вокзалам ездить, а дома сидеть. Чтобы пассажиры не испугались. Постепенно изменяется отношение к миру, оно перестает быть трагическим, что проявляется и в отношении к лицу: (1) *Свое **лицо** рисовать было легче всего. Оно не составилось. Просто стало еще темнее.* (2) *Славка с готовностью посмотрел мне в **лицо**.* (3) *Ты не страшный. Это у тебя просто такое **лицо**.* (4) *А чье это **лицо**?* – сказала она. – Как будто знакомое. – *Мое,* – сказал я и положил карандаш.

В тексте выделяется четыре плана повествования: 1) настоящее; 2) война в Чечне; 3) юность; 4) детство. Переплетение временных планов предопределяет членение отрезков текста. Членение текста, категория континуума и категория когезии взаимообусловлены и дополняют друг друга. Континуум современного прозаического дискурса основан обычно на нарушении реальной последовательности событий. Оставаясь по существу непрерывным в последовательной смене временных и пространственных фактов, континуум в текстовом воспроизведении одновременно разбивается на отдельные эпизоды, но наличие категории когезии дает возможность воспринимать весь текст как процесс.

И.Р. Гальперин отмечает, что континуум в его разбиении на эпизоды – важная грамматическая категория текста, синтез когезии и прерывности [Гальперин 1981: 89]. Сила континуума в том, что он способен нивелировать темпоральные различия. Пример совмещения трех временных планов – юность, война в Чечне, настоящее: *Потом ходили смотреть, как военкомат сносят. Стоишь на развалинах, куришь и думаешь – вот здесь я сидел голый на приписной комиссии, задница еще так смешно к этой кушетке прилипает. Типа – все, зла больше нет. И на душе так прикольно. Как будто Коцея Бессмертного **зафигачили**. Но потом оказывается, что бесполезно. В соседнем квартале построили новый военкомат. На этот раз уже не деревянный. Как в сказке – мочишь Коцею, а он только круче становится. **Не зафигачишь** его до конца.*

Так Генка на войне говорил. Я у него этому слову научился.

*– **Зафигачим** сейчас черножопых, пацаны. Чего так нахмурились? Очко заиграло?*

Залазит в БТР и смеется. И сел на мое место. Но мне было все равно. Никто ведь не знал, что граната прожжет броню как раз там, куда он меня подвинул.

Когезия, осуществляемая контактными повтором-подхватом, эксплицитна. Такой контактный повтор-подхват сцепляет два плана повествования, в которых по-разному осмысливается содержание высказываний: *Я открыл книжку на середине и прочитал первое, что попало мне на глаза: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати».*

Отец как-то в детстве сказал: «Не читай много – испортишь глаза». Первое высказывание об Иуде относится к плану настоящего, когда Константин уже осознал предательскую роль отца. Сцепленное с ним второе высказывание относится к плану детства, когда герой страдал от безразличия отца и не хотел замечать его обман и предательство.

Когезия как категория, характерная для текста, нередко влечет за собой изменение смысловых соотношений двух сцепляемых отрезков: (1) *Наверное, надо было встать и бросить им этот мяч. Тогда бы эта тварь не подошла к нам, и отец бы потом не сказал в машине, что мать – ревнивая дура.* (2) *Ревность – такая штука, что, в общем-то, ее не победишь. «Вернусь домой – убью ее», – сказал мне один сержант в госпитале, когда нас уже вывезли из Чечни. «За что?» – сказал я. – Она ведь даже не знает, что у тебя ноги нет». Я смотрел на него и молчал.*

Первое высказывание относится к плану детства. Унижение, обида за мать постоянно преследуют Константина. Следом в тексте идущее второе высказывание связано с временным планом Чечни. Герой задумывается над тем, как неоднозначно можно расценить человеческие чувства.

Дистантная когезия обеспечивает континуум повествования и способствует интеграции текста:

– Константин, я жду объяснений. Константин, ты слышишь меня? Костя!

Я его слышал. Так же хорошо, как тогда в машине. Ревнивая дура – сказал он ей. Ревнивая дура. Кому ты нужна со своей ревностью? Сидишь как синий чулок, когда вокруг все веселятся.

А мать смотрела на него и молчала. Хотя она тоже слышала его хорошо. Только подбородок начал подрагивать.

– Я тебя слышу. Не надо на меня орать.

– Что ты сказал мне, сын?

– Я тебе не сын. Твоего сына убили в Грозном, когда сгорел наш БТР. Я – другой человек. Тот пацан, который боялся тебя, остался в том БТРе.

Теперь он имеет право с болью сказать это отцу, детские воспоминания о котором не дают покоя.

Категория континуума как категория текста, проявляющаяся в разных формах течения времени, пространства, событий, представляет собой особое художественное осмысление категорий времени и пространства объективной действительности [Гальперин 1981: 97].

Результатом интеграции временных планов становится цельность текста. Интеграция осуществляется в процессе осмысления текста, аналитического рассмотрения видов соотношения отдельных частей, составляющих целое. Объемно-прагматическое членение (И.Р. Гальперин) в данном дискурсе не играет существенной роли: небольшая повесть представляет собой отбивки, абзацы, сверхфразовое единство. Незначительность объемно-прагматического членения способствует впечатлению цельности потока сознания, фиксирующего те или иные эпизоды, которые имплицитно раскрывают содержательно-концептуальную информацию.

Контекстно-вариативное членение (И.Р. Гальперин) тоже не очень разнообразно: повествование от первого лица, широко представлена несобственно-прямая речь; полностью отсутствует описание природы, внешности персонажей; описание места, времени действия, рассуждения сведены к минимуму. С семантической точки зрения короткий текст беднее, проще, но одновременно абстрактнее: чем в меньшем контексте некая единица употребляется, тем неопределеннее ее смысл. Большая абстрактность и метафоричность (афористичность) короткого текста и большая конкретность длинного – свойства семиотические и относительно устойчивые. В коротком тексте, что подчеркива-

ет Ежи Фарино, нечто простое семиотика возводит в ранг особо весомого, сентенционального. Сентенции «Солдаты не плачут» и «Своих не бросают» находят свое воплощение во всех планах повествования.

В детстве: *Ну что, теперь будешь плакать? Ты же у нас будущий солдат. Солдаты не плачут. Ты любишь кино про войну смотреть? Ну вот. А солдатам знаешь как иногда бывает больно. И они не плачут. Они должны терпеть. Ты будешь терпеть, когда пойдешь на войну?*

В Чечне: *Потому что Генка когда говорит – про него все заранее известно. Про то, что он хочет сказать. Только лейтенант этого не знал. Пока был жив. Поэтому удивился, когда Генка собрался вернуться за подстреленным пацаном. «Своих не бросают, лейтеха», – сказал он. И я знал, что он именно так скажет.*

В настоящем: *Увидев меня, мальчишка сразу же убежал в свою спальню. – Что же ты солдатиков на ковре оставил? – сказал я, входя следом за ним. – Своих не бросают. На вот, возьми.*

Эта же идея реализуется в эпизоде, когда трое боевых друзей ищут пропавшего четвертого. Название повести «Жажда» имеет подзаголовок «Четыре товарища. Повесть о настоящем». Субстантивированное прилагательное «настоящее» неоднозначно: оно может отражать время – план суровой реальности – и иметь философское значение – нечто истинно важное в жизни.

Все планы повествования, кроме настоящего, представляют собой ретроспекцию. Предшествующая информация, необходимая для связи событий, сообщается, прерывая поступательное движение текста. Происходит перестановка временных планов повествования: три ретроспективных плана (детство, юность, Чечня) соотносятся с настоящим. Настоящее с одинаковой частотностью соотносится с детством и с юностью, в два раза чаще с событиями в Чечне, менее частотно ретроспективный план юности соотносится с планом детства, а юности – с Чечней. Единичны примеры когезии временных планов: детство – Чечня; Чечня – детство; Чечня – настоящее. Пример соотнесения плана настоящего и юности: *А вврремонтм именно Генка надоумил меня заниматься. И клиенты нашлись. Удивлялись, правда, ког-*

да я им говорил по телефону, что работаю один, но потом при встрече большие не удивлялись. Во всяком случае не спрашивали, почему на ремонт требуется так много времени. Те, кто торопился, нанимали других. И те, кому не нравилась моя **рожа**.

– Вы посмотрите на свои **лица!** – кричал на нас завуч на уроке черчения. – Вы только посмотрите на себя. У вас в глазах ни одной мысли. Сидите передо мной как стадо баранов».

План детства – настоящее: *Насчет велосипеда та же история. И насчет того, чтобы научиться набивать мяч. То есть как будто и нет ничего. Ни велика, ни мяча, ни коленки. И меня тоже нет. А соседские пацаны есть. Во всяком случае, велик им каждому держал свой **отец**. Стоял сзади и держал за багажник. А потом спрашивал меня – поддержать? Но я всегда говорил – не надо. Потому что так лучше, когда один. Приходишь домой и трешь свои синяки столовой ложкой. А **отец** шуришит газетой, смотрит на тебя и говорит – после этого обязательно ее помой.*

Поэтому, когда в Сергиной квартире никто нам дверь не открыл и Генка сказал, что, видимо, придется ехать к моему **отцу**, я просто молча стоял в этом грязном подъезде у зеленой стены, смотрел на него и не знал, что ему на это ответить.

Чечня – детство: *От боли я просыпаюсь. Поэтому теперь я боялся спать. Мне было страшно, когда она приходила со своим уколом. «Ну что ты? Чего ты волнуешься? Сейчас укольчик поставлю – и сразу уснешь. Измучился совсем. Ничего, еще две минуты – и не будет больно. Потерпи, сейчас все пройдет».*

«Ну, что? Животик **болит?** – сказал врач, склоняясь ко мне. – Ничего страшного. Аппендицит – это ерунда. Сейчас **усыпим** тебя, а когда проснешься – все уже будет в порядке».

Отправной точкой дискурса является временной план настоящего, именно в нем происходит осмысление и переосмысление событий. Мир и текст не являются однонаправленным потоком; упорядоченность жизни, биографии от начала к концу не характерна для современного прозаического дискурса. Внетекстовый мир разнонаправлен. То, что герою казалось ранее не-событием, теперь осмысляется им именно как событие, как один из важнейших моментов его духовной биографии. Так, постепенно полно-

стью проясняется недостойная роль отца, которого мальчишке так не хватало в детстве. Позже он признается себе, что хотел бы иметь своим отцом директора училища Александра Степановича, который открыл ему истинные жизненные ценности.

Можно только согласиться с мнением Ежи Фарино [Фарино 2004: 494], что прямая линейность текста и его мира, а также инверсия и образность несет в художественном тексте очень существенную семантическую и семиотическую нагрузку. Она, с одной стороны, концептуализирует (моделирует) мир, а с другой – интерпретирует его. Она, с одной стороны, концептуализирует (моделирует) мир, а с другой – интерпретирует его. Интерпретация возникает и за счет связываемых с данной последовательностью значений, и за счет выбора как отправных, так и промежуточных и финальных состояний конструируемого мира. Моделирующий же (концептуальный) смысл той или иной последовательности раскрывается на фоне предыдущего состояния литературы (т.е. предпочитаемых ею последовательностей) и на фоне бытовых представлений о «естественности / инверсированности» тех или иных последовательностей (сравним с романной схемой литературы 19 века, имеющей вид стрелы, направленной в будущее).

Констатируя, что линейная организация времени и пространства в ее чистом виде встречается не так уж и часто, отметим присутствие некоей упорядоченности по наличию (нарастанию или убыванию) какого-нибудь признака во всех звеньях дискретной линейной последовательности элементов. Например, в рассматриваемом тексте нарастает степень притяжения героем мира, желание обрести любовь, семью, детей, и в этом проявляется жажда жизни. Линейность превращается в градацию и иерархию, становится шкалой состояний по признаку «менее интенсивный / более интенсивный». Градация предполагает наличие одного и того же признака в следующих друг за другом дискретных состояниях объектов. Это значит, что как таковая градация является разновидностью повтора. Очередное звено в той или иной мере являет собой трансформацию предшествующего.

Доминирование иерархического принципа влечет за собой снижение роли пространственного пути (пространственной по-

следовательности) и временной оси. Текст тут получает полную независимость от мира и более существенным становится не то, о чем рассказывается, а то, как это нечто рассказывается. В известной книге «Текст как объект лингвистического исследования» И.Р. Гальперин приводит пример с коричневым бокалом, который вдруг стал прозрачным (то есть коньяк был выпит), обращая внимание на то, как акцентируется быстрота действия при отсутствии указания на время. В дискурсе А. Геласимова встречаем обратную ситуацию: при помощи временных маркеров цепь событий передается имплицитно. Читатель восстанавливает их, выстроив линейную последовательность: *Холодильник освободился **через семь дней** после того, как я отнес зеркало к Ольге. Или **через восемь**. Такие вещи трудно определить.*

*Я собрал в себе силы и переставил в него все, что было на полу и на окнах. Мне не нравится, когда **она** теплая.*

*Столько **водки** в одном месте я впервые увидел у директора Александра Степановича.*

Текстообразующая когезия, основанная на катафоре («она – водка»), является средством связи двух временных планов: настоящего и юности. Дистантная когезия, достигаемая посредством дискретности планов повествования и лексического повтора, обеспечивает процесс интеграции дискурса: сочетание фраз *Вся водка в холодильник не поместилась* в начале текста и позже *Холодильник освободился* свидетельствует о том, что герой пил все эти дни. Это состояние продолжается и дальше, что иллюстрируется очередным возвращением повествования в план настоящего. Опять следует повтор, возвращение к отправной точке – зеркалу: *Я хотел посмотреть на себя в зеркало, но потом вспомнил, что отнес его к Ольге **дней десять назад. Или двенадцать**.* Эти упоминания о семи-восьми днях, потом о десяти-двенадцати говорят о состоянии героя все это время.

Мир текста исчерпывается в самом себе, не отсылает к внешнему миру, а предлагает его истолкование. Истолкование же осуществляется в принципе подбора таких, а не иных компонентов данного текста и в их последовательной иерархической (градационной) упорядоченности [Фарино 2004: 506]. Градационно пред-

ставлено постепенно осознаваемое чувство любви к детям. Этот признак нарастает в тех звеньях дискретной последовательности элементов, которые связаны с планом настоящего. Впервые герой задумывается об отношении к детям, когда об этом говорит директор Александр Степанович: *Не бывает обычной малышни, Константин. «Обычную малышню» придумали дураки. (...) Ты когда-нибудь видел, как падает луч света в темную комнату из приоткрытой двери? В самом начале он узкий, а потом расширяется. Точно так же и человек. Сначала один, потом двое детей, потом четверо внуков. Понимаешь? Человек расширяется как луч света. До бесконечности. Ты понимаешь?*

Дети начинают занимать все больше места в мыслях героя: *Я думал о том, какие бывают дети. Что они говорят, как они толкаются, как прыгают, поджав одну ногу, рвут ботинки, плюют с балкона, рисуют на обоях, вылавливают из супа лук.*

Особенно когда они твои.

У Константина вновь появляется потребность, которую в нем пробудил директор, – рисовать: *Генка смотрит, как я рисую. – Это наш лейтенант. Со своими детьми. – Так его же убили. А у тебя ему тут лет тридцать пять. Он же молодой был совсем. И детей у него не было. – Ну и что? – говорю я. – А здесь он с детьми. Могли у него потом родиться дети?*

Дискурс А. Геласимова насквозь «прошит» ключевыми словами и сентенциями, представленными во всех планах повествования. Две из них («Солдаты на плачут» и «Своих не бросают») уже упоминались. Еще одна сентенция выражена метафорически в заглавии «Жажда», смысл которого можно эксплицировать так: «Жажда добра и счастья – потребность и смысл жизни». Название в имплицитной форме выражает основной замысел, идею, концепт создателя текста. Название – это компрессированное содержание дискурса, оно сочетает в себе функцию номинации и функцию предикации. О жажде говорит директор – человек талантливый и разочарованный: *Меня мучает жажда. Бесконечная жажда. Моему организму нужна жидкость. Или еще что-нибудь. Жажда любви, потребность в ней являются основной движущей силой развития личности героя. В конце повести он,*

по-видимому, приходит к реализации своей сущности. Конец текста не может быть особо длинным и особо распространенным. В конце обычно локализуется оценка. Последнее звено в условиях дискретности текста является наиболее глубокой экспликацией отправного мотива и уравнивается с заглавием. На уровне семантики конец – существеннейший компонент структуры дискурса, предполагающий пересмотр и переосмысление всего предыдущего.

Итак, интерпретация дискурса во многом определяется формальной последовательностью дискретных частей. Истолкование целого осуществляется в градиционной упорядоченности компонентов художественного дискурса.

ЛИТЕРАТУРА

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004.

УДК 81'37

А.В. Леонова

Новосибирск

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА КОНТРОЛИРУЕМОСТИ / НЕКОНТРОЛИРУЕМОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Понятие континуальности применяется автором при описании переходных типов неконтролируемых акциональных ситуаций. В статье также проводится различие между понятиями континуальности и градуальности.

В исследованиях, посвященных проблеме контроля, признаки наличия и отсутствия контроля чаще всего рассматриваются как автономные, не пересекающиеся в рамках одной ситуации, одного высказывания. В том случае, когда указывается наличие

частичного контроля в ситуации попытки [Зализняк 1992; Плунгян, Рахилина 1988; Шатуновский 1989 и др.], данный признак оказывается в одном ряду с признаками контролируемости и неконтролируемости, ср. ситуации *выигрыша, попадания в мишень, защиты диссертации* и пр. Исследователи отмечают, что в данных ситуациях субъект контролирует попытку осуществить действие, однако достижение результата не вполне зависит от субъекта. М.Г. Милютина рассматривает данный тип ситуаций как комплекс, связывающий попытку и результат [Милютина 2006]. Эти два подхода, по нашему мнению, могут отражать различие между понятиями градуальности и континуальности семантических признаков контролируемости / неконтролируемости действия. Континуальность понимается нами как нерасчлененное взаимодействие семантических признаков ситуации, невозможность дифференцировать момент изменения признака ситуации на разных этапах осуществления действия. Понятие градуальности применимо, скорее, к семантической категории в целом.

Как показывают результаты нашего исследования, существуют ситуации, в которых утрачивается контроль (например, в ситуации безуспешной попытки), и ситуации, в которых неконтролируемое действие, благодаря усилиям субъекта, не приводит к нежелательным последствиям, но берется под контроль. Эта разновидность частично контролируемых ситуаций не попадала в поле зрения лингвистов. Ситуации, в которых актуализирован переход от контроля к неконтролируемости и от контролируемости к утрате контроля в процессе формирования намерения и осуществления действия до настоящего времени также специально не изучались.

Анализ языкового материала показывает, что несовпадение намерения и результата, переход от контролируемости к неконтролируемости и от отсутствия контроля к его появлению на разных этапах осуществления ситуации выражается различными языковыми средствами. Поэтому типы акциональных ситуаций с изменением признака контроля выделяются на основании условного членения действия на этапы: 1) формирования намерения, 2) осуществления попытки, 3) протекания действия и 4) до-

стижения результата. Приведем основные замечания, касающиеся первых двух этапов осуществления действия, а затем более подробно охарактеризуем высказывания, отражающие последние два этапа осуществления действия.

Признак контролируемости / неконтролируемости может проявляться **на этапе формирования намерения**. Субъект не приступает к осуществлению намерения действовать в силу следующих причин: 1) предвидение результатов, обдумывание действия приводят к изменению намерения и осуществлению другого действия (частично контролируемая акциональная ситуация); 2) намерение не осуществляется из-за невольного совершения другого действия (здесь и далее – неконтролируемая акциональная ситуация); 3) намерение не осуществляется из-за отсутствия необходимых ресурсов; 4) намерение не осуществляется из-за действий другого субъекта или в связи с внешними обстоятельствами. Неосуществление намеренного действия связано с частичной контролируемостью, если субъект целенаправленно меняет намерение, предвидя негативные последствия своих действий, или с утратой контроля, если на этапе формирования интенции и перехода к осуществлению действия происходит какой-либо сбой.

Контролируемое изменение намерения в процессе обдумывания выражается конструкцией с противопоставлением двух предикатов: интенционального в сочетании с инфинитивом акционального глагола (*хотеть + inf*) и ментального или волюнтаривного (*хотел было воротиться, но, рассудив, махнул рукой и пошел; хотел было объяснить, но рассудил, что...; хотел было засесть за письмо, но, по зрелом размышлении, раздумал; хотел было прошептать, но переменял намерение* и т.д.). Противительные конструкции с союзами *но, да* и частицей *было* отмечают неосуществление, прерванность или незавершенность действия, названного предшествующим глаголом. Употребление в данной конструкции ментального или эмоционального глагола вместо акционального является средством создания иронического дискурса, например: «...хотел было рассердиться, но одумался» (Ф.М. Достоевский).

Неосуществление намерения может быть связано с утратой контроля или невольным совершением другого действия. Этот тип ситуаций также выражается конструкцией с противопоставлением двух предикатов, но во второй части конструкции, в отличие от описанного выше типа, после противительного союза появляются акциональные, эмотивные глаголы и глаголы невольного осуществления: *хотел было сказать, но потерялся; хотел было выйти, но вдруг подошел; хотел было сказать, не сказал и побежал вон.*

Особенность высказываний, фиксирующих изменение или неосуществление намерения в связи с отсутствием необходимых ресурсов для совершения действия, заключается в употреблении безличной конструкции с отрицанием (*нет + N₂*): *– Клад! – закричал дед. – Я ставлю бог знает что, если не клад! – и уже **поплевал было** в руки, **чтобы копать**, да **спохватился**, что **нет** при нем ни заступа, ни лопаты* (Н.В. Гоголь). Намерение осуществить действие *копать*, выраженное целевой конструкцией с союзом *чтобы*, не реализуется из-за отсутствия необходимого инструмента. Неосуществление намерения выражается конструкцией с противопоставлением, выраженным противительным союзом *да* и частицей *было*: «поплевал было, чтобы копать, да спохватился». Маркером перехода от контролируемого намерения к осознанию утраты контроля выступает глагол *спохватиться*.

В отношении **ситуации попытки**, на наш взгляд, трудно говорить об утрате или появлении контроля, поскольку субъект прикладывает усилия для реализации контролируемого действия, но ситуация в целом не является контролируемой, так как достижение результата не вполне определяется намерением субъекта, например: *Пальцами правой руки я **тщетно пытался ухватиться** за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего **не могли хватать**, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич* (М.А. Булгаков). Основное средство выражения данного типа ситуаций — сочетание пробационных глаголов *пытаться, стараться, силиться* с глаголами, обозначающими частично контролируемое действие. Маркерами успешности /

неуспешности попытки выступают наречия *напрасно*, *тщетно* и др. Были выделены типы частично контролируемых и неконтролируемых ситуаций, различающиеся 1) по направленности усилий: субъект старается осуществить действие с желаемым результатом или субъект пытается предотвратить действие с нежелательными негативными последствиями; 2) по степени достижимости результата; 3) по степени успешности попытки, которая определяется *post factum*.

Утрата или появление контроля на этапе совершения действия и достижения результата связаны с неустойчивостью признака контроля и вместе с тем с возможностью упорядочить действительность, взять ситуацию под контроль. В разновидности ситуаций, в которых происходит утрата контроля, можно выделить следующие подтипы: ситуации с потенциальной утратой контроля и реальной утратой контролируемости.

В ситуации **потенциальной утраты контроля** субъект осуществляет намеренные действия во избежание негативных последствий: – *Как? Вы только что пришли? Вы опоздали? – рассердилась Наталья Михайловна. – Господь с вами! Я уже больше часа здесь. Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить* (Тэффи). Субъект, обладающий самоконтролем, предвидением ситуации, осуществляет намеренные действия, которые помогают избежать утраты контроля («нарочно подстерегал, чтобы не пропустить»). Потенциальная ситуация утраты контроля присутствует в намерении субъекта как нежелательная. Ср. также: – *Что?! Караулите? – сказал толстый старик. – Смотрите не прозевайте! – С этим не прозеваешь! – вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером* (А.С. Грин). Субъект во избежание неконтролируемой ситуации вооружился револьвером – инструментом контроля. Утрата контроля присутствует потенциально и реализуется в речевом жанре предостережения. Многие исследователи [Булыгина 1982; Храковский, Володин 1986; Бирюлин 1989] указывают на смысловое отличие конструкций *не + императив НСВ* от конструкций *не + императив СВ* (*не упади!*, *не проговорись!*, *не поскользнься!*, *не прозевай!*). В данных превентивных конструкциях употребляются глаголы, обозначающие

«вред или ущерб, т.е. действия, обычно не подконтрольные воле исполнителя» [Храковский, Володин 1986: 151]; «события, которые не зависят от воли субъекта» [Булыгина 1982: 75]. По мысли Л.А. Бирюлина, «в превентивном высказывании императив обозначает не действие Р или не-Р, а последствие этого действия» [Бирюлин 1989: 33].

Реальная утрата контролируемости может происходить в связи с 1) нарушением параметров «участие сознания» и «волевое усилие»; 2) неправильным выбором объекта, адресата, инструмента, направления и места назначения движения. В первом случае целенаправленные действия субъекта не достигают результата из-за осуществления неконтролируемых действий: *Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул...* (И.А. Бунин). Изменение модально-волевых и ментальных характеристик в процессе осуществления действия, выраженное показателем *в рассеянности*, также приводит к утрате контролируемости.

Осуществление намеренного действия может привести к утрате контроля из-за неправильного выбора объекта, адресата, инструмента, направления движения и пр.: *Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака* (А.А. Бестужев). Намерение скинуть колпак осуществляется в действии, однако происходит сбой в выборе объекта, что выражается конструкцией с предлогом *вместо* («парик вместо колпака») и наречием образа действия *ошибкою*.

В осуществлении движения также могут происходить сбои: в выборе направления и в выборе места назначения. Например: *Но девочка приняла неверное направление, и вместо того, чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые на много метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатила в пропасть* (Н.С. Гумилев). Ср. высказывание с неправильным выбором конечного пункта движения: *А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали... Ошибочка вышла* (А.Т. Аверченко).

Ситуации **появления контроля** также имеют две разновидности, которые выделяются в соответствии с тем, когда неконтролируемая ситуация становится контролируемой. Это может происходить *в процессе* осуществления действия, когда благодаря усилиям субъект избегает наступления нежелательной потенциальной ситуации, и *после совершения* неконтролируемого действия, когда ситуацию изменить нельзя, однако можно предотвратить совершение других непреднамеренных действий.

Рассмотрим ситуацию осуществления ненамеренного действия и появления контроля благодаря усилиям субъекта предотвратить непреднамеренные последствия (изменение потенциальной ситуации): *Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, **поскользнулся** на проклятом паркете и **чуть-чуть не расклеил** носа, однако ж **удержался** и **достал** платок* (Н.В. Гоголь). Нежелательной потенциальной ситуации («расклеить нос») удается избежать благодаря усилиям субъекта, передаваемым глаголом *удержаться*. При отсутствии контроля над совершаемым действием *поскользнуться* субъект избегает непреднамеренных последствий – падения. Для выражения данного типа ситуаций употребляются сочетания *чуть (было) не, чудом не*.

Осуществление ненамеренного действия и появление контроля *post factum* выражается при помощи противопоставления глагольных лексем в конструкции с союзом *но*:

– *И знаете, самым непобедимым человеком в мире мне представляется тот анекдотический турок, который, будучи посажен на кол, сказал: «Недурно для начала!..» Сливин **прыснул**, но **сразу умолк и задумался*** (М.П. Арцыбашев). В данном случае изменения потенциальной ситуации не происходит, неконтролируемая ситуация завершилась, и субъект не предпринял превентивных действий, не сделал усилий, чтобы в процессе совершения действия прекратить или изменить его осуществление. Однако осознание своих действий как неконтролируемых дает возможность быть более бдительным в дальнейшем: субъект действия *прыснуть* «сразу умолк и задумался».

Заслуживает внимания также **этап рефлексии по поводу совершенного действия**, так как неконтролируемость действия

чаще всего осознается уже *post factum*. В редких случаях невозможно однозначно истолковать совершенное действие как контролируемое или как неконтролируемое, и это создает почву для интерпретации собственных действий и действий другого субъекта.

Рассмотрим первую разновидность: *Я обезумел, побежал и, на мое счастье, на бегу, сам бросил или нечаянно уронил саженный ватерпас, что спасло дворника и меня от крупной неприятности* (М. Горький). Данная ситуация выражается двумя предикатами одного лексико-семантического класса, один из которых обозначает контролируемое действие *бросить*, а другой – неконтролируемое действие *уронить*. Предикаты соединены союзом со значением альтернативности *или* и противопоставлены по признаку контролируемости / неконтролируемости, что подчеркивается дополнительными средствами: местоимением *сам* для усиления признака контролируемости действия *бросить* и наречием *нечаянно* для невольного действия *уронить*. Субъект не может утверждать, было ли у него намерение совершить данное действие или нет, поскольку он находился в неконтролируемом эмоциональном состоянии (*обезумел*). Имея в виду, что прототипом для акциональной ситуации является ситуация с двумя субъектами, можно сказать, что внутренний перцептор, контролер, субъект сознания не был в состоянии осуществлять контроль над действиями субъекта-агенса.

Анализ языкового материала показывает, что чаще возникают ситуации, в которых субъект старается квалифицировать как намеренное или ненамеренное действие другого субъекта, например: *Ну да положим, он «проговорился», хоть и рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня?* (Ф.М. Достоевский). Ср. также: *Монах поднял глаза и тихо сказал:*

– Мессере, как вы полагаете, святейший отец верует в Бога? Ричардо не ответил, как будто не расслышал или нарочно пропустил мимо ушей неприличный вопрос...

(Д.С. Мережковский). В выражении данной разновидности акциональной ситуации также наблюдается противопоставление предикатов по признаку контролируемости / неконтролируемо-

сти (*проговориться / иметь в виду; не расслышать / нарочно пропустить*), употребление союза *или* и конструкции *не..., а именно...* в качестве средств выражения этого противопоставления, а также подчеркивание признаков контролируемости и неконтролируемости с помощью наречий *вовсе (не), нарочно*, кавычек при слове «проговорился». Важно отметить, что лексема *пропустить* имеет два ЛСВ, которые различаются по признаку контролируемости / неконтролируемости, поэтому в последнем высказывании актуализация намеренности с помощью наречия *нарочно* обязательна. Главное отличие данных акциональных ситуаций от описанной выше ситуации рефлексии над собственным действием заключается в наличии внешнего перцептора и в связи с этим в появлении показателей кажимости, неуверенности субъекта-интерпретатора, который не знает реальных намерений субъекта действия. Используются вводно-модальное слово *может быть*, частицы со значением неуверенности *как будто, вроде* и др.

Интересны также высказывания интерпретационного типа, в которых намеренные действия представляются как непреднамеренные. Рассмотрим ситуацию, в которой говорящий интерпретирует свои действия и использует разные способы для представления намеренной непреднамеренности: ***Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно наделал, грозить ему было начал, – ну все для того, чтоб он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец!*** (Ф.М. Достоевский). Намерение субъекта – вызвать непреднамеренную реакцию другого субъекта, это выражается целевой конструкцией с союзом *чтоб* («для того, чтоб проговорился»). Для достижения результата субъект играет роль простофили – «глуповатого, малообразовательного человека», не способного контролировать свои действия. Намеренная непреднамеренность выражается глаголами *прикидываться, показывать наружу* (простодушный человек не способен прикидываться, играть роль), оксюморонными сочетаниями «нарочно неловко», «нарочно наделал грубостей». Неловкость, грубое поведение обычно является следствием некон-

тролируемого состояния или признаком неконтролируемого действия, поскольку нарушение коммуникативных норм (грубость) и создание негативной потенциальной ситуации редко входят в намерения того или иного субъекта. Сочетания типа «нарочно неловко» выявляют принцип «игры в простофилю», способ создания намеренной непреднамеренности.

Взаимодействием особого рода является **контрастное сближение признаков контролируемости и неконтролируемости**. Подобное сближение также позволяет проанализировать специфику взаимодействия контролируемости и неконтролируемости в пределах одного высказывания. Рассмотрим пример: *Горничная... несла чайник, полный кипятком; дитя ее барыни, бежавши, наткнулся на горничную, и та пролила кипятком; ребенок был обварен. Барыня, чтоб отомстить той же монетой, велела привести ребенка горничной и обварила ему руку из самовара...* (А.И. Герцен). В обеих акциональных ситуациях используется глагол *обварить*, в первом случае он употребляется в пассивной конструкции, из которой субъект данного действия устранен («ребенок был обварен»), что подчеркивает невольность осуществления данного действия. Данное действие является непреднамеренным для горничной еще и потому, что оно включено в цепочку неконтролируемых событий, каузатором которых является другой субъект – ребенок («наткнулся, пролила, был обварен»). Намеренность того же действия *обварить* во второй акциональной ситуации выражается целевой конструкцией с союзом *чтоб*: «обварила, чтоб отомстить». Контрастное сближение контролируемой и неконтролируемой акциональных ситуаций является дополнительным средством актуализации данного семантического признака. Ср. также: *Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся* (А.П. Чехов). В этом высказывании сближение контролируемой и неконтролируемой ситуаций выявляет статус и отношения ее участников: непринужденность поведения одного субъекта и подчиненность, вынужденность соблюдать приличия другого субъекта свидетельствуют о неравном статусе участников ситуации.

Таким образом, акциональная ситуация на разных этапах осуществления действия может характеризоваться и контролируемостью, и неконтролируемостью. На основании этого были выявлены переходные типы, отражающие утрату или появление контролируемости / неконтролируемости на разных этапах осуществления действия, что до настоящего времени не было предметом специального изучения. Поскольку признак контролируемости неустойчив и всегда реализуется в ситуации действия и противодействия различных сил, семантические признаки контролируемости и неконтролируемости составляют такую оппозицию, в которой противопоставление осуществляется во взаимодействии. Признаки контролируемости / неконтролируемости взаимодействуют как в пределах одной акциональной ситуации, так и в последовательности нескольких акциональных ситуаций. Изучение переходных типов ситуаций, анализ высказываний с актуализированным интерпретационным компонентом помогает приблизиться к решению проблемы континуальности семантики.

ЛИТЕРАТУРА

Бирюлин Л.А. Аспекты действия и значение императива // Лингвистические исследования. Языковые единицы и методы их исследования. Л., 1988.

Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Зализняк А.А. Контролируемость ситуации в языке и в жизни // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992.

Милютина М.Г. Семантика конативности и потенциальная модальность: комплекс «попытка – результат» и его выражение в современном русском языке: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2006.

Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Заметки о контроле // Речь: восприятие и семантика. М., 1988.

Храковский В.С., Володин В.С. Семантика и типология императива: Русский императив. Л., 1986.

Шатуновский И.Б. Пропозициональные установки: воля и желание // Логический анализ языка. М., 1989.

ЭКСПЛИЦИРОВАННОСТЬ И ВЫДЕЛИМОСТЬ КАК СВОЙСТВА КЛЮЧЕВОГО СЛОВА В ТЕКСТЕ

В статье рассматривается ключевое слово и его свойства с позиций когнитивной лингвистики.

Текст, к определению которого существует немало подходов в современной лингвистике, является сложнейшим организмом, пронизанным субъективным началом своего создателя. По мнению М.Я. Дымарского, «содержание текста целесообразно именовать термином концепция ... ведь концепция – это не просто существующая в отрыве от субъекта система представлений, идей, но система, пронизанная личностным началом, субъективным видением мира, а значит, построенная на вполне определенной модально-оценочной базе» [Дымарский 1999: 58]. Текст, в частности художественный, – это одна из форм проекции картины мира, зафиксированной в нашем сознании. Основным экспликатором текстового смысла и фрагмента мировидения является слово. Соотнося воспринимаемую человеком действительность и – как результат этого восприятия – картину мира, отраженную в языке, и текст как продукт человеческого сознания, эксплицирующий фрагменты мировидения, можно найти немало общих черт у сопоставляемых явлений. Так, говоря о картине мира, можно отметить, что «именно деятельность наблюдателя (дискретной единицы в масштабе мира) дискретизирует наблюдаемый им мир ... наблюдатель обладает способностью перемещать исходную точку своего наблюдения, точку зрения (в том числе и на себя самого). И единица, и наблюдатель при перемене масштаба рассмотрения могут раскрыть свой внутренний континуум» [Кашкин 2001: 7]. То же самое можно сказать и об авторе текста, перед которым стоит задача выбора объекта описания, угла зрения, слова как средства описания. «Язык является сред-

ством (или способом) дискретизации окружающего мира в деятельности человека» [Кашкин 2001: 1]. Еще Э. Кассирер [2002] рассуждал о том, что способность видения единой картины – это свойство именно человеческого сознания. Расчленив при помощи языка действительность, человек вновь обретает единство континуального мира опять же в языке, то есть «именно язык обладает свойством объединять в той же мере, как и разделять» [Кашкин 2001: 6].

Отталкиваясь от данных размышлений, мы можем, переходя от общего к частному, в тех же категориях судить не просто о языке, но и об отдельном слове, если говорить о языковой системе в целом, и ключевом слове как центральной организующей и смысловой единице текста.

Понятие ключевого слова сегодня используется не только в лингвистике и литературоведении, но и в информационных технологиях. С его помощью осуществляется работа любых поисковых систем, на его основе выстраивается каждый порожденный человеком текст. По данным толкового словаря, **ключевой** – 4. *перен.* Основной, главный, самый важный. // Наиболее выгодный в каком-л. отношении, открывающий возможности для каких-л. действий [<http://www.gramota.ru>]. Первый оттенок значения чаще актуализируется в том случае, когда мы говорим о ключевом слове, организующем художественный текст, второй – когда речь идет о поисковых системах. Рассуждая о необходимости создания словаря ключевых слов русской языковой картины мира, А.Д. Шмелев дает следующее определение исследуемой единицы: «“Ключевыми” для языковой картины мира (т.е. дающими “ключ” к пониманию каких-то ее важных характеристик) являются лексические единицы, обладающие богатой “скрытой семантикой”...» [Шмелев 2004: 351].

Обращенность к проблеме выделения ключевого слова порой кажется неактуальной, но на самом деле с этим сложно согласиться. По словам Е.В. Сергеевой, «вопрос о ключевых словах кажется настолько ясным, что почти не поднимается в новейших работах по стилистике художественной речи», но, как отмечает исследователь, «так и не решены окончательно вопросы, связан-

ные с тем, каково соотношение частотности и эстетической значимости при выделении ключевых слов, насколько важна их роль при интерпретации текста, можно ли рассматривать опорные слова художественного текста как отдельные единицы или только как целостную систему...» [Сергеева :1998].

На самом деле проблема выделения ключевого слова в тексте довольно сложная, не столько на практическом уровне, сколько при теоретическом обосновании процесса выделения этой единицы. Под ключевыми словами понимаются «повторяющиеся слова и значения или семы», несущие «главную художественную информацию» [Арнольд 1999: 254], или «такие множества слов, которые обладают свойством образовывать смысловые сгущения, своеобразное семантико-тематическое поле, но поле, релевантное только в данном тексте, объединенном темой и основной идеей произведения» [Караулов 1992: 158].

По данным исследований, на принадлежность слова к ключевым указывают следующие параметры: его синтаксическая позиция (часто ключевое слово заявлено в заголовке текста), частотность слова [Бабенко и др. 2000: 23], способность лексем быть «экспрессивными центрами» текста, то есть обладать «повышенной для данного текста идейно-эстетической значимостью» [Сергеева 1998: 1], а также «наличие лексических связей с несколькими последующими словами текста» [Арнольд 1999: 214] и т.д.

Важным условием отнесения слова к ключевым является его непосредственная реализация на лексическом уровне текста. Ключевое слово приобретает в контексте синонимы, антонимы, метафорические и метонимические обозначения, которые развивают и конкретизируют заявленную тему. «Вокруг ключевого слова создается контекстуально-ассоциативное поле эстетического воздействия, которое совмещает прямое и переносное значения слова, создает в нем новые смыслы и тем самым превращает ключ в многомерную художественную единицу» [Лелис 2005: 39].

Большинство лингвистов, анализируя данное явление, опираются на приоритет частотности над всеми остальными признаками ключевых слов. Но нередко это звучит спорно, ведь встречаются тексты, в которых основная смысловая нагрузка лежит не

на самых частотных словах. Поэтому существует справедливое мнение, что особого внимания при анализе текста заслуживают редкие слова, которые имеют дополнительную смысловую нагрузку [Арнольд 1999].

В таком случае встает вопрос о том, являются ли выделяемость и эксплицированность обязательными свойствами ключевого слова? Можно ли говорить о слове как ключевом, если оно не отличается частотностью, или в данном случае речь будет идти о ключевом смысле?

Произведенные нами ранее наблюдения над текстами М.И. Цветаевой и И.А. Бунина [Фещенко 2005; 2007; 2008] показали, что ключевое слово на самом деле может отличаться низкой частотностью или отсутствовать в самом тексте вообще. В подобных случаях автор художественного текста может преследовать разные цели.

Так, в творчестве М.И. Цветаевой одним из ключевых слов является лексема *дом*, употребление которой в текстах ограничено. Причем частотность использования данного слова в разных текстах неодинакова и определяется тем, о каком доме идет речь: о собственном или чужом. В ходе анализа прозаических и поэтических текстов М.И. Цветаевой нами был сделан вывод о том, что в подобном употреблении лексемы можно усмотреть отношение поэта к собственному дому, так как только в данном случае используется прием умолчания, нежелание давать конкретную номинацию тому жилищу, которое этой номинации не заслуживает. В данном случае на функционирование ключевого слова влияет картина мира М.И. Цветаевой, ее требования, предъявляемые к объекту, стоящему за лексемой, ее представления о нем и отношение к нему. Тем не менее мы можем выделить исследуемую лексему в качестве ключевой, так как, чтобы донести свои мысли до читателя, автор использует другие экспликативы выделенного смысла. Это могут быть синонимические, метафорические, метонимические, ассоциативные заместители, которые в картине мира автора являются более точными наименованиями жилищ, так как одновременно с функцией номинации осуществляют функцию оценивания (*дом – жилище, кресло, сундук, boîte à surprises, гнездо, метроном, мать,*

дочь и т.д.). «Выбор языкового элемента в процессе деятельности связан не с последовательностью крайностей линейного континуума, не с проявлением порядка или беспорядка, но именно с вероятностью, с возможностью (большей или меньшей) той или иной интерпретации дискретного знака, в котором противоположности могут реализовываться одновременно» [Кашкин 2001: 2]. Это мы и видим, анализируя творчество М.И. Цветаевой.

Встречаются и другие причины нечастотного использования лексемы, заявленной в качестве ключевой. Так, в рассказе И.А. Бунина «Сосны» слово, вынесенное в заглавие, организует пространство всего произведения, хотя встречается в тексте всего 6 раз. Бунинская лексема *сосны* так же, как и в случае с цветаевским *домом*, находит семантическую поддержку в различных текстовых «соседях» (*бор, елочка, сосновый лес, еловые леса, снежная лесная страна* и т.д.). Но если в тексте М.И. Цветаевой все экспликативы работают на реализацию одного семантического варианта лексемы *дом*, совмещающего в себе семы «уютного жилища», «семьи», «места для творчества», то есть в целом стремятся к экспликации идеального дома, то в рассказе И.А. Бунина ключевое слово, наоборот, расчленяет выражаемые смыслы («дерево», «лес», «смерть»), актуализируя их в разных частях текста и сводя воедино только в финале произведения.

В другом рассказе И.А. Бунина «Эпитафия» название также можно отнести к ключевым словам, так как вокруг данной лексемы «завязывается» все произведение, но сама она появляется в тексте лишь однажды – собственно в заглавии. Делая попытку проанализировать лексическую организацию текста, мы нашли всего несколько слов, которые в рассказе напрямую связаны с темой смерти, эксплицированной лексемой *эпитафия* (*мертвым, могильными холмами, крест / голубец*). При более глубоком прочтении выявляются и другие экспликативы данного смысла, менее явные, связанные с ядерным словом ассоциативно.

Таким образом, слово, несущее в тексте основную смысловую нагрузку и организующее его пространство, бесспорно выделимо. Но при низкой частотности или невыраженности одной лексемой его нельзя охарактеризовать как имплицитное, его смысл всегда

будет эксплицирован через текстовых «соседей», ведь «ключевые слова в художественном тексте – не набор разнородных единиц, а система, более или менее строго организованная ... И эта система принципиально важна для понимания как прозаического, так и поэтического произведения» [Сергеева 1998: 1]. В таком случае пока остается открытым вопрос о том, считать ли подобные явления ключевыми **словами** или все же для них более подходит номинация **ключевой смысл** текста.

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб., 1999.

Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург, 2000.

Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст: (На материале русской прозы XIX–XX вв.). СПб., 1999.

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ», 2001–2002. Режим доступа: [<http://www.gramota.ru>].

Караулов Ю.Н. Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности. М., 1992.

Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 тт. М. – СПб., 2002. Том 1. Язык. Режим доступа: [http://www.krotov.info/lib_sec/11_k/kas/sirer_17.htm].

Кашкин В.Б. Функциональная типология (неопределенный артикль). Воронеж, 2001. Режим доступа: [<http://kachkine.narod.ru/IndefArticleWeb/ArtCh1.htm>].

Лелис Е.И. Функционирование ключевых слов в речевой структуре художественного текста // Актуальные вопросы филологии. Чебоксары, 2005.

Сергеева Е.В. Ключевые слова и понимание художественного текста. Режим доступа: [<http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1998-2/1998-2-27.pdf>].

Фещенко О.А. Интерпретационный потенциал ключевых слов рассказа И. Бунина «Эпитафия» // Комментарий и интерпретация текста: Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 2008.

Фещенко О.А. Концепт ДОМ в художественной картине мира М.И. Цветаевой (на материале прозаических текстов). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2005.

Фещенко О.А. Лексическая организация рассказа И.А. Бунина «Сосны» // Современное прочтение программных художественных произведений. Новосибирск, 2007.

Шмелев А.Д. О словаре ключевых слов русской языковой картины мира // Русский язык сегодня. М., 2004. Вып. 3.

УДК 81'27

Ю.М. Бокарева

Новосибирск

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В статье рассматривается частный случай дискретизации – членение высказывания, в результате которого образуются лакуны, порождающие множество интерпретаций.

Предметом анализа в данной работе являются высказывания с одним имплицитным компонентом, который при попытке интерпретации можно заменить словом или словосочетанием. Например:

Нет! Вам красного детства не знать,

Не прожить вам покойно и честно.

Жребий ваш... но к чему повторять

То, что даже ребенку известно?

(Н. А. Некрасов. Сумерки)

Завершить высказывание *Жребий ваш...* можно разными способами. Вот несколько возможных вариантов: *ужасен, достоин сочувствия, незавиден* и т.д.

Такие конструкции можно квалифицировать как усеченные (прерванные, незавершенные, недоговоренные) предложения.

С коммуникативной точки зрения прерванные, недоговоренные высказывания создают необходимость заполнить лакуны, достроить конструкции, что заставляет читателя подключиться к процессу творчества.

В филологических исследованиях для обозначения этого явления используют термины *апосиопеза, умолчание, фигура умолчания*.

Апосиопеза – синтаксическая фигура, умышленно не завершенное высказывание, то же, что и «фигура умолчания» [Учебный словарь стилистических терминов].

Умолчание – синтаксическая фигура, сознательная незавершенность высказывания, которая порождает неопределенность смысла и ведет к усилению выразительности [там же].

Общепризнано, что прерванные предложения выполняют несколько функций: эвфемистическую, экспрессивную, эстетическую.

«Эвфемистическая функция проявляется в неназывании вещей своими именами, в стремлении выразить мысль не прямо, а намеком» [Груздева 1993].

«Умолчание отражает повышенную эмоциональность речи и мобилизует контекстуальное воображение читателя: вследствие умолчания внимание реципиента тем более концентрируется на том, что замалчивается; прерванную мысль контекст обычно позволяет реконструировать до цельности. Таким образом, умолчание служит средством акцентирования того, о чем прямо не сказано. Так нужно понимать и латинскую поговорку *Кто молчит, тот кричит*» [Назирова 1998: 57].

«Фигура умолчания способствует повышению выразительности текста, его образности и художественности, что усиливает его воздействие на воображение читателя» [Груздева 1993].

Следует отметить, что любые попытки интерпретации лакуны в каждом конкретном случае представляют собой сложную задачу, так как зависят не только от замысла говорящего, но и от восприятия читателя. Толкование, предложенное одним читателем, может существенно отличаться от интерпретации другого. Особенно сложным решение этой проблемы является в случаях, когда понимание «скрытой информации» требует обращения к макроконтексту, который связан с исторической и / или социальной ситуацией.

В качестве примера рассмотрим варианты интерпретации лакун стихотворения Геннадия Григорьева «Этюд с предложениями»:

*Мы построим скоро сказочный дом
С расписными потолками внутри.*

*И возможно доживем до...
Только вряд ли будем жить при...*

*И, конечно же, не вдруг и не к нам
в закрома посыплет манна с небес.
Только мне ведь наплевать на...
Я прекрасно обойдусь без...*

*Погашу свои сухие глаза
и пойму, как безнадежно я жив...
И как пошло умирать за...
Если даже состоишь в...*

*И пока в руке не дрогнет перо,
и пока не дрогнет сердце во мне,
буду петь я и писать про...
Чтоб остаться навсегда вне...*

*Поднимаешься и падаешь вниз,
как последний на земле снегопад.
Но опять поют восставшие из...
И горит моя звезда – над!*

Априори можно предположить, что восполнить лакуны этого текста могут стереотипные высказывания, подобные тем, которые использует Н. Елисеев, обозреватель журнала «Эксперт Северо-Запад». Вспоминая о Г. Григорьеве, он пишет: «Геннадий Григорьев, родившийся в 1950 году, умерший в 2007-м, не печатавшийся в 1960-е и 1970-е, в годы перестройки издавший два сборника стихов и две поэмы, в далеком, ныне уже историческом, если не доисторическом, 1969 году в свои 19 лет написал стихотворение, которому оставался верен всю жизнь. Всю жизнь оно было его программой. Теперь стало его реквиемом. Это – «Этюд с предложениями».

Одно из самых лучших и самых печальных исповеданий поэтической и человеческой свободы. «Мы построим скоро сказоч-

ный дом / С расписными потолками внутри. / И, возможно, доживем до... / Только вряд ли будем жить при..." Это про всех, надеющихся *дожить* если не *до полного и всеобъемлющего счастья*, то по крайней мере *до сказочного дома с расписными потолками* (курсив здесь и далее мой. – Ю. Б.).

А вот это уже специально про него, про поэта: "И пока в руке не дрогнет перо, / И пока не дрогнет сердце во мне, / Буду петь я и писать про... / Чтоб остаться навсегда вне..."

Так оно и было. Этому Геннадий Григорьев оставался верен. Про что бы он ни писал, – про счастливую и несчастную любовь, про парк Монрепо в Выборге, про старые шведские и финские названия нынешних русских дачных поселков, про университетскую столовку, Васильевский остров, про окно, которое он открывает, как книгу, чтобы читать снег, про команду "Зенит" или про перестройку – он всегда *оставался вне партий, влияний, социальных слоев и профессий*. За исключением одной-единственной профессии – профессии поэта. "И, конечно же, не вдруг и не к нам / В закрома посыплет манна с небес. / Только мне ведь наплевать на... / Я прекрасно обойдусь без..." И этому был верен Геннадий Григорьев. Ему действительно было *наплевать на все, от материального благополучия до морального удовлетворения*. Случалось, он прекрасно *обходился без спорта и без денег*. Только без одного он обойтись не мог – без стихов, без точного складывания слова к слову, созвучия к созвучию.

"Погашу свои сухие глаза / И пойму, как безнадежно я жив. / И как пошло умирать за... / Если даже состоишь в..." Он никому не был должен. *Состоял в Союзе писателей Петербурга*, куда был принят в конце 1980-х. Но это было совершенно неважно. На самом-то деле он нигде не состоял, как это и положено поэту. "Поднимаешься и падаешь вниз, / Как последний на земле снегопад. / Но опять поют восставшие из... / И горит моя звезда над..."» [Елисеев 2007].

В интерпретации Н. Елисеева использованы выражения, которые если и не могут быть названы устойчивыми в терминологическом смысле, то являются частотными: *доживем до полного*

и всеобъемлющего счастья; остаться вне партий; наплевать на все, от материального благополучия до морального удовлетворения; обойдусь без паспорта и без денег и т.д.

До проведения эксперимента представлялось, что текст Г. Григорьева актуализирует именно такие стереотипные высказывания. Но работы, выполненные студентами отделений «Филология» и «Журналистика» Новосибирского государственного педагогического университета, показали, что это не только не единственное прочтение, но даже и не частотное. Студентам было дано задание – заполнить пропуски в тексте, восстановить высказывание, не стараясь сохранить рифму.

Во многих студенческих работах был создан новый виртуальный мир, не похожий на тот, который ожидался. Вот одна из интерпретаций:

*Мы построим скоро сказочный дом
С расписными потолками внутри.
И возможно доживем до **рассвета**.
Только вряд ли будем жить при **солнечном дне**.*

*И, конечно же, не вдруг и не к нам
в закрома посыплет манна с небес.
Только мне ведь наплевать на **подачки**.
Я прекрасно обойдусь без **чудес**.*

*Погашу свои сухие глаза
и пойму, как безнадежно я жив...
И как пошло умирать за **царя**.
Если даже состоишь в **свите**.*

*И пока в руке не дрогнет перо,
и пока не дрогнет сердце во мне,
буду петь я и писать про **вольный ветер**.
Чтоб остаться навсегда вне **замкнутого круга**.*

*Поднимаешься и падаешь вниз,
как последний на земле снегопад.*

*Но опять поют восставшие из **клеток**.
И горит моя звезда – над **землей!***

В данной работе, как и в тексте Н. Елисеева, существует оппозиция “свобода-несвобода”, но представлена эта оппозиция другими реалиями: царю и его свите, клеткам и замкнутому кругу противопоставлен вольный ветер. Во второй строфе актуализируется семантическая область «чудесное», которой принадлежит *манна небесная* как Божье чудо и куда попадает *сказочный дом* первой строфы и, возможно, *царь со свитой* из третьей строфы. Возможно также, что автор данной интерпретации не стремился сохранить смысловую целостность всего текста: в первой строфе воссоздана формальная структура предложения, а сама строфа оказалась слабо связанной со всем текстом.

Приведем все варианты интерпретаций лакун, предложенные студентами:

*И возможно доживем до... **светлых дней/** светлого будущего// **счастья**// ста лет// старости// весны// рассвета, утра, зари// понедельника;*

Только вряд ли будем жить при... **царе// коммунизме// советской власти// партии// войне// этом (счастье)// солнечном дне;**

Только мне ведь наплевать на... **всё// вас// всех// манну небесную// еду// чудеса// заповеди// законы// указ// награды// власть// себя // оппозицию// подачки// несметные богатства;**

Я прекрасно обойдусь без... **чудес// всех// советов// запретов// денег// свободы// одобрения ограниченных людей// заповедей// законов//прикрас// излишеств, богатств, связей// почестей// волос;**

И как пошло умирать за... **других// идеи других// чужих// чужие интересы// воздя// Сталина// всех// ложь// тех, кто при жизни мертв// любовь// идею// царя// идеи// мечту// буржуев// блага// луну;**

Если даже состоишь в... **партии// ВКП// РА// ФСБ// ГПУ// советском обществе, списках с номерами// кругу// их рядах// свите// обществе// социуме// компании их// браке// оковах// нищете;**

<...> буду петь я и писать про... **любовь// жизнь// свободу// родину// все// людей// мир// душу// вольный ветер// Перро;**

Чтоб остаться навсегда вне... замкнутого круга// границ// рамок (правил)// дверей// игры// времени// жизни// лжи// страха// жестокости этого мира// пустоты// серых людей// стен// войны// суеты;

Но опять поют восставшие из... ада// пепла// мертвых// небытия// земли// тлена// прошлого// веков// слез// клеток// огня// грез// снега цветы;

И горит моя звезда – над... землей// всем// Вселенной// миром// городом// нами// головой// несправедливыми.

Как видно из ответов студентов, лакуны породили разнообразные интерпретации, среди которых были и повторяющиеся (они набраны полужирным курсивом), но вопреки ожиданиям повторяющиеся варианты не составили абсолютного большинства.

Рассмотренный пример, на наш взгляд, иллюстрирует взаимосвязь дискретности и недискретности. Формально не завершенное высказывание является результатом процесса дискретизации, т.е. прерывания, деления на две части: имеющую знаковое выражение и нулевую, не обозначенную знаком. План содержания в этом случае оказывается недискретным, что способствует появлению множества различных смыслов.

ЛИТЕРАТУРА

Груздева Е.Ф. Фигура умолчания, ее типы и функции в языке русской прозы: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1993.

Елисеев Н. Человек свободный // «Эксперт Северо-Запад» №12 (314) / 26 марта 2007. Режим доступа: [http://www.expert.ru/printissues/northwest/2007/12/poeziya_grigoreva].

Назиров Р.Г. Фигура умолчания в русской литературе // Поэтика русской и зарубежной литературы. Уфа, 1998.

Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск, 2005.

Тынянов Ю.Н. Проблемы стихотворного языка. М., 2007.

Учебный словарь стилистических терминов. Часть 1. Режим доступа: [<http://sigieja.narod.ru/stilslovar1.htm>].

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ В ОБРАТИМОЙ ЭПИСТОЛЯРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Статья посвящена исследованию функционирования парных интенций в эпистолярном диалоге на примере праздноречевого жанра (шутка-отзыв).

Тексты обратимой эпистолярной коммуникации (переписки) демонстрируют континуальный диалог (реплика-реакция) и позволяют исследовать его как вид целенаправленного речевого поведения с позиции теории речевых жанров. Соотношение текстозапросов и текстозв-откликов показывает связь между первичным и вторичным текстами.

Возможность непонимания из-за временной и пространственной дистанции между автором и адресатом заставляет адресанта более полно и ясно выражать свой замысел. Тексты переписки представляют отсроченный диалог адресанта и адресата, выраженный в том или ином жанре.

Занимая промежуточное положение между разговорной и книжной речью, письмо является наиболее подходящим материалом для решения общих проблем теории текста и речевого жанра.

Различные смыслы, придаваемые в лингвистике термину «речевой жанр» (вид / тип речевого произведения и интенция), безусловно, имеют право на существование и учитываются в нашей работе.

Классическую, на наш взгляд, формулировку речевого жанра (РЖ), можно найти в работах М.М. Бахтина. По его мнению, речевой жанр – это относительно устойчивый тип высказывания (целостная единица речевого общения).

РЖ – реально присущий речевой компетенции носителей языка образец (модель) говорения и письма.

На наш взгляд, было бы уместным выделять не жанры эпистолярных текстов, а интенции, задающие основной тон того или

иного письма. Но, поскольку многие исследователи придерживаются иной терминологии (а именно – выделяют жанр), в тексте нашей работы мы будем использовать и то и другое.

Тексты писем, написанные каждый в определенном жанре, несомненно, несут в себе посыл некоей коммуникативной цели (интенции), которую необходимо считать первым жанрообразующим признаком. Ведущим компонентом при идентификации РЖ является принцип целеполагания, так как отнесение РЖ к тому или иному типу возможно после определения цели высказывания.

Традиционно исследователями выделяются следующие признаки жанра: наличие определенной цели (иллокутивная сила), конкретный адресат, обращенность к адресату, монологическая форма, контактоустанавливающая роль адресанта (обращение, вопросы, модальные слова и пр.).

Несомненно, непрерывность обратимой эпистолярной коммуникации зависит от интенций (целей) писем коммуникантов при их заинтересованности в поддержании общения.

Исследуя тексты переписки, целесообразно, на наш взгляд, ввести термин *жанровая (интенционная) пара*, поскольку нами рассматриваются пары писем, в одно из которых заложен запрос-стимул, второе же содержит реакцию-ответ. Таким образом, мы можем наблюдать проявление дискретности в рамках жанра, выделяя единство более высокого порядка – жанровую пару.

Любая жанровая пара, на наш взгляд, имеет одинаковую структуру:



В известной модели описания речевого жанра Т.В. Шмелёвой на первое место выносятся цель (интенция) коммуникации как основной компонент любого речевого акта, Нам же кажется необходимым несколько видоизменить и дополнить данную модель.

Согласно Т.В. Шмелёвой, модель описания речевого жанра включает в себя коммуникативную цель жанра, образ автора, образ

адресата, образ коммуникативного прошлого, образ коммуникативного будущего, событийное содержание, языковое воплощение.

Несомненно, главным параметром является цель коммуникации – интенция; образ коммуникативного прошлого – это мотив настоящей коммуникации и обязательная оценка поступков адресата; образ коммуникативного будущего – это результат коммуникации, которого ожидает адресант; необходимо выделить речевые образы обоих коммуникантов (образ автора и образ адресата); событийное содержание, воплощенное в речевых формулах, – это собственно коммуникативный акт, который имеет определенное языковое выражение в виде семантического развертывания. Таким образом, в нашем изложении схема описания РЖ выглядит так: *интенция* (цель коммуникации), *мотивация* (образ прошлого), *оценка коммуникации*, *аргументация* (семантическое развертывание), *результат коммуникации* (прогнозирование, образ будущего), *речевой образ адресанта*, *образ адресата*, *языковое выражение*, *речевые формулы*.

Исследуя тексты переписки, созданные в определенном жанре, мы пришли к выводу, что часто письмо содержит одну генеральную интенцию, которая сопровождается периферийными интенциями-замыслами, ради которых создан был данный текст (например, в тексте письма-похвалы мы находим главную интенцию прямого одобрения и сопутствующие ей интенции совета, сообщения и пр.).

Следуя нашей модели описания РЖ, рассмотрим жанровую пару **шутка – отзыв**. Рписьмо Александра Павловича Чехова к брату Антону Павловичу Чехову от 25 февраля 1892 г.:

Алтон Палч! Вспоминай ежедневно и ежечасно, что ты – хоть и гейним, а все-таки не более, как только сотрудник, тогда, как твой старший брат – редактор, – и преисполняйся уважения ко мне «...». Твой Редактор (а не такая тля, как ты – сотрудник). Ал. Чехов.

P.S. Не забудь, что у меня жена величает себя РРРедакторшей. До завтра.

Цель: пошутить с братом, продемонстрировать юмористический талант.

Мотив: должность Ал.П. Чехова превышает должность А.П. Чехова на данный момент.

Оценка: положительная.

Семантическое развертывание:

• *Алтон Палч* – шутливое обращение к адресату (свойственное для писем обоим братьев);

• *Вспоминай ежедневно и ежечастно, что ты – хоть и гейним, а все-таки не более, как только сотрудник, тогда, как твой старший брат – редактор* – нарочито нелепая просьба помнить всегда о том, что старший брат занимает должность редактора журнала «Пожарный»; шутливое противопоставление сотрудник – редактор;

• *Преисполняйся уважения ко мне* – шутливая просьба испытывать уважение к своему старшему брату;

• *Твой Редактор (а не такая тля, как ты – сотрудник)* – вновь обозначается название должности Ал.П. Чехова (с большой буквы); противопоставление сотрудник – редактор; слово *тля* помогает подчеркнуть неуважение (шутливое) к всего лишь сотруднику; смягчение грубоватой шутки достигается за счет слова *твой*;

• *Не забудь, что у меня жена величает себя РРРедакторшей* – усиление воздействующего эффекта на адресата с помощью сообщения об отношении к редакторству Ал.П. Чехова его жены (усилено тремя *Р* и словом *величает*).

Результат: вызвать у брата ответную, шутливую реакцию, желание, чтобы шутку поняли и оценили.

Речевой образ автора: старший брат; использование языковой игры (*Алтон Палч, гейним*), стилизации (*преисполняйся уважения...; жена величает...*), ругательства (*тля*) для достижения комического эффекта.

Образ адресата: брат.

Языковое выражение: использование экспрессивных синтаксических конструкций; вставка замечания в скобках с противопоставлением; обороты: *ты хоть и..., а все таки не более, как...; тогда как...; не такая..., как ты...; не забудь, что...*

Речевые формулы: «говорю это, потому что хочу, чтобы ты это знал»; «говорю это, потому что хочу пошутить с тобою, вы-

звать улыбку, чтобы ты порадовался за меня»; «думаю, что ты оценишь мою шутку, захочешь ответить на нее».

Отзыв А.П. Чехова на шутку:

Пожарный Саша! Твой журнал получаем и с восторгом прочитываем биографии великих брандмайоров и списки пожалованных им орденов. Желаем, Сашечка, и тебе получить Льва и Солнца <...> 2-ой номер «Пожарного» составлен лучше, чем 1-й. Родственникам твоим лестно, что ты ведешь дело вместе с графом (граф А.Д. Шереметьев, основатель журнала. – А.Б.) и помещаешь портреты князей. Кланяйся, душенька, их сиятельствам и попроси у них рублик на братство, душенька. Что мне заплатит граф, если я пришлю пожарный рассказ? Даст 100 руб.? <...> (от 21 марта 1892 г.).

Цель: пошутить в ответ, поддержать отношения с братом.

Мотив: шутка старшего брата.

Оценка: положительная.

Семантическое развертывание:

● *Пожарный Саша!* – демонстрация того, что адресант шутку оценил и готов в ответ пошутить;

● *Твой журнал получаем и с восторгом прочитываем биографии великих брандмайоров и списки пожалованных им орденов* – ироничный тон; оказывается, восторг вызывает вовсе не факт редакторства старшего брата, а биографии великих людей, напечатанные в его журнале;

● *Желаем, Сашечка, и тебе получить Льва и Солнца* – вот предел, к которому надо стремиться брату, по мнению А.П. Чехова (что там – редакторство, ерунда!);

● *2-ой номер «Пожарного» составлен лучше, чем 1-й* – отход от прямой шутки, вставка замечания (воздействующий эффект: я выше, чем ты, хоть ты и редактор, а я тебя поучу);

● *Родственникам твоим весьма лестно, что ты ведешь дело с графом и помещаешь портреты князей* – ироничный тон возвращается (приближенность к великим особам – вот что лестно родственникам, а не заслуги в журнале самого Ал.П. Чехова);

● *Кланяйся, душенька, их сиятельствам и попроси у них рублик на братство, душенька* – усиление иронии (двойное душенька,

попроси рублик на братство; кланяйся их сиятельствам (и портретам, в том числе)); шутовство, граничащее с ёрничеством (*попроси рублик на братство*);

• *Что мне заплатит граф, если я пришлю пожарный рассказ? Даст 100 руб.*? – 100 рублей считались большой суммой, вряд ли кто-нибудь мог заплатить А.П. Чехову за рассказ (хоть и на пожарную тематику) такой гонорар; шутливая демонстрация желания примкнуть к обществу «их сиятельств».

Результат: поддержание общения с адресатом.

Речевой образ автора: старший брат.

Образ адресата: брат; использование стилизации и языковой игры (*кланяйся, душенька, их сиятельствам; попроси рублик на братство, душенька*).

Языковое выражение: обилие предикатов (*получаем, прочитываем, желаем, кланяйся, попроси*); сложные предложения.

Речевые формулы: «хочу, чтобы ты знал мое отношение к этому», «говорю это, чтобы поддержать шутку».

С учетом известных типологий диалогических жанров нам кажется возможным объединить их в одну, отражающую наиболее частотные жанры (интенции) эпистолярного диалога: *информативные* (вопрос – ответ, сообщение – отзыв и др.), *праздноречевые*, выделяемые вслед за Н. Д. Арутюновой (признание – отзыв, жалоба – утешение и др.), *этикетные* (поздравление – благодарность, приглашение – отзыв и др.), *императивные* (требование – отзыв, просьба – согласие / отказ и др.), *эмотивно-оценочные* (упрёк – оправдание, похвала – благодарность, комплимент – отзыв и др.).

Информативные жанры становятся необходимыми в случаях, когда автор хочет получить ответы на свои вопросы о здоровье адресата, его семьи, о новостях, о творческих планах и успехах.

Императивные жанры привлекаются при составлении делового поручения или личной просьбы, дружеского совета или шутливой назидания и пр.

Оценочные жанры используются для демонстрации одобрения или неодобрения того или иного поступка адресата или вынесения приговора (как положительного, так и отрицательного) его поступку.

Этикетные жанры нужны в случаях, когда автор хочет поздравить адресата с праздником, с личным успехом, извиниться, пожаловаться или, наоборот, утешить, продемонстрировав тем самым дружеское участие.

Праздноречевые жанры используются коммуникантами при поддержке друг друга, они передают душевное состояние, отклик и сопереживание.

Таким образом, непрерывность эпистолярного диалога напрямую зависит от коммуникативных интенций, которые способствуют поддержанию интереса к продолжению общения.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998.

Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М., 2002.

Жанры речи. Саратов, 1997.

УДК 81.161.1+81

Н.В. Носенко

Новосибирск

ДИСКРЕТНОСТЬ КАК ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ НОМИНАЦИИ

В данной статье выявляется тенденция к дискретности элементов в составе городских названий, проявляющаяся на структурном уровне и обеспечивающая содержательную целостность многокомпонентной номинации.

Современные городские названия в последние десятилетия стали объектом пристального внимания русистов по ряду причин. Во-первых, в связи с демократизацией номинативных процессов в этой области, по названию можно судить как о языковой личности номинатора, так и о языковой среде города в целом. Во-вторых, эргонимы являются той областью в ономазиологии, в которой находят своё отражение современные номинативные

процессы, например аббревиация (фирмы «*Промснабсбыт*» и «*БАС*») и контаминация (магазины «*Обуванчик*» и «*Спортугалия*»). В-третьих, наряду с информативной функцией, важными для эргонимов становятся функции языкового воздействия (экспрессивная, аттрактивная, мнемоническая, магическая и игровая), что позволяет рассматривать городское название как рекламное имя [Крюкова 2004]. Именно желание номинатора сделать название более привлекательным и запоминающимся заставляет его искать пути представления в одной номинации нескольких смыслов, то есть дискретного представления значения эргонима: чем больше различных ассоциаций вызывает номинация, тем лучше. Для этих целей используются словообразовательные ресурсы русского языка: номинации образуют как по узуальным моделям (печник, речник – магазин «*Пивник*»), так и при помощи актуализации ложных, как правило заимствованных, морфем и их графического маркирования: магазин «*МастерОК*», ресторан «*Fishнебельная кухня*», рекламное агентство «*Золотая fishка*».

Целью данной работы является анализ способов образования эргонимов, которые наиболее часто используются номинаторами Новосибирска для дискретного представления структуры имени.

Поскольку среди способов словообразования в новосибирской городской номинации лидирует словосложение [Носенко 2007: 15], подробно рассмотрим проявления дискретности в композитном словообразовании. Наблюдая разные типы словосложения в эргонимии, мы увидели большое структурное, структурно-семантическое разнообразие этого явления. В связи с этим решили обратиться к пониманию сравнительно нового термина «комполит» (от лат. *compositum* – составленное), «внутренняя форма» которого позволяет объяснить многие факты соединения (то есть композиции) смыслов в рамках более или менее устойчивых составных наименований.

К проблеме «комполитов» обращались многие исследователи [Василевская 1962; Шанский 1968; Подольская 1978; Немченко 1984; Балалыкина, Николаев 1985; Земская 1992]. Существует узкое и широкое понимание этого термина («комполитив», «компрессивное словообразование», «комполита»).

Узкое понимание термина представлено в «Словаре русской ономастической терминологии» [1988]: «Composita (в именах) – однословное сложное имя собственное, имеющее в своём составе не менее двух корневых морфем» [Подольская 1978: 66] и в Лингвистическом энциклопедическом словаре: «Словосложение – один из способов словообразования, состоящий в морфологическом соединении двух или более корней (основ). В результате образуется сложное слово, или композит...» [Виноградов, ЛЭС, 2002: 469]. Такого (узкого) понимания придерживаются Н.М. Шанский, Э.А. Балалыкина, Г.А. Николаев, В.Н. Немченко.

Данное определение имеет некую степень абстракции, так как сложное слово может быть разным: с интерфиксом и без него, а также с суффиксом. Кроме того, некоторые лингвисты и аббревиатуру считают сложным словом.

Широкое понимание мы находим у В.Н. Шапошникова [1998: 94 – 98], который трактует композит как любое сложное наименование, мотивированное не одним номинативным смыслом и образованное без участия аффиксов (в том числе аббревиация и устойчивые терминологические словосочетания типа *рыбий жир*, *белый стих*, *Первая клиническая больница*).

Цели нашей работы удовлетворяет традиционный подход (но с включением аббревиации), так как он позволяет отграничить все виды сложных эргонимов от аффиксальных наименований.

Итак, среди эргонимов-композитов мы выделяем:

- «сложные» эргонимы;
- переходные явления (сложносоставные эргонимы с неизменяемой первой частью, которая характеризует, определяет вторую, и эргонимы-контаминаты);
- эргонимы-аббревиатуры.

Остановимся на анализе «сложных» эргонимов Новосибирска.

Сложным эргонимом мы называем номинацию, возникшую в результате словосложения и основосложения, то есть лексему, в состав которой входит не менее двух производящих слов или основ, например: «*Домоцентр*», «*Новосибирскмебель*», «*Лакокраска*» и другие. Сложные эргонимы г. Новосибирска составляют 10% от всего исследуемого языкового материала. В качестве

исходной базы выступают сочетания двух и более основ. В качестве форманта – интерфикс и закреплённый порядок компонентов, единое ударение.

Определим характеристики сложного эргонима:

1) сложный эргоним – это цельноформленное лексическое образование, состоящее из двух и более корневых морфем. Цельноформленность – основной критерий отграничения сложного эргонима (магазин *«Книгомир»*, магазин *«Лакокраска»*) от эргонима-словосочетания (магазин *«Мир книги»*, фирма *«Лаки и краска»*);

2) для образования сложного эргонима необходимо наличие не менее двух знаменательных слов;

3) каждое название имеет индивидуально и однажды зафиксированный порядок элементов (в акте номинации), что является важной различительной чертой, а также выполняет информирующую функцию, ср.: *«Омскишинановосибирск»* и *«Новосибирскишина»*, *«Оптигрушка»* и сочетание *«Игрушки оптом»*;

4) являясь единой лексической единицей, сложный эргоним относится к существительным, грамматически оформляется, обычно имеет одно основное ударение и на письме обозначается слитным или дефисным написанием: рекламное агентство *«Альфадизайн»*, компания *«Строй-Дизайн»*;

5) являясь цельноформленным, сложный эргоним дает базу для образования других производных слов, например, в таком контексте: – *Это ваш работник?* – *Нет, это домоцентовский*. Однако от сложных эргонимов, состоящих из более чем двух корней, производные, как правило, не образуются;

6) компоненты сложного эргонима довольно редко соединяются при помощи своеобразных словообразовательных морфем – соединительных гласных: например магазин *«Домоцентр»*. Заметим, что большую, очень разнообразную по структуре группу сложных эргонимов составляют образования без интерфиксов и эта группа интенсивно пополняется последние годы: *«Комплектсервис»*, *«Гримстиль»*, *«Сибирь-недвижимость»*, *«Престиж-плюс»*, *«Факт-аудит»*. Сложение в таких эргонимах базируется на сочинительных связях образующего

словосочетания. Нередко эргонимы образуются путём сложения трёх слов: *«Новосибирскбизнескомпания»*, *«Альфа-банк-Новосибирск»*. Это можно объяснить желанием владельцев внести большую информативность в название фирмы, хотя, с точки зрения потребителя, такие названия громоздкие и не всегда несут прозрачную информацию об именуемом объекте.

Периферия сложных эргонимов – это образования, в которых участвуют синкретические морфемы-префиксоиды (компании *«Авиастрой»*, *«Видеопринт»*, *«Экспресскурьер»*, магазин *«Видеотехника»*), а также сложносокращенные эргонимы типа: фирма *«Сибмебель»*, компании *«Трансгрупп»*, *«Продсельмаши»*, *«Финсиб»*, *«Снабтрансстрой»*, которые обычно относят к слоговым аббревиатурам, но совершенно очевидно, что за входящими в состав данных эргонимов слоговыми отсечениями (*Сиб-*, *транс-*, *прод-*, *сель-*, *фин-*, *снаб-*) закрепилось ЛЗ, их значение понятно всем носителям русского языка. Данные элементы, по наблюдениям Д.И. Алексеева, приобрели общеязыковую стабильность ещё в 60 – 70-е гг. XX века [Алексеев 1968: 80]. Они являются как бы связующим звеном между сложными словами и аббревиатурами. Звуковые, буквенные и смешанные аббревиатуры находятся за границами сложных слов (являясь сложносокращёнными наименованиями), но в рамках композитов, так как отвечают внутренней форме этого термина (составное).

В анализируемой иерархии проявляется сильная тенденция к аналитизму в современном русском языке, особенно это касается среднего звена схемы – сложения без интерфикса.

Необходимо упомянуть о единичных случаях рифмованного сложения слов (*гендиадиса* по терминологии А.Ф. Журавлева [Журавлев 1982: 85]). В большинстве случаев номинаторы используют готовые заимствованные конструкции: театр-студия *«Тутти-Фрутти»*, кафе *«Ширли-Мырли»*. По их образцу создано название кафе *«Амур-Тимур»* и магазина *«Пивасик и квасик»* (на основе разнословного словосложения с сочинительными связями).

Среди эргонимов Новосибирска частотны наименования с интернациональной иноязычной первой частью: магазины *«Радио-*

мир», «*Радоидетали*», «*Видеотехника*»; фирмы «*Видеопринт-сервис*» и многие другие. Поскольку части таких слов имеют высокую степень семантической и фонетической самостоятельности, то многие лингвисты относят их к словосочетаниям, например, М.В. Панов называет представленные неизменяемые элементы «словосочетаниями с аналитическими прилагательными» [Панов 1999: 152 – 156]. Мы считаем эргонимы такого типа, так же как и авторы «Русской грамматики» [1980], сложными словами и относим их к первой группе (отличительная особенность подобных сложных эргонимов в том, что первая часть – синкретичная морфема-аффиксоид (на грани корня и аффикса), то есть в данном случае префиксоид). Новейшие образования типа «*Экспресскурьер*», «*Престиж-плюс*», «*Аудит-Сервис*», «*Байт-Аудит*», «*Бизнес-стандарт*» будем относить к сложно-составным словам с неизменяемой первой частью, которая характеризует, определяет вторую. Подобные эргонимы относятся ко второй группе сложных названий.

Между первой и второй группами разница в том, что в существительных первой группы начальные интернациональные части имеют более тесные связи со вторым компонентом (тем более что многие из них являются сокращениями исходных единиц).

Контаминация, в нашем понимании, относится к переходному явлению между сложением и аббревиацией [Носенко 2007: 105]. Контаминация (от лат. *contaminatio* – смешение, соприкосновение) – объединение в речевом потоке структурных элементов двух языковых единиц на базе их структурного подобия или тождества, функциональности или семантической близости [Бельчиков 1994: 256]. Вслед за И.С. Улухановым мы считаем контаминацию особым способом словообразования, который в семантическом отношении аналогичен аббревиации и (или) словосложению, но в структурном плане не тождественен ни тому, ни другому [Улуханов 1984: 60 – 62].

Среди эргонимов Новосибирска назовем следующие контаминанты: бильярдная «*ШароКатица*» (образовано от сочетания *шар* и *катиться* на фоне созвучного слова *каракатица* со значением ‘головоногий морской моллюск’), бар «*ЧемПивон*» (назва-

ние объединяет смыслы ‘чемпион’ и ‘пиво’), магазин одежды для детей и подростков «*МолОдѣжка*» (‘молодой’ и ‘одѣжка’), магазин детской обуви «*Обуванчик*» (‘одуванчик’ и ‘обувь’), магазин товаров для спорта «*Спортугалия*» (‘спорт’ и ‘Португалия’), склад-магазин «*Кайфель*» (‘кайф’ и ‘кафель’), кафе «*Артишок*» (‘артистический’ и ‘шок’ на фоне созвучного слова *артишок* со значением ‘травянистое растение семейства сложноцветных с крупными соцветиями, нижние части которых идут в пищу’), ООО «*Сиблакра*» (‘сибирские лаки и краска’), магазин «*Пиваныч*» (‘пиво’ и ‘Иваныч’) и другие.

Наше описание демонстрирует, что структура эргонимов-контаминантов представляет собой различные варианты комбинирования элементов с различной степенью их наложения друг на друга. Наложение редко бывает морфемным, чаще всего границы морфем разрушаются, но накладываемые элементы фонетически совпадают [Носенко 2007: 106].

С точки зрения семантики производящих единиц и их функции можно говорить о характеристике (конкретизации) ассортиментных единиц («*ЧемПивон*» – ‘пиво для чемпионов’, «*МолОдѣжка*» – ‘одежда для молодых’) и взаимообогащении смыслами: «*Обуванчик*» (‘обувь для детей’, так как часто детские учреждения и магазины называют «*Одуванчик*»), «*Спортугалия*» (наложение смыслов ‘спорт’ и ‘страна с футбольными традициями’).

В заключение отметим, что анализ дискретно представленных элементов в составе современной городской номинации позволяет не только увидеть всё структурное разнообразие словообразовательных моделей. Такой подход приводит к выводу о некоем намеренном дроблении структуры номинации при сохранении ее смысловой целостности с целью наиболее полного выполнения востребованных в современных рыночных условиях функций эргонимов, а именно: информирующей, мнемонической и аттрактивной.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев Д.И. Создание новых словообразовательных способов (аббревиация) / Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского языка. Социолого-лингвистическое исследование. М., 1968.

- Балалыкина Э.А.** Русское словообразование. Казань, 1985.
- Бельчиков Ю.А.** Контаминация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 2002.
- Василевская Е.А.** Словообразование в русском языке (очерки и наблюдения). М., 1962.
- Журавлев А.Ф.** Технические возможности русского языка в области предметной номинации. М., 1982.
- Земская Е.А.** Словообразование как деятельность. М., 1992.
- Крюкова И.В.** Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград, 2004.
- Лингвистический энциклопедический словарь.** М., 1990.
- Немченко В.Н.** Современный русский язык: Словообразование. М., 1984.
- Носенко Н.В.** Названия городских объектов Новосибирска: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2007.
- Носенко Н.В.** Эргонимы-контаминанты: структура, семантика, особенности функционирования и интерпретации // Сибирский филологический журнал. 2007. №2. Новосибирск, 2007.
- Панов М.В.** Позиционная морфология русского языка М., 1999.
- Подольская Н.В.** Словарь русской ономастической терминологии М., 1978.
- Русская грамматика.** М., 1980. Т. 1.
- Улуханов И.С.** Узуальные и окказиональные единицы словообразовательной системы // Вопросы языкознания. 1984. № 1.
- Шанский Н.М.** Очерки по русскому словообразованию М., 1968.
- Шапошников В.Н.** Русская речь 1990-х: современная Россия в языковом изображении. М., 1998.

НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ БЫТИЙНОСТИ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

В статье рассматривается семантическая структура высказываний с предикатом, выраженным глаголом прекращения биологического существования. Ставится о вопрос об определении их места в ряду семантических типов высказываний.

Как отмечают исследователи, структура поля бытийности в русском языке определяется отношениями предикативной семантики бытийности к синтаксической структуре предложения и включает две сферы – бытийность, представленную предикатом существования, и бытийность, выражаемую в номинативном предложении. Выражение семантики существования – несуществования при помощи предиката именуется дискретной бытийностью [Бондарко 1996: 52]. Исследование ее семантических разновидностей изначально было направлено на высказывания с основными бытийными глаголами [Воейкова 1996: 54]. Ядром бытийных глагольных конструкций являются те, в которых коррелируют лексическая и грамматическая бытийность. На лексическом уровне для выражения бытийной ситуации используются прежде всего глаголы, указывающие на существование в широком смысле слова ((не) *быть*, (не) *существовать*), в них отсутствует способ представления существования, его характеристика. На грамматическом уровне выражение этого значения связано с такими характеристиками глаголов, как отсутствие видового противопоставления (они относятся к неопределенным глаголам несовершенного вида), в высказывании они часто выступают в обобщенно-фактическом значении, употребляются в форме третьего лица. Характеристика бытийного значения определяет чрезвычайно широкую семантическую сочетаемость данных единиц с именами в позиции бытующего объекта.

Иначе обстоит дело с многочисленными глаголами характеризованного бытия, которые, с позиции лексикологов (Н. Ю. Шведовой, Л. М. Васильева, А. П. Чудинова), также входят в состав бытийных глаголов. Во многих случаях эти единицы не имеют «специальной направленности» на выражение семантики существования, следовательно, элемент бытийности в высказываниях с такими глаголами в позиции предиката «лишь подразумевается, вытекает из предикации того или иного содержательного признака», то есть является имплицитным [Бондарко 1996: 53]. Таким образом, по отношению к бытийным высказываниям с предикатом, выраженным небытийным глаголом, актуальным становится вопрос о возможности квалификации бытийных высказываний неядерного типа как дискретного способа выражения рассматриваемой семантики – вопрос, который осложняется неоднородностью названной группы глаголов.

Разновидностью этих глаголов являются фазовые глаголы (начала, протекания, прекращения, возрождения бытия), в том числе – глаголы биологического существования (*погибнуть, умереть*). Они отличаются от ядерных глаголов семантической сочетаемостью и грамматическими свойствами. Лексическое значение центральных единиц подгруппы прекращения биологического существования указывает на бытийную семантику, и лишь в случае метафорического употребления они могут стать причиной коммуникативной неудачи: *Якудза по кличке Барсук умер вместе с шайкой Тёбэй-гуми*. Однако такое употребление, как правило, сопровождается указанием на семантику изменения состояния человека – употреблением в форме первого лица с использованием определений типа *прежний, тот* и/или комментарием, включающим предикат существования в сочетании с другим именованьем того же самого бытующего объекта: *Теперь в том же теле обитал новый человек по имени Сибата-сан, нет, лучше «мистер Маса», который должен был соответствовать своему званию* (Б. Акунин. Алмазная колесница).

Глаголы со значением прекращения биологического существования не исчерпываются синонимическим рядом лексемы *умереть*. Они чрезвычайно разнообразны как в лексическом, так

и в грамматическом отношении, в связи с чем могут выступать в роли бытийных предикатов либо без поддержки контекста (*умереть, убить*), либо с необходимостью такой поддержки (*шибануть, разбиться*). Очевидно, что и в том, и в другом случае имеет место разная степень реализации интерпретационных возможностей.

Особую подгруппу глаголов, способных выполнять функцию предиката бытийного высказывания, составляют каузативные глаголы – переходные, со значением физического воздействия на объект, – преобразующего или разрушительного. Очевидно, что интерпретация высказываний с их участием требует дифференцированного подхода к анализу их лексико-грамматических свойств, внимания к контексту. В синтаксическом словаре «Русские глагольные предложения» высказывания с предикатами – глаголами рассматриваемого типа – квалифицируются как предложения, отображающие ситуацию лишения жизни живого существа, которая включается в группу «Физическое действие на объект», шире – «Действие и деятельность», несмотря на то, что в группе предложений, отображающих ситуацию прекращения действия, бытия, состояния, не исключается использование каузативных глаголов (при бытующих объектах, выраженных неодушевленными существительными) [Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь 2002: 261].

Бытийная семантика в высказываниях с предикатами названного типа выводится благодаря предварительным знаниям о последствиях действий, названных глаголом (прекращение биологического существования). Это, в свою очередь, указывает на корреляцию глагола и имени в позиции бытующего объекта (живое существо, человек).

Перфектный характер значения небытия обуславливает выбор формы совершенного вида прошедшего времени, что является существенным отличием по сравнению с ядерными бытийными предикатами. Общей с ними грамматической характеристикой глаголов остается «запрет» на форму будущего времени, когда результат представляется гипотетическим, ср.: – *Да если эти трое – опытные хитокири, то бишь головорезы, они **изрубят в капусту***

уйму народу! – Или...зарезжут себя, и тогда следствие зайдет в тупик... – **Не случится** ни первого, ни второго (Б. Акунин. Алмазная колесница).

Нейтрализация небытийного значения, в нашем случае – значения действия, включает ее дезактуализацию в возвратных и причастных формах: *Тот кинул один взгляд на небосклон, вскинул свой лук и безошибочно послал стрелу в ту из лун, которой прикинулась волшебница. Злодейка **была убита**, и наваждение рассеялось* (Б. Акунин. Алмазная колесница). Неизменным грамматическим признаком бытийного предиката остается отношение к категории лица: единственно возможной формой остается форма третьего лица, если речь не идет о переносном употреблении в этикетной фразе (*Мадам, я убит, я уничтожен*) или ситуации игры.

Исследователи уже на этапе описания семантической группы глаголов отмечают конверсию (залоговое явление) как один из видов семантических отношений в пределах поля каузативных глаголов лишения жизни. Для них «характерен тип конверсии “преобразование активной конструкции в пассивную конструкцию”»: *Солдат убил врага ↔ Враг убит солдатом* (см., например, [Баклагова 2005]). Очевидно при этом, что в пассивной конструкции семантика действия остается достаточно яркой благодаря наличию компонента со значением субъекта действия. Это указывает на важность роли семантической структуры высказывания: бытийная семантика в нем усиливается при отсутствии элемента со значением «субъект действия» (ср.: *Враг убит солдатом – Враг убит*) или других элементов, характеризующих собственно семантику действия – «инструмент», «средство», «способ» [Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь 2002: 130].

Таким образом, несуществование объекта как результат предшествующего действия оказывается в центре внимания в результате действия нескольких факторов, которые можно назвать механизмом нейтрализации небытийного значения. В числе этих факторов – особенности лексической семантики глагола, фоновые знания, связанные с названным действием, грамматические

характеристики глагола, наконец, элементы контекста, поддерживающие бытийную семантику (актуализаторы).

Особый интерес в связи с рассматриваемой проблемой вызывает функционирование в роли бытийного предиката лекси́мы *разбиться*. В лексикографических источниках и лексических исследованиях, посвященных глаголам бытия, нет единства в ее оценке. Значение «погибнуть» отмечено как ▲ (дополнительное) в «Словаре сочетаемости слов русского языка» и не отмечается в Словаре русского языка в 4-х томах (МАС). В то же время А. П. Чудинов включает лекси́му в группу глаголов перехода от биологического существования к биологическому несуществованию [Чудинов 1979: 39], Л. М. Васильев – в группу предикатов смерти, подгруппу инхотативов со значением «умереть по той или иной причине» [Васильев 2005: 20]. Интерпретация высказываний с этим глаголом затруднена его залоговой характеристикой: непереходный, образован с изменением лексического значения, то есть даже с некоторой долей условности употребления термина не может быть включен в ряд конверсивов. Бытийное значение может иметь место всякий раз, когда данный глагол употребляется в высказывании без распространителей в форме совершенного вида прошедшего времени: *N разбился*.

В составе высказывания актуализатором бытийной или же небытийной семантики является выражение обстоятельственных элементов – локализатора и элемента со значением интенсивности действия. В диалоге вопросы о местонахождении лица, о котором идет речь, и характере действия могут быть признаком ошибочной интерпретации высказывания или способом верификации: – *N разбился*. – *Сильно? Где он?* (из разговорной речи). Очевидно, что элемент со значением интенсивности процесса, названного глаголом, играет в интерпретации высказывания особую роль. Только крайняя степень интенсивности (*разбиться* = «получить травмы, несовместимые с жизнью»), актуализация значения «результат» характерна для бытийных высказываний и может быть выражена единицами типа *насмерть*: *Однако 22 мая князь Лобкович в финальном заезде через четыре минуты после старта потерял управление своей Bugatti и разбился насмерть*

(В. Абарин. Личный Распутин фюрера (2003) // «Совершенно секретно», 2003.07.07).

Следует, однако, отметить, что при отсутствии названных грамматических характеристик предиката актуализаторы оказываются недостаточным условием реализации бытийного значения: *Угрюмый, увидев внизу землю, зажмурился от страха: ему казалось, что они сейчас разобьются о землю в лепешку, но, всецело доверившись своему спасителю, сиганул вместе с ним в неизвестное, страшное...* (Виктор Доценко. Срок для Бешеного).

Названное глаголом событие, как правило, связывается с транспортом, спортом, взаимосвязь с причиной может быть выражена при помощи параллельных сообщений типа *...за последние пять лет в России **разбились** 220 летательных аппаратов, **погибло** свыше 3000 человек...* (А.Казинцев. Менеджер дикого поля // «Наш современник», 2004.11.15). Однако семантический элемент «причина» вряд ли можно считать актуализатором бытийности, поскольку он встречается в высказываниях разной семантики, ср.: *Он умер, Валя... Умер Кянукук... Он **разбился на мотоцикле**. Я тебе все расскажу* (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора) – *Но так случилось, что через полгода я успокоился, вернулся к прежней жизни и я **разбился на мотоцикле** – очнулся только в реанимации на операционном столе* (А. Сотников. Монах-десантник, или к Богу через бесов). Авария на транспорте является причиной смерти в первом случае и получения серьезных травм во втором. Актуализация бытийной семантики происходит при помощи использования в контексте ядерного глагола группы прекращения биологического существования *умер*. Во втором случае такой интерпретации препятствует глагол *очнуться* в сочетании с локализатором *в реанимации на операционном столе*.

Обладая большим интерпретационным потенциалом, бытийные высказывания способны выражать различные оттенки экзистенциального значения, закономерности выбора их разновидностей во многом определяются спецификой языковой сферы. Эмотивность, оценочность, образность – свойства нестрогих сфер, которые и характеризуются употреблением рассматриваемых глаголов в бытийном значении. Таким образом, особенности

разговорной речи и обладающих некоторыми сходными с ней характеристиками жанров публицистического стиля представляют собой еще один фактор интерпретации семантики высказываний с глаголами типа разбиться.

В ряду этих факторов может выступать и ситуация: в ситуации рассказа о гибели (событии, имевшем место некоторое время назад, возможно, с людьми, незнакомыми адресату) можно предположить большую коммуникативную «безопасность» небытийных глаголов в позиции бытийных предикатов, нежели в ситуации общения о смерти: У нас в деревне один мальчик лазил-лазил по скалам, упал и разбился, говорит Тютюнин. – У вас в деревне живые-то мальчики хоть остались? (А. Иванов. Географ глобус пропил). В данном примере описано событие, произошедшее с неизвестным лицом (один мальчик) некоторое время назад. Действия лица (лазил-лазил по скалам) связаны с риском для жизни, и слушающий безошибочно интерпретирует значение глагола как бытийное, однако следствием данной интерпретации является не эмоциональная реакция, а операция обобщения (У вас в деревне живые-то мальчики хоть остались?).

Представляется, что, несмотря на свое явно периферийное положение в поле бытийности, бытийные высказывания с глаголами прекращения биологического существования не могут быть однозначно отнесены ни к одной из основных групп сопряженных высказываний – бытийно-локативных и бытийно-качественных. Определение их типа требует своего дальнейшего рассмотрения.

Таким образом, высказывания с «деструктивными» глаголами представляют собой интересный объект изучения как с позиции функциональной грамматики, так и в коммуникативном аспекте.

ЛИТЕРАТУРА

Баклагова Ю.В. Типы смысловых отношений единиц семантического поля // Виноградовские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23–24 ноября 2005 года. Тобольск, 2005.

Бондарко А.В. Бытийность // Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность. СПб, 1996.

Васильев Л.М. Системный семантический словарь русского языка. Предикатная лексика. Уфа, 2005.

Войкова М.Д. Бытийные ситуации // Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб, 1996.

Карпова Е.В. Актуализация семантики существования в высказываниях с предикатами неядерного типа // Проблемы интерпретационной лингвистики: интерпретаторы и типы интерпретаций. Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 2004.

Колшанский Г.В. Контекстная семантика. Изд. 2-е, стереотипное. М., 2005.

Матханова И.П. Высказывания с семантикой состояния в современном русском языке. Новосибирск, 2000.

Нетяго Н.В. Лексико-семантическая группа и функционально-семантический класс глаголов возникновения / исчезновения // Функциональная семантика слова. Свердловск, 1992.

Петкова С.А. К проблеме интерпретации высказывания: коммуникативные неудачи в диалоге // Российский лингвистический ежегодник. 2007. Вып. 2 (9). Красноярск, 2007.

Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь / Под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М., 2002.

Чудинов А.П. Сопоставительный анализ каузативных и некаузативных глаголов одной лексико-семантической группы слов // Классы слов и их взаимодействие. Свердловск, 1979.

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ КАК МАНИФЕСТАЦИЯ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТЕКСТА

*И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду божью
Людская кривда к бою не звала!..*

Ф. Тютчев. Ужасный сон тяготел над нами...

В статье анализируются те семантические трансформации и коннотативные переосмысления, которые произошли с библейскими мотивами в творчестве поэтов советского времени. Библейские эпизоды не только трансформируются, но и искажаются. Авторские метаморфозы приводят либо к выхолащиванию и фальсификации их смысла, либо к приобретению ими глубокого символического содержания.

Писатели и поэты эпохи социализма постоянно обращались к мотивам и образам Святого Писания. В ранг Бога (Иисуса Христа) многие поэты – Н. Клюев, С. Есенин,

О. Мандельштам, Б. Пастернак – возвели Ленина. Николай Клюев посвятил ему целый цикл стихотворений под нехитрым заголовком «Ленин», С. Есенин оставил миру «Капитана Земли», Борис Пастернак – «Лейтенанта Шмидта». Александр Блок повел Спасителя «в белом венчике из роз» во главе грабителей и убийц в поэме «Двенадцать». Маяковский создал оду вождю – «Владимир Ильич Ленин», где устроил евхаристию по-большевистски: «Я знаю, что я / этой силы частица, / что общие даже слезы из глаз. / Сильнее и чище нельзя причаститься / К великому чувству по имени – класс». А вот каким предстает мотив причащения в поэме Сергея Есенина «Июния»: «Время мое приспело, / Не страшен мне лязг кнута. / Тело, *Христово тело*, / Выплываю из рта. / Не хочу воспрять спасения / Через муки его и крест: / Я иное постиг учение / Прободающих вечность звезд».

В приведенном отрывке сущность евхаристии профанируется. Именно на хулиганском надругательстве строит автор экспрессивную мощь своего произведения. Евхаристия инверсирована в буквальном смысле этого слова. Она дана в перевернутом виде. Перевертыш – это то состояние, в котором живет немалое число библеизмов в отечественной литературе XX века. В наблюдаемом нами явлении можно узреть как континуальность, так и дискретность. Континуальность, преемственность выражается в формальной воспроизводимости внешней оболочки, в самом упоминании Христова тела, его мук и креста; дискретность – в полной подмене содержания, в формировании абсолютно другого, нового, окказионального, т.е. дискретного, смысла. При видимости, иллюзорности континуальности мы имеем дело в реальности с дискретностью. Поэт стремится создать особый эмоциональный накал, эпатировать публику.

Есенин отказывается идти к спасению через мучения Христова. А вот Эдуард Багрицкий в глубоко атеистическом стихотворении «Смерть пионерки» утверждает необходимость гибели за святость коммунистической идеи, необходимость жертвовать собой: «Нас водила молодость / в сабельный поход. / Нас бросала молодость / На кронштадский лед. / Боевые лошади / Уносили нас, / На широкой площади / Убивали нас. / Но в крови горячечной / Поднимались мы, / Но глаза незрячие / Открывали мы». Мы видим здесь аллюзию на завершение земного пути Христа: через муки и публичную казнь на Голгофе – к воскресению. Путь к возрождению возможен лишь через страдания. Далее у Багрицкого идет призыв: «Возникай, содружество / Ворона с бойцом – / Укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. / Чтоб земля суровая / кровью истекла, / Чтобы юность новая / Из костей взошла». Содружество с вороном можно интерпретировать как намек на сошествие Христа во ад, ведь *ворон* – символ преисподней. Картина обгащенной кровью и усеянной костями земли (взятая как будто из «Слова о полку Игореве») представляется жуткой, но и в действительности вся первая половина двадцатого века – время невероятно жестокое, полное страшных жертв, нередко бессмысленных. О нем Б. Пастернак обреченно скажет: «Напрасно в годы

хаоса / Искать Конца благого. / Одним – карать и *каяться*, / Другим – кончать *Голгофой*) (Лейтенант Шмидт).

В пастернаковском монологе лейтенанта Шмидта речь идёт о смене эпох, границей между ними станет «позорный столб», эшафот лейтенанта, его Голгофа. Осужденный на казнь герой полон чувства сострадания к своим палачам, заложникам тоталитарных идей. Это чувство было под силу лишь Иисусу Христу:

...Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
Я знаю, что *столб*, у которого
Я стану, будет *гранью*
Двух разных *эпох* истории,
И радуюсь избранью (Лейтенант Шмидт).

Евгений Евтушенко в статье «Почерк, похожий на журавлей», посвященной творчеству Бориса Пастернака, восхищается этой строфой: «Вот оно, высшее христианство, – даже на распятии понять, что твои палачи – это тоже жертвы». Кстати, самому Евгению Евтушенко тоже было по плечу изобразить себя одновременно в трех ипостасях – и распятым, и глядящим завитки чьих-то волос, и курящим: «Я глажу по ночам любимый сонный локон, / А сам курю, курю, и это неспроста: / Я *распят*, как *Христос*, на крыльях самолетов, / Летящих в эту ночь бомбить детей Христа». Или в стихотворении «Бабий Яр»:

...Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас – я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту,
А вот я, на *кресте распятый*, *гибну*,
и до сих пор на мне – следы гвоздей.

Обращаясь к Израилю, Марина Цветаева напишет строфу:
По всей земле – от края и до края –
Распятие и снятие с креста
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!

Справедливости ради заметим, что дорогу к самораспятию проложил нашим поэтам не кто иной, как В.В. Маяковский: «... В терновом венце революций / грядет 16 год. / А я у вас – его предтеча; / я – где боль, везде: / на каждой капле слёзовой течи / *распял себя на кресте*» (Облако в штанах).

Мотив креста так или иначе проступает в творчестве подавляющего большинства поэтов советского времени. В форме креста отражаются на потолке объятия героев элегии Бориса Пастернака «Свеча» – Юрия и Лары. Крест в этом произведении – символ самоотречения и самопожертвования. Образ креста поднимает чувства героев на недостижимую высоту и придаёт этим строчкам эсхатологическое звучание: «На озаренный потолок / Ложились тени, / Скрещенья рук, скрещенья ног, / Судьбы скрещенья».

Капает расплавленный воск свечи, как слезы смутных предчувствий. А крест, который рисуют на потолке тени героев, – еще и зловещий знак беды. Предчувствие беды и горя проступает повсюду в произведениях Пастернака. О своем творчестве он говорил: «Я вишу на пере у творца / Крупной каплей лилового лоска». Так начинается стихотворение «Сон в летнюю ночь». И если в начале его поэт сравнивает себя с каплей чернил (слово), то в конце – с пулей (гибель): «Я креплюсь на пере у творца / Терпкой каплей густого свинца». Ведь *вначале было Слово*. Оно-то и ведёт на Голгофу. В произведениях, написанных в эпоху социализма, мотив распятия и воскрешения стал сквозным и проходит через творчество многих поэтов.

Андрей Вознесенский, пророча воскресение Высоцкому, рифмует кресты, оркестры, карточную масть «крести» и *воистину воскресе*. А, как известно, рифмующиеся слова всегда бросают друг на друга семантическую тень, они как бы держатся за руки, создавая тем самым определенный семантический континуум: «Гремите, оркестры. / Козыри – крести. / *Высоцкий воскресе. / Воистину воскресе!* (Оптимистический реквием).

Вспомним, что и Владимир Высоцкий в песне-рассуждении о датах признавался, что в тридцать три его «распяли, но не сильно»: «Дуэль не состоялась, или – перенесена, / А в 33 *распяли*, но – не сильно, / А в 37 – не кровь, да что там кровь! – и седина /

Испачкала виски не так обильно» (О фатальных датах и цифрах).

Требует воскресить Иисуса Александр Розенбаум в своей песне под названием «Веровать»: «Снимите мне с креста распятого Христа - / Я оживлю Его, и Он тогда расскажет / О том, как друг мой у Него просил однажды, / Чтоб я заснул навек у чистого листа».

Мотив распятия и снятия с креста философски-лирично воплотился в творчестве Булата Окуджавы и переносится на семантическое поле праздника, символизирующего мимолётность человеческого счастья: «Но начинается вновь суета, / Время по-своему судит. / И в суете тебя сняли с креста, / И воскресенья не будет» (Прощание с новогодней елкой).

Снять с креста у Булата Окуджавы означает *забыть, предать забвению*. У Бориса Гребенщикова это словосочетание приобретает значение *простить* в противовес слову *распять*, означающему *наказать*: «Может статься, что завтра стрелки часов / Начнут вращаться назад, / И тот, кого с плачем снимали с креста, / Окажется вновь *распят*» (25 к 10).

Таким образом, во всех процитированных отрывках мотив распятия и снятия с креста остается неизменным, континуальным, а вот его смысловое наполнение и агенс отличаются заметной дискретностью: на роль Христа «пробуются» и Евтушенко, и весь израильский народ (Цветаева), и Высоцкий (Вознесенский), и новогодняя елка (Окуджава), и некто, любой человек (Гребенщиков).

Удивительно, но даже в большей степени, чем образ Христа, привлекал поэтов другой библейский персонаж – Мария Магдалина. Возможно, причина обращения к этому образу – в потребности говорить о прощении, снисхождении, гуманности. Именно Магдалина становится средоточием этих и философских, и общечеловеческих категорий. Христос безгрешен, а Магдалина, по расхожему мнению, грешна. По-человечески она ближе людям. Ей позволительно бурно выражать свои чувства: «Магдалина билась и рыдала. / Ученик любимый каменел. / А туда, где молча мать стояла, / Так никто взглянуть и не посмел» (А. Ахматова. Реквием. Распятие). Из трёх свидетелей распятия Христа – Иоанна Богослова, девы Марии и Магдалины – последняя

наиболее искренне, открыто и непосредственно переживает уход Христа. Её эмоциональность становится той семантической опорой, за которую «цепляется» и Сергей Есенин. Его стихотворение «В лунном кружеве украдкой...» начинается с её невеселой и призрачной улыбки: «На божнице за лампадкой / *Улыбнулась Магдалина*», а заканчивается её плачем, связанным со смертью: «Смерть в потемках точит бритву... / Вон уж *плачет Магдалина*. / Помяни мою молитву / Тот, кто ходит по долинам». В авторском переосмыслении евангельского характера на первый план выдвигается периферийный компонент библейского смысла и игнорируется главный. В нашем случае главный смысловой элемент образа – раскаяние и духовное очищение, периферийный – особая чувствительность Магдалины.

С Иудой связывает ее Владимир Нарбут: «Мария! / Обернись, перед тобой / Иуда, красногубый, как упырь. / К нему в плаще сбегала ты тропой, / чуть в звезды проносился нетопырь. / Лилейная Магда, / Кари от, / оранжевый от апельсинных рощ... / И у источника кувшин... / Поет / девичий поцелуй сквозь пыль и дождь (В огненных столбах. Большевик).

С легкой руки В. Нарбута лилейная Магда целует красногубого упыря Иуду. Поэт делает такое допущение, опираясь лишь на тот факт, что оба – и Мария Магдалина, и Иуда – следовали за Христом, а значит, между ними могло возникнуть и физическое притяжение. А почему бы и нет? Он – предатель, она – блудница. В интерпретации образа Магдалины В. Нарбутом свертывается аспект ее подвижничества, страданий, раскаяния. Внимание полностью сосредоточено на подробностях возможного флирта, и вся трактовка склоняется в сторону истеризма, но уж никак не историзма.

Упоминание о Марии из города Магдалы не раз встречается во всех четырех Евангелиях, но в Библии нет ни описаний, ни доказательств её распутной жизни. Напротив, она предстает как одна из женщин, преданно следовавших за Иисусом в Его мессианской деятельности. «...Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, ...и мно-

гие другие, которые служили Ему именем своим» (Лук. 8:1 – 3). Она присутствовала при распятии Иисуса (см. Мат. 27:55 – 56), была свидетельницей положения Его во гроб. Она была первой, кому Христос явился, воскреснув: «Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим» (Мар. 16:9 – 10; Мат. 28:1 – 10; Лук. 24:1 – 10; Иоан. 20:1 – 2, 11 – 18).

Видимо, опираясь на повествование о том, как из Магдалины вышли семь бесов, Пастернак вкладывает в её уста несколько шокирующие современного читателя, Библии в руках никогда не державшего, слова о том, что она была бесноватой дурой. Вот как звучит пастернаковская трактовка ее образа: «Чуть ночь, мой демон тут как тут – / За прошлое моя расплата. / Придут и сердце мне сосут / Воспоминания разврата, / Когда, раба мужских причуд, / Была я дурой бесноватой / И улицей был мой приют».

Пастернак, которому был знаком цикл стихов Цветаевой «Магдалина», пишет не одно, а два стихотворения под этим же названием, говоря от ее имени, что придаёт её исповеди философское звучание, поднимая «вечные» вопросы: о жизни и смерти, о понятии греха, о прощении и возмездии.

В стихотворении Цветаевой говорит не Магдалина, а Христос: «О путях твоих пытаться не буду, / Милая! – ведь всё сбылось. / Я был бос, а ты меня обула / Ливнями волос – / И – слез. / Не спрошу тебя, какой ценою / Эти куплены масла. / Я был наг, а ты меня волною / Тела – как стеною / Обнесла».

Цветаева упоминает волосы и слезы, омывание слезами ног Христа. Этот эпизод есть в Библии, но он связан с некой грешницей, имя которой нам остается неизвестным, а не с Марией Магдалиной. Однако и в живописи, и в литературе происходит контаминация двух разных моментов Святого Писания; оба приписываются Магдалине. Как видим, стихотворение имеет мало общего с евангельским изложением сюжета. Церковь вряд ли одобрила бы вольную, с элементами эротики, трактовку возможного обращения Христа к Магдалине. Обилие звуко сочетаний *льн, лн, мл* : *милая, волна, был наг, спеленай, льна* придает особую мягкость и нежность общей то-

нальности произведения. Стихотворение Пастернака сосредоточено на предсказании будущего «вещим ясновиденьем сивилл», вложенным в уста Магдалины: «Будущее вижу так подробно, / Словно ты его остановил. / Я сейчас предсказывать способна / Вещим ясновиденьем сивилл». Вот какое получается мистическое переплетение: в поэтическом творчестве Цветаева берет на себя роль Христа, а Пастернак – роль Магдалины. Если Цветаева описывает то, что уже произошло, сбылось, то Пастернак – то, чему предстоит произойти. Она – прошлое, он – будущее. И как будущее вбирает в себя (или сохраняет в себе, хотя бы в качестве памяти) прошлое, так пастернаковское стихотворение, написанное на 20 лет позднее, вбирает и содержит в себе цветаевское. Таким образом осуществляется текстуальная преемственность библейского сюжета.

Итак, в поэзии социалистического периода мы наблюдаем трансформацию библейских сюжетов, причем трансформацию с абсолютным смещением всех акцентов Библии. Библейские эпизоды не только *трансформируются*, но и *искажаются*, *деформируются*, *профанируются*.

Переосмысление библеизмов неизбежно. Оно является составной частью естественного процесса семантического расширения единиц языка и речи, единиц дискурса и текста.

Актуализация эмотивно-оценочных смыслов, связанных с евангельскими мотивами, в поэтической строфе создаётся взаимодействием в ней исходного, библейского содержания и индивидуально-авторского начала. При актуализации в разных соотношениях воплощается отчасти коллективное, отчасти авторское сознание. Смысловая индивидуализация выступает как движущая сила взаимодействия объективной и художественной реальностей. Исходный смысл библиэмы сдерживает с разной степенью успеха субъективный авторский произвол. Знание Библии читателем, на которое рассчитывает поэт, связь авторского переосмысления с исходной позицией, осязательность этой связи обеспечивают эффективность художественной коммуникации. Расчет на возможности воспроизведения читателем определенного фрагмента Библии в его памяти усиливает экспрессивную значимость образа.

Продолжая жить в поэзии социалистической эпохи, библейские мотивы претерпевают семантические сдвиги, приращения и подмены, сложные переосмысления и трансформации. Происходит десакрализация библейских сюжетов, их вульгаризация, столкновение аксиологических ориентиров. В основном семантические мутации приводят к выхолащиванию, фальсификации и даже вандализации священного смысла Библии, но в некоторых случаях и к приобретению ими нового, глубоко прочувствованного автором символического содержания.

ЛИТЕРАТУРА

Бродский И. Примечание к комментарию // Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. М., 1997.

Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. М. 2010.

Евтушенко Е.А. Почерк, похожий на журавлей // Е.А. Евтушенко. Политика – привилегия всех: книга публицистики. М., 1990.

СЛОВАРЬ КАК ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ ДИСКРЕТНЫЕ И НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

УДК 81'374

Н.Е. Сулименко

Санкт-Петербург

СЛОВАРЬ КАК ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В статье рассматриваются различные факторы, влияющие на лексическое содержание слова: психолингвистические, дискурсивные, внелингвистические, системно-структурные и др., связанные со спецификой культуры, породившей это слово.

Проблема словаря в современном языкознании, особенно в его дискурсивной версии, предстаёт как проблема гипертекста, что связано с глобальной интертекстуальностью словаря, обобщающего в своём лексикографическом аппарате результаты различных дискурсивных практик, использующих слово.

С этой версией перекликаются интегральные концепции языка, взаимодействие таких научных парадигм, как когнитивная и системно-структурная (словарь-тезаурус и лексическая система языка, слои концепта и лексическая многозначность, концептуальные признаки и методика компонентного анализа с опорой на словарные дефиниции и т.д.; синергетическая парадигма, объяснительная по своей сути и продолжающая традиции системного изучения объекта); когнитивно-культурологическая и коммуникативная (интертекстуальность и интерпретация, дискурсивная семантика и ее интегральная функция, обнаруживающая целостность культурного пространства в его ментальном воплощении).

Известно, что формирование когнитивной парадигмы в русистике в истоках своих связано с ономазиологическими концепциями слова и их отражением в теории и практике лексикографии. На привлечении элементов словарных толкований основа-

на разработку денотативно-отражательного потенциала русской глагольной лексики, типологии глагольных предикатов, лексико-синтаксические исследования. Ср.: «Имея в виду, что функция той или иной единицы, включённая в более широкую систему функций языка и речи, в своём проявлении зависит от этой системы, в качестве важнейших функций принимаем когнитивную и коммуникативную» [Бацевич, Космеда 1997: 19]. Разработка типологии лексических значений слов также учитывает онома-сиологическое измерение лексического значения, преломлённое в толковом словаре [Виноградов 1977, Степанова 1983, Сулименко 1983; 2008 и др.].

Внимание к лексической организации дискурса, дискурсивной семантике в лингвистике связано не только с общенаучной тенденцией к укрупнению научных объектов, но и с присутствием в дискурсе как одном из возможных миров динамических признаков представляющих его концептов. Дискурсивный анализ текстов, в том числе и представленных в иллюстративном материале статьи толковых словарей, позволяет «распаковать» комплекс слоёв опыта, связанного с тем или иным словом и стоящим за ним концептом, показать их связь с различными дискурсивными практиками. Такие составляющие, как: «1) материальная форма знака; 2) предметное значение; 3) смысловое значение; 4) оценочное значение; 5) переживание... с деятельностной точки зрения представляют собой реализацию деятельности: её предмета, её программы, отношения к ней и её переживания. Прохождение от 5-го уровня к 1-му есть воплощение, опредмечивание опыта, его объективация. Обратный путь – субъективация, распредемечивание, путь понимания, причём каждый из уровней соответствует и уровню понимания смыслового содержания текста (добавим: и дискурса, преломляющего «лексическую тему». – Н.С.)» [Тульчинский 1992: 138]. Такой взгляд обусловлен, как видим, конкретизацией деятельностного подхода в науке и философии – **поступочным представлением бытия** в дискурсе и тексте, в истоках своих связанным с концепцией М.М. Бахтина. Тем самым, по словам Г.Л. Тульчинского, «открываются новые возможности анализа: применение не только структурного, функционального и си-

стемного подхода, но и подхода программно-целевого; трактовка текста как вмняемого (разумного и ответственного) слова; интеграция в едином комплексе лингвистических, культурологическо-личностных, этических и метафизических аспектов осмысления текста и дискурса» [Гульчинский 1992: 128].

Учёные установили факт усиления мозговой активности в речемыслительной деятельности человека; эта динамика ведёт к иррадиации ассоциаций, связанных со словом, расширению его радиуса действия (уместно здесь вспомнить квалификацию О.Э. Мандельштамом поэтического творчества, образования как школы скорейших ассоциаций).

Очевидно, с динамическими процессами в речемыслительной деятельности связана и востребованность сетевых моделей в когнитивистике, и концепция «корневой лексемы» Е.В. Падучевой [Падучева 2004], интерпретирующая лексическую многозначность и наличие словообразовательных гнёзд как способы лексической объективации концепта, стоящего за словом. В ней, таким образом, участвуют не только отдельные слова, но и лексические группировки слов разного типа, а также связывающие эти слова лексикосистемные отношения. Нельзя не согласиться с трактовкой А.А. Зализняк **концептуальной схемы** как термина, объединяющего «несколько конкретных метаязыковых техник... все эти техники имеют целью представить разные значения многозначного слова как единое целое. В качестве концептуальной схемы могут выступать в том числе: инвариант, общее значение, прототипический сценарий...» [Зализняк 2006: 41]. Автор, как видим, связывает понятие концептуальной схемы с давно дискутируемой в языкознании идеей общего значения, а также инварианта: «речь идёт о сущности более высокого уровня абстракции, чем любое из значений, реализуемых в тексте» [Зализняк 2004: 34]. Это, пожалуй, самая адекватная языковой реальности интерпретация многозначности, исключая представление о ней с чисто типографских позиций, с позиций лексикографического «удобства» нумерации значений слова.

По справедливому замечанию А.М. Плотниковой, «для установления производности значений многозначного слова, поми-

мо компонентного анализа, нужно учитывать «**правило шести шагов**», предложенное Ю.Н. Карауловым» [Плотникова 2006: 20]. Этот критерий вполне согласуется с давним утверждением Ю.Д. Апресяна о подобии семантических отношений на уровне внутрисловной и межсловной деривации. Правда, не вполне ясно, что А.М. Плотникова понимает под разными ментальными репрезентациями и относится ли сюда концепт, стоящий за разными значениями глагола *гореть* в приводимом ею примере. При этом вполне сочувственно автор цитирует Е.Г. Беляевскую, усматривающую единство смысловой структуры слова в опоре не только на общую звуковую форму, но и на одну «**когнитивную модель**», лежащую «в основе всех лексико-семантических вариантов одной лексемы» [Беляевская 2000: 12].

Концептуальный анализ в этих ориентациях целесообразно, вслед за Е.С. Кубряковой, рассматривать «как поиск тех общих компонентов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры» [Кубрякова 1997: 88].

Известно, что способами лексической объективации концепта могут быть и такие лексикосистемные группировки, как синонимы. Поэтому даже при синонимическом способе толкования номинации концепта в словаре вряд ли можно видеть семантическое тождество между значениями лексем левой и правой части, как это иногда бывает в лингвистических работах. Ср. толкование лексических значений существительных *покаяние* и *исповедь*, за которыми стоит один и тот же концепт при отсутствии их семантического тождества: «**Покаяние** 1. Признание грехов перед священником; **исповедь**» и «**Исповедь**. 1. Обряд **покаяния** в грехах перед священником и получение от него отпущения грехов» [БТС 1998]. Очень существенным различительным признаком здесь выступает указание на сему «**обряд**», имеющую ядерный статус для семантики второго слова и периферийный, если не факультативный, в толковании значения первого синонима. По наблюдениям А.М. Плотниковой, специально исследовавшей глаголы социального поведения и отношения, глагольный коррелят *исповедоваться* отражает несколько ситуаций, в свою очередь тоже

являющихся комплексными, и содержит «моторную программу» осуществления действия, то есть обладает всеми признаками полипропозитивных глаголов [Плотникова 2008: 91 – 92]. Кроме того, толкование значения слова *покаяние* в словаре учитывает только традиции православного вероучения, хотя существует в конфессиональной литературе и иное истолкование исповеди, не предполагающей наличия священника в качестве единственного адресата исповедального текста. Ср.: «В православной традиции происходит практическое отождествление исповеди и покаяния, между ними просто ставится знак равенства. Однако покаяться в чём-либо и произнести текст исповеди... разные уровни, разные смыслы. Исповедь, например, может воплотиться в молчании – в акте исихии как духовного праксиса» [Уваров 1992: 3].

В случае окказиональной, ситуативно-речевой синонимии содержится имплицитная информация о недостаточности имеющихся в языке ресурсов для выражения нестандартных взглядов и оценок и т.д. Таким образом, один и тот же концепт может быть выражен по-разному в соответствии с теми или иными установками сознания коммуникантов, определяемыми не только языковой компетенцией, но и внеязыковым опытом. Сказанное относится и к адресанту, и к адресату, обладающим разными знаниями, создающими допуск для разного вывода, для разного понимания сообщения.

С другой стороны, смена культурно-исторической ситуации может повлечь за собой изменение состава концептуальных признаков, стоящих за номинацией концепта (ср. трансформации значений многих прилагательных-идеологем типа *советский*, *партийный*, *большевистский* и др. в постперестроечном дискурсе и их экспликацию в словарях последнего времени).

В речедейательностном, дискурсивном аспекте рассматривается в культурологии и лингвистике оппозиция слово – молчание. Подтверждение принадлежности молчания виртуальной области языка ищется в общности темы коммуникантов, в самом наличии диалога как признаке человеческой речи, в таких собственно лингвистических показателях того, что молчание, как и слово, есть Логос, как общность управления у глаголов одной ЛСГ: *го-*

говорить, сказать, спрашивать, писать, молчать о чём-то. В случае многословия слово забалтывает свой предмет, обнаруживая информационный вакуум, хаос, энтропию, видимость бытия, т.е. небытие, «и тогда бытие заявляет о себе в образе молчания» [Эпштейн 2005: 211]. Человек избегает говорить о святом, глубинах бытия и веры (А.С. Грибоедов, Ф.И. Тютчев, А.П. Чехов, О. Мандельштам, русские отшельники и др.). Но молчание может быть не только мистическим, но и быть формой замалчивания, конформизма, приспособленчества. Ср. у А.Галича: «Все молчалники вышли в начальники, потому что молчание – золото. Промолчи – попадёшь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи!». М. Эпштейн говорит о двух формах молчания: молчание-покорность и молчание-таинственность: «Но когда молчит говорящее и мыслящее существо, даже вынужденное молчание начинает восприниматься как слово... Это молчание сочетало в себе покорность властному запрету на свободное слово и одновременно сопротивление властному ожиданию рабского слова» [там же: 218].

В рамках деятельностного подхода оказался востребованным не только статический компонентный и концептуальный анализ, но и отражающий когнитивную природу слова дискурсивный анализ, имплицитно отражённый в материалах словарных статей толковых словарей, как нормативных, так и диалектных. Те отношения и роли (постоянные и переменные), которые связаны с социальными отношениями людей в процессах их жизнедеятельности, в общем виде прогнозируются элементами словарных толкований.

Различные дискурсивные практики, различные когнитивные признаки концепта, стоящего за словом, с этими практиками связанные, объясняют продуктивность ставшего уже традиционным компонентного анализа в описании лексики. Его глубинные основы не исключают взаимодействия с методами, разрабатываемыми в когнитивистике. Ср. мнение В.Г. Гака: «Потенциальные семы могут быть реализованы в переносных значениях или оставаться как **содержательная возможность**, создавая **смысловую глубину и смысловую перспективу слова**» [Гак 1977: 15]. Отсюда и отмечаемая автором более высокая абстрактность семан-

тических компонентов по сравнению с лексическим значением в целом.

ЛИТЕРАТУРА

Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. Львов, 1997.

Беляевская Е.Г. О характере когнитивных оснований языковых категорий // Когнитивные аспекты языковой категоризации. Рязань, 2000.

Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // В.В.Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.

Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы её представления. М., 2006.

Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания. // Вопросы языкознания, 2004, № 2.

Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.

Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Плотникова А.М. Когнитивное моделирование семантики глагола (на материале глаголов социальных действий и отношений). Диссертация... доктора филол. наук. Екатеринбург, 2008.

Плотникова А.М. Многозначность русского глагола: когнитивное моделирование (на материале глаголов социальных действий и отношений). Екатеринбург, 2006.

Степанова В.В. Синонимические связи в аспекте типологии лексических значений. // Лексико-семантические связи слов в современном русском языке. Л., 1983.

Сулименко Н.Е. Современный русский язык: к изучению семантики имён прилагательных. СПб., 2008.

Сулименко Н.Е. Типы лексических значений признаков слов в современном русском языке: Диссертация...д-ра филол. наук. Л., 1983.

Тульчинский Г.Л. Инорациональность текста: слово как поступок. // Язык и текст: онтология и рефлексия. СПб., 1992.

Уваров М.С. Текст как исповедь // Язык и текст: онтология и рефлексия. СПб., 1992. **Эпштейн М.** Слово и молчание в русской культуре // Звезда. 2005, №10.

**НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ СЛОВ:
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ
СЛОВАРЬ ДЕТСКОЙ РЕЧИ**

В статье предлагается модель объяснительно-мотивационного словаря детской речи в свете рефлексивной доминанты языкового сознания ребенка с учетом дискретно-континуального характера стратегий усвоения детьми формы и содержания языковых знаков. Выявляются коммуникативно-прогностическая, коммуникативно-прагматическая и коммуникативно-эвристическая составляющие лингвокреативной деятельности ребенка и способы их лексикографической обработки.

Континуальность значений слов *онтологически* задана *свойством асимметричного дуализма языкового знака* (по С. Карцевскому), что выражается в стремлении формы приобретать новые семантические функции и стремлении содержания выразить себя новыми формами. Это динамическое соотношение проявляет себя и как факт языкового развития, и как факт языкового сознания говорящих. Актуализация смыслов вербального знака в речевой деятельности обнаруживает его «бесконечную интерпретационную валентность» (А.Ф. Лосев), психологическую реальность присвоения значений конкретным индивидуумом. Социально отфильтрованные компоненты значений слов наполняются в сознании говорящих «личностным смыслом» и обрастают «чувственной тканью» (см. об этом у А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева и др.).

Применительно к детской речи (ДР) можно говорить о континуально-дискретном характере *усвоения* лексических значений, компоненты которых, как известно, присваиваются не одномоментно, не в полном объеме и в произвольной последовательности – с опорой на *предметные эталоны*, меняющиеся и обобщаемые по мере накопления ребенком когнитивного и речевого опыта. На разных этапах онтогенеза через одну и ту же сло-

весную форму пропускаются разные когнитивные. Отмеченные особенности становления семантического компонента языковой способности определяют сложность интерпретации и лексикографического представления значений слов, функционирующих в речи ребёнка, в отрыве от порождающего их дискурсивно-когнитивного «контекста». Смысловое наполнение слова в ДР не может оцениваться с позиций взрослой логики, без учёта тех ментальных доминант, которые определяют специфику языкового сознания ребёнка. Это прежде всего, ориентация ребёнка на конкретную номинативную или коммуникативную ситуацию и личный практический опыт как «фильтры» на пути присвоения языковых значений. Ср.: *Я знаю, почему говорят «шальная погода». Это когда на улице холодно и тёти шали надевают* (5 л.)¹. При отсутствии подобных комментариев семантизация зафиксированных в детской речи слов часто невозможна, и словарная дефиниция нерелевантна их реальному содержанию. Ср.: Позаборный трамвай. Трамвай, который ездит по заборам [Харченко 1994]. В приведённом составителем словаря толковании, по сути, непрояснённой остается внеязыковая ситуация, с которой соотносительна детская словообразовательная инновация. Сказанное с неизбежностью требует обращения к анализу тех специфических проявлений лингвокреативного мышления ребёнка, которые обуславливают переработку и функциональную репрезентацию получаемой им информации – экстралингвистической и собственно речевой. Думается, что объективным показателем соответствия словарных толкований реальному смыслу слов в ДР может быть только обращение к показаниям языкового сознания самого ребёнка.

Яркой чертой детского языкового сознания является поиск «объяснимой» связи между формой и содержанием языковых знаков, или так называемая *мотивационная рефлексия*. Обращение к внутренней форме слова как специфическому информационному каналу (обнаружение в самом названии «указания» на обозначаемый предмет/признак предмета) сочетается у ребёнка

¹ Примеры, приведенные в статье, почерпнуты из словарей детской речи (см. Список источников), а также из личных наблюдений автора над живой детской речью. В скобках указывается возраст ребенка при наличии таких сведений в словарях.

с освоением «операционального» языкового кода – конкретного образца или обобщённого алгоритма номинации. Таково, например, образование окказиональных антонимических пар на основе ложной этимологизации слова-образца: *Бегония есть, а шагонии нет? / Мамонты есть, значит, должны быть папонты?* (6 л.). Ср. серийные номинации, представляющие собой тиражирование детьми освоенного словообразовательного алгоритма: *У слона жена слониха, у тигра – тигриха, у петуха – петушиха* (6л.). Представляется возможным в этой связи говорить о мотивационной рефлексии как особой («инструментальной») стратегии усвоения языка, связанной с интуитивно творческим использованием ребенком лингвистической «техники» мотивационного анализа для объяснения (уточнения, выведения) значений «готовых» слов и создания словотворческих инноваций.

Мотивационная рефлексия имеет, таким образом, двунаправленный (ретро-продуктивный) характер, проявляясь в виде комментария детьми значений как узуальных, так и окказиональных слов с предъяснением мотиватора. Ср.: *К нам вчера **крановщик** приходил... **Кран на кухне чинил*** (5 л.); *Мишка (медведь) всё время на боку валяется, какой-то он **валючий*** (5 л.); *Вон по двору **белонка** бегают. – Не белонка, а болонка. Нет белонка – у неё **шерстка белая*** (6 л.). К мотивационной рефлексии можно отнести и те случаи, когда ребёнок употребляет собственную инновацию в одном контексте с «породившим» ее словом-образцом или создает целые серии номинаций по одной словообразовательной модели. Ср.: *Эти грибы **синявки**, а эти* (показывает на грибы красного цвета) – ***краснявки?***; *Дима, суп будешь есть? – Нет, я лучше буду **чайничать** и **варенничать*** (8 л.).

Различные формы проявления мотивационной рефлексии дают возможность представить значения зафиксированных в ДР слов как результат ономаσιологического процесса (с учетом актуализированных когний и освоенных ребенком элементов языкового кода) и как реализацию определённого коммуникативного намерения.

Комментарий прогностического характера как проявление мотивационной рефлексии указывает на «обнаруженный» ребён-

ком смысл узуального слова (версию о связи названия с обозначаемым предметом). Такие толкования (комментарии) чаще всего имеют форму вопроса и основаны на парадоксальном, семантически нерелевантном сближении непонятого (неизвестного) ребенку слова с «найденным» по созвучию мотиватором. Например: *Пульверизатор пулями стреляет?* (4 г.); *А освистенты* (модификация слова ассистенты) *свистят что ли?* (4,5 г.). Комментарий прогностического типа сопровождает парадоксальную семантизацию детьми не только немотивированных, но и мотивированных слов: *А прогульщик – это кто на прогулку выходит?* (6,5 л.). Причиной неверного «прогноза» является «неучтенная» (не освоенная ребёнком) идиоматичность семантики производного слова.

Мотивационный комментарий уточняющего характера выявляет актуальную для ребёнка связь названия с известными ему («наблюдаемыми») свойствами обозначаемого. Ср.: *Я люблю, когда мингальские огни жгут, они брызгами мигают* (5 л.). Сфера детских номинаций, созданных с установкой на уточнение или «прояснение» мотивированности слов путем их трансформации (частичного уподобления созвучному мотиватору), красноречиво свидетельствует о своеобразии языкового сознания и образа мира ребёнка. Слова-модификаты образуют некий «подъязык» ДР, соотносительный с узуальными номинативными единицами как более конкретный и образный (детализированный аналог денотативного пространства, означенного нормативными единицами языка взрослых): ср. *абажур – лампажур, автобус – катобус, аптека – рецептека, брусника – красника, вагон – догон, пищевод – пищенад* (пища изо рта падает в пищевод), *кузов – пузов, болонка – белонка* и т.п. Явления уточняющей реноминации, сопровождаемые специальным комментарием, имеют коммуникативную направленность, полемическую по отношению к «неправильностям» языка взрослых. Маркёром мотивационной рефлексии в таких случаях являются вопросы ребёнка, указывающие на неточность названия, и последующая его корректировка: – *Почему это подорожник? Он же около дороги растёт. Это околодорожник*. Частотным для уточняющей реноминации является си-

туативное обоснование мотивированности названия. Ср. диалог матери с сыном: *Дим, смотри, в заборе лазейка, давай через нее пролезем. (Сын, заглянув через щель в заборе). – Это не лазейка, а глазейка. А с той стороны в эту глазейку что видно?* (6 л.).

Мотивационный комментарий, имеющий генеративную направленность, выступает пояснительным ономаσιологическим «обоснованием» словотворческих (прежде всего словообразовательных) детских инноваций. Ср.: *Если нельзя маленького щеночка усыновить, давай его уценим* (6 л.); *Сейчас я трубник сделаю, куда трубку телефона класть* (6 л.). Такого рода комментарии «обнажают» механизмы эвристического языкового мышления.

Основываясь на сделанных наблюдениях, можно выделить три основных типа мотивационной рефлексии по их функции в реализации коммуникативных потребностей ребёнка.

1. Коммуникативно-прагматический тип мотивационной рефлексии стимулирован стремлением ребенка устранить помехи, связанные с пониманием речи собеседника или «трансляцией» собственных высказываний:

– *Какую тетю Свету ты имеешь в виду?* – *Застенчивую, которая за стенкой живет* (7 л.); *Она надевает какие-то пузатые штаны.* – *Это что значит?* – *Пузатые штаны: до пуза прямо* (5 л.); *Кто как обзывается, тот так и называется, обзун* (5 л.); *Бабушник я. Бабушку люблю* (пример С.Н. Цейтлин). В приведённых примерах мотивационная рефлексия выявляет разные смыслы детских инноваций: потенциальный, омонимичный общепринятому слову (пример 1), буквально интерпретированный (пример 2), синонимичный узуальному слову (пример 3, ср.: *обзывала*) и личностный (пример 4). Без учёта приведенных самими детьми комментариев семантизация этих инноваций невозможна.

2. Коммуникативно-прогностический тип мотивационной рефлексии связан с прогнозированием значения на базе ассоциативных аналогий, «проясняющих» внутреннюю форму слова и позволяющих ребенку корректировать наименование в соответствии с собственным пониманием: *Индусы индюков разводят?; Черепаха! – Нет, черепиха! Она сверху черепицей покрыта* (7 л.). Парадоксальная мотивация и уточняющая реноминация в ДР

эксплуатируют технику произвольных (прежде всего ложноэтимологических) сближений, обнаруживая содержание слов, соответствующее уровню развития семантической компетенции ребёнка.

3. Коммуникативно-эвристический тип мотивационной рефлексии связан с лингвокреативной деятельностью ребёнка как компенсацией номинативного дефицита и / или проявлением осознанной интенции к языковой игре. «Обновление» языкового стандарта в речевой деятельности ребенка происходит путем интуитивного обнаружения функционального потенциала языковых форм и значений, которым ребенок придает статус реального бытия. Данный тип мотивационной рефлексии открывает неожиданно свежий ракурс «видения» предмета, явления сквозь призму его названия, например:

Я могу смотреть на солнце один миг, оно мне подмигивает (непреднамеренная метафора-олицетворение подкрепляется мотивационной рефлексией, «оживляющей» семантическую связь лексем *подмигивать* и *миг*). Ср.: *Улетучиться – значит, улететь к тучам* (семантизация слова на основе омофонической мотивации: *уле(т)уч(и)-ться* – результат наложения сегментов сближаемых созвучных слов *улетучиться* и *тучи*).

Детские инновации часто выявляют потенциальную вариативность идиоматичных словообразовательных структур.

Так, Олеся рассуждает: *Печник – кто печет, ельник – кто ели срубает, ночник – кто ночью не спит, птичник – где много гнезд, цветочница – это ваза* (6 л. 4 м.). Семантизация узуальных слов через мотивационный перифраз выявляет эвристический потенциал освоенного ребёнком алгоритма образования существительных с суффиксом *-ник*, значение которого варьируется в диапазоне «действующее лицо – предмет (вместилище, совокупность чего-л.)». Гибкость (нежесткость) языковых моделей интуитивно востребована ребенком для толкования слов данной структуры в потенциальном, заданном системой тематическом регистре. Все примеры такого рода свидетельствуют об эвристической природе речевого развития ребенка, основанной на творческой активности рефлексиирующего сознания.

Особый статус в ряду эвристических «практик» семантизации слова занимает языковая игра как осознанное нарушение «канона». Так, восьмилетней Оле объяснили принцип лингвистической игры «Почему не говорят»: «*Почему говорят кот лета (читай: котлета), а не пёс зимы?*». Оля: *А почему говорят «как туз (читай: кактус), а не как валет?»* Рефлексия над мотивированностью слова носит условный характер, выражаясь в поиске нестандартного (оригинального) решения, рассчитанного на креативного партнёра по коммуникации.

И спонтанная, и осознанная лингвокреативная деятельность ребенка, проявляющаяся в фактах мотивационной рефлексии, показывает, что усвоение языка и манипулирование языковыми формами и значениями есть проекция на язык «образа мира», который формируется в сознании ребенка. Мотивационная рефлексия выступает как механизм, «проявляющий» различные аспекты детской языковой картины мира. Данное положение можно проиллюстрировать соотношением разных форм мотивационной рефлексии с содержанием освоенных детьми когний.

Одним из самых «проявленных» в детской речи способов концептуализации и категоризации мира является опора на ***ситуативно обусловленные когниици***: – *У меня сейчас зубы молочные, потому что я суп молочный ем. – А когда они коренными станут? – Когда корень буду есть* (4 г.). Рефлексия над внутренней формой словосочетаний *молочные* и *коренные зубы* получает подкрепление в ситуативном знании, на которое опирается ребенок (*молочные зубы* бывают только у детей, которые едят *молочный суп* (типичная детская еда); со временем *молочные зубы* сменяются *коренными*, крепкими, как *корень*; осмысление внутренней формы слова происходит по принципу «симпатической магии», когда значение слова воспринимается как выводимое из буквального понимания связи между означающим и означаемым (ср. *молочные зубы* у тех, кто употребляет в пищу *молочный суп*, а *коренные* – у тех, кто ест *корень*); подобное восприятие внутренней формы слова характерно для мифологического сознания, рудименты которого представлены в народных поверьях: например, *курунная слепота* – растение, названное по сходству мелких

желтых цветочков с глазами курицы (курица, как известно, далеко не видит); ошибочно считается поэтому, что человек, собирающий *курунину слепоту*, может «ослепнуть».

Мотивационная рефлексия в онтогенезе опирается также и на **типизированные** когнции разного рода.

1. Эталонные представления об обозначаемом, например, о белой сирени: *Это не сирень, сирень бывает сиреневого цвета* (5 л.). Рефлексия над внутренней формой слова ориентирована на поиск в названии свойств известного ребёнку денотата, представляющего его типизированный прототипический эталон.

2. Содержание отрефлексированных детьми типовых ономаσιологических структур, ср.: (*Играя с другом, ребенок нагружает машинку песком*) *Ты будешь возитель, а я ложитель, буду песок сыпать, а ты возить* (4,5 г.). В данном случае происходит реализация в ситуативном контексте освоенного алгоритма наименования человека по действию, которое он осуществляет. Ср. *водитель* и др. Мотивационная рефлексия в таких случаях часто свидетельствует об особенностях «преодоления» детьми номинативного дефицита при реализации определенной коммуникативной потребности, когда сформированные на основе практического опыта ребенка когнции не подкреплены соответствующими обозначениями или такие обозначения вообще отсутствуют в системе узуальных номинаций.

Мотивационная рефлексия выявляет и **детализирующие когнции**, обусловленные «конкретностью» мышления ребёнка.

Ср.: *Машинист – на машине ездит. Кто на такси – таксист. А кто на «Волге» – волгарист* (6 л.). Представленный ряд тематически связанных номинаций выявляет специфику понимания ребенком родовидовых отношений. *Машина, такси, «Волга»* выступают как однопорядковые (видо-видовые) наименования. Соответственно *машинист, таксист, волгарист* – видовые названия водителей (а возможно, и пассажиров, «ездоков»), пользующихся *машиной, такси, «Волгой»*. Заметим, что наименование *машинист* находится в «когнитивном диссонансе» со своим узуальным значением, поскольку не содержит в мотивационной структуре прямого указания

на обозначаемый денотат (водитель **поезда**). Это провоцирует ребенка, не «признающего» идиоматики («невыводимости») лексических значений, на буквальное «прочтение» мотивационной формы слова. В целом данный пример мотивационной рефлексии, сопряженной с осмыслением структуры и значения готовых наименований и порождением ситуативно значимой номинации (*волгарист*), показывает, что ребенок воспринимает при опоре на конкретные образцы лишь поверхностный слой значения мотивационной формы слова, выражающий самое общее отношение между мотиватором и мотиватом. Так, в ряду *машинист, таксист, волгарист* неучтенными оказываются различия мотивирующих лексем по родовой, видовой и функциональной соотносительности.

Таким образом, природное языковое чутье в сочетании с уровнем лингвокогнитивного развития ребенка создает предпосылки для разных проявлений мотивационной рефлексии как одной из стратегий усвоения языка в онтогенезе.

Являясь специфическим способом экспликации когнитивного опыта ребенка при анализе готовых (осваиваемых) единиц языка и будучи ономаσιологическим «предтекстом» появления новых языковых форм, мотивационная рефлексия участвует в моделировании детской языковой картины мира.

Все сказанное позволяет предложить следующую модель семантизации слов в объяснительном словаре детской речи.

Компоненты словарной статьи:

– заглавное слово; зафиксированный в детской речи метаязыковой (мотивационный) контекст, на основании которого предъясняется значение слова (с указанием возраста и пола ребёнка);

– авторский комментарий, в котором соответствующий факт детской речи получает типологическую характеристику;

– тип мотивационной рефлексии – коммуникативно-прогностический; коммуникативно-прагматический; коммуникативно-эвристический; функция метаязыкового контекста и когнитивные основания мотивационной рефлексии (потребность в номинации; уточнение значения в соответствии с собственными представлениями и т.п.);

– языковая «техника», использованная при интерпретации значения и/или мотивированности узуального слова или создании словообразовательных инноваций;

– стилистические пометы, свидетельствующие об эмоционально-оценочном отношении ребенка к слову, в том числе указание на игровую составляющую мотивационной рефлексии (увелич., уменьш., уничиж., ласк., шутол., в шутку; смеётся).

Проиллюстрируем данную модель несколькими примерами.

ГУЛЯШ – беляш (пирожок), съеденный на улице (во время гуляния).

Мальчик возвращается с прогулки. Мама спрашивает: – *Ты, наверное, проголодался?* – *Нет, мы с бабушкой на улице ели гуляши.* – *Что?* – *Ну, пирожки такие жареные, там внутри мясо.* – *Может быть, беляши?* – *Нет, гуляши, мы ведь по улице гуляли, когда их ели* (5 л.).

Тип мотивационной рефлексии – коммуникативно-прагматический. Функция мотивационной рефлексии – уточнение (пояснение) смысла инновации для взрослого и ситуативная коррекция мотивированности наименования. Форма слова *гуляши* соотносительна с *беляши* (ср. структурное и фонетическое сходство модификата с прототипом). Уточняющая реноминация актуализирует личностный смысл «детского» слова (указывает на связь значения с глаголом *гулять*).

Возможно, внешний облик детской инновации обусловлен ослышкой, которая тем не менее получает ситуативное обоснование.

БАССЕЙН – искусственный водоем, где плавают босиком.

Пришел в бассейн, раздевается:

– *Бассейн, потому что там плавают босиком?* Смеется (8 л.).

Тип мотивационной рефлексии – коммуникативно-прогностический. Функция метаязыкового контекста – «прояснение» внутренней формы слова по принципу ложной этимологии. Парадоксальная мотивация базируется на случайном созвучии и ситуативном обосновании связи сближаемых слов, возможно, имеет характер языковой игры, так как семантика слова ребенку известна и предложенная «гипотеза»

о происхождении названия самим ребёнком явно осознаётся как условная.

ВЁТНИК – тот, кто любит лазить по веткам.

– *Я ветник – по веткам лазить люблю* (4 г.).

Тип мотивационной рефлексии – коммуникативно-эвристический, связанный с образованием слова, отсутствующего в узусе.

Функция мотивационной рефлексии – ситуативное восполнение номинативного дефицита. Аналогом детского новообразования выступают наименования лиц по склонности к какому-либо занятию. Мотивационный контекст объясняет смысл окказионального слова.

КАПОТА – то же, что дождь.

– *Фу, какая капота! – Это называется «дождь». – Это называется «капота». Как капает – кап-кап – так и называется* (м., 4 г.).

Тип мотивационной рефлексии смешанный: метаязыковой контекст имеет генеративную и прагматическую (связанную с устранением коммуникативных помех) функции. Слово, созданное ребёнком, является звукоподражательным синонимом узуального наименования (дождь). Мотивационная рефлексия свидетельствует о значимой для ребенка связи названия и лежащего в его основе звукообраза.

Комплексное представление фактов детской речи в объяснительном мотивационном словаре «Метаязык детских инноваций» должно способствовать в конечном итоге выявлению специфики языковой ментальности (речевого мышления) ребенка.

ЛИТЕРАТУРА

Говорят дети: Словарь-справочник / Сост. С.Н. Цейтлин, М.Б. Елисеева. СПб, 1996.

Дети о языке. Приложение №2 к Трудам постоянно действующего семинара по онтолингвистике. СПб., 2001.

Детские словообразовательные инновации / Сост. С.Н.Цейтлин. Л., 1986.

Харченко В.К. Словарь детской речи. Белгород, 1994.

**КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ
В САКРАЛЬНОМ ТЕКСТЕ
(модель лексикографического представления)**

В докладе рассматриваются принципы составления лингвокультурологического словаря сакральных текстов на материале неопубликованных записей текстов традиционной народной культуры Урала (заговоров, обрядовой и ритуальной магии, примет, закличек и заклинаний и т.п.). Представлены фрагменты словаря, не имеющего аналогов в современной лексикографической практике. Дискретность лексикографической обработки сакральных текстов рассматривается в том смысле, что из некоторого семантического множества интерпретатором выделяются наиболее показательные элементы, и эти элементы эксплицитно представляют смысл целого. Используемая система отсылок и ступенчатой семантизации (различных «входов в словарь») через систему тематических, алфавитных, предметных и идеографических указателей отвечает идее континуальности лексикографического представления сакрального текста, поскольку его содержательная многослойность выявляется только через соотнесение знаков разной природы.

Об актуальности словарного представления отдельных фрагментов русской языковой картины мира (и в первую очередь текстов традиционной народной культуры) свидетельствует активно разрабатываемая в последние десятилетия этнолингвистическая и лингвокогнитивная лексикография «знаков культуры», существующая в разных вариантах. Аналога словаря сакральных текстов (далее – СТ) в лексикографической практике нет, можно отметить лишь включение отдельных сакральных характеристик в словарные статьи энциклопедических, диалектных, историко-этимологических, фразеологических, этнолингвистических и некоторых других словарей, которые, хотя в целом и «работают» на создание некоего лингвокультурного континуума, тем не менее

демонстрируют стратегию типовой словарной дискретизации сакрального.

В настоящее время существует несколько способов лексикографической интерпретации сакральной семантики.

1. Энциклопедии быта и духовной культуры народа представлены в основном в двух разновидностях: во-первых, в виде тематических сборников материалов без комментариев; во-вторых, в системном описании элементов традиционной народной культуры, их разноаспектной интерпретации и сопоставлении. К первому типу относится, например, серия выпусков Свердловского областного дома фольклора «Традиционная народная культура Урала», а также многочисленные издания (часто дублирующие друг друга), посвященные народному календарю («Календарь русской природы», «Земледельческий календарь») и т.п., где информация сакрального плана представлена эпизодически. Самым заметным явлением в этнолингвистической лексикографии энциклопедического типа стала, на наш взгляд, работа С.М. Толстой «Полесский народный календарь».

2. Описание локальной культурно-языковой традиции по данным народной обрядности, фольклора. В этом плане выполнен, например, «Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья» И.А. Подюкова, С.В. Хоробрых, Д.А. Антипова. В словаре представлена диалектная лексика и фразеология, тематически связанная со свадебной обрядностью Северного Прикамья (между реками Чусовая и Печора).

3. Лингвокультурологический комментарий закрепленных в языковом знаке культурных смыслов. Первым опытом такого рода стал историко-этимологический словарь «Русская фразеология» [Бирих, Мокиенко, Степанова 2005], в котором представлено сюжетное изложение историко-этимологической версии исходного образа фразеологизмов. Ценным представляется привлечение авторами фактов русского быта, истории, народных верований, обычаев и обрядов. Дальнейшее развитие идея, связанная с необходимостью «вписать» идиому в широкий социокультурный контекст, находит в фундаментальном лексикографическом труде «Большой фразеологический словарь русского языка. Значение.

Употребление. Культурологический комментарий» под редакцией В. Н.Телия. Здесь впервые описывается ситуация употребления фразеологизма как «знака культуры».

4. Словари символов представляют лишь один из аспектов семантики сакрального в плане соотношения «знак – значение – символ». Символическая функция знака рассматривается как его образный смысл, определяющий выразительные и изобразительные особенности слова. Системное описание таких символических смыслов позволяет представить семантическую структуру знака с учетом базовых для языка источников выявления и интерпретации коннотативного содержания. Одним из лучших словарных представлений мифолого-символических функций знаков является «Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов» М.М. Маковского. В словаре рассматривается языческая символика предметов и существ, явлений природы, культовых действий и обрядов, числа и цвета.

5. Мифологические словари представляют в основном теологические и демонологические статьи и отличаются охватом материала: от «систематизированного изложения мифотворчества всех народов мира» [Мифологический словарь 1990] до отдельных мифологических традиций (см., напр. [Кайсаров, Глинка, Рыбаков 1993; Белякова 1995; Власова 2008]). Соответственно отбор материала и его объем обуславливают привлечение в качестве основания для комментария разных данных (от исторических и мифологических источников до фольклорных сюжетов).

6. Анализ базовых концептов культуры, например, в словаре Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской культуры». К данному типу относится и словарь культурно маркированных прецедентных феноменов, обладающих национальной специфичностью и демонстрирующих характер отражения русской картины мира в языке. Речь идет о единственном словаре, представляющем в одном из разделов текст (прецедентный текст и прецедентные высказывания), – «Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь» И.С. Брилевой, Н.П. Вольской, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. Авторы обращаются

прежде всего к текстам детской литературы (художественным и фольклорным), изложение которых включает пересказ ключевых эпизодов и прецедентных ситуаций, указание имен основных действующих лиц и прецедентных высказываний. Особое внимание уделяется информации о бытовании прецедентных текстов в массовом сознании современных носителей языка (через описание типовых ситуаций, в которых говорящие употребляют данные тексты).

Применительно к любому СТ эта модель, по-видимому, работать не будет: нельзя, например, вкратце пересказать текст заговора (несмотря на его устойчивость) без «ущерба» сакральному содержанию. Однако отдельные элементы предложенной схемы лингвокультурологической интерпретации текста могут быть продуктивными, например, при лексикографическом описании таких СТ, как приметы. Особо значимой нам представляется также апелляция к показаниям языкового сознания носителей современной русской культуры, что, на наш взгляд, непременно должно найти отражение в словарных дефинициях СТ и их фрагментов как показатель «считываемости» сакральных смыслов.

При выборе способа толкования сакрального содержания знака следует учитывать две ситуации, определяющие выбор конкретных лексикографических техник семантизации СТ: во-первых, когда сакральная информация об обозначаемом формально выражена (темой СТ, внутренней формой слов или номинативных словосочетаний, входящих в его состав, сакрально маркированными онама, языковыми единицами, представляющими базовые компоненты феномена сакральности и т.п.). В этом случае, очевидно, речь должна идти о дискретности СТ в том смысле, что из некоторого множества интерпретатором выделяются наиболее показательные элементы и эти элементы эксплицитно представляют смысл целого.

Во-вторых, ситуация, когда сакральная информация формально не выражена (текст не содержит лексических маркеров сакральности, представляется на первый взгляд профанным, исходные сакральные смыслы без дополнительной информации не «считываются»). И в данном случае мы имеем дело с континуаль-

ностью СТ, поскольку его содержательная многослойность выявляется только через соотнесение знаков разной природы (вербальных, акциональных, предметных, изобразительных и т.п.), что соответствует онтологической сути СТ как многокодового, или, по выражению Н.И. Толстого, «многоязычного» текста.

Для лексикографического представления фактов в первом случае достаточно интерпретации внутренней формы сакрально маркированных элементов СТ, их денотативной «привязки» и / или пояснения системных (внутрипарадигматических или межпарадигматических) связей, поскольку сакральный компонент составляет основу семантики этих единиц. Например:

*На кашу обязательно подарок несли: пелёнку, рубашки, платки, полотенца. Одаривали, когда смотрели ребенка, но быстро и молча. Чтоб не сглазить. Говорят, дескать, хочь словам, хочь тяжёлым глазом одинак *изурóчат дак. А ба́ушка тۇто же с *баёвкой, пошóпиот, *побáит ли, знаткá дак, знат, чё надо *бáлеть (Паршино, Богд.).*

Знаком * отмечены элементы текста, нуждающиеся в отдельном комментарии при декодировании СТ:

**Баёвка* – трава, с помощью которой «бают» знахарки, измеряют ее «шепотками» для заговоров на снятие порчи, сглаза (ср.: *бáить // бáлить // бáлеть – ‘шептать, знахарить, заговаривать’).

**Изурочить* – нанести вред здоровью, испортить кого-либо (чаще ребенка) словом или взглядом (ср.: *урок* – ‘сглаз’, *урекать* – ‘напускать на кого-либо порчу’).

Другой вариант семантизации выбирается, если лексические маркеры сакральных смыслов отсутствуют. Речь идет в частности об общеупотребительных словах, приобретающих сакральные смыслы только в комплексе с другими культурными кодами, или о предметах, действиях, признаках, выступающих в качестве символов определенного ритуала, обряда. Лексикографическая фиксация СТ и его компонентов должна в этом случае учитывать широкие внеязыковые пресуппозиции, связанные с обрядами, суевериями, фидеистическими представлениями.

В качестве одной из лексикографических техник для указания на принадлежность материала к сфере сакрального предполага-

ется использование соответствующих помет и идентификаторов: *по религиозным представлениям, в старых народных поверьях, в мифологии, мифическое существо, в христианском вероучении, согласно суеверным представлениям, из библейского сказания, в традиционном свадебном обряде, в обряде погребения, православный праздник, в ритуале, в колдовстве, в знахарской практике, в народной медицине* и т.п.

И в первом, и во втором случаях лексикографическое представление сакральных феноменов, очевидно, должно быть ступенчатым: от СТ – к отдельным его компонентам, позволяющим интерпретировать как сами сакральные смыслы, так и различные способы их выражения. Таким образом, модель представления в словаре СТ и сакральных смыслов составляющих его языковых единиц должна включать в качестве основных параметров:

1) характеристику их денотативной отнесенности, при этом в особых комментариях нуждаются названия полифункциональных предметов, атрибутов и действий, которые могут в одних ситуациях выступать как обыденные, в других – как сакрально маркированные;

2) характеристику системных связей языковых единиц (в частности, через выявление наборов системно значимых семантических оппозиций сакрального знака);

3) показания языкового сознания – психологическую реальность представленности значения в сознании носителей языка – с учетом констант русской ментальности, закрепленных? в частности? в языковой идиоматике и выявляемых в контекстах;

4) возрастную, территориальную, гендерную, социальную отнесенность сакральной информации (данный компонент семантизации значим при описании дополнительных, периферийных семантических признаков, в разной степени актуальных для носителей языка);

5) «вписанность» значения в широкий культурный контекст через ритуал, обряд, обычай, фольклор и т.п., что особенно важно для интерпретации семантики общеупотребительной лексики, приобретающей сакральную значимость лишь в комплексе со знаками других кодов;

б) интерпретацию символических смыслов, присущих языковым единицам в определенном культурном континууме, их соотношенность с символикой других кодов, моделирующих СТ.

Учитывая принцип единообразия при составлении словаря СТ, мы вместе с тем отдаем себе отчет в том, что состав компонентов словарной дефиниции будет варьироваться для разных типов СТ.

Некоторые специальные проблемы составления лингвокультурологического словаря СТ нуждаются в дальнейшей разработке. К ним, по нашему мнению, относится определение самих параметров идеографической сетки, покрывающей денотативное пространство СТ. Кроме того, неоднозначно определение критериев ограничения объема лингвокультурного комментария, особенно при невыраженности в описываемом тексте сакрального компонента. Сложен также вопрос определения статуса сакрального символа с точки зрения его универсальности или специфичности (принадлежности к одному СТ или серии взаимосвязанных СТ). Специального обсуждения требует проблема метаязыка описания СТ с учетом адресата словаря. Чисто технической трудностью является снятие дублирования отдельных компонентов описания СТ, имеющих общую мифосимволическую основу или пересекающиеся сакральные сюжеты-источки.

При определении структуры словаря неизбежно возникает вопрос об основаниях для объединения текстов в определенные рубрики с целью оптимизации поиска пользователя издания. Нами рассматривались разные варианты такой организации материала.

Во-первых, можно было бы объединить СТ по жанрам (заговоры, заклинания, приметы, страшилки, мифологемы, идиоматика народного календаря и т.д.). Однако такой способ подачи материала не соответствует принципу экономии, так как подобное представление СТ будет слишком дробным: в разных рубриках окажутся СТ одной темы и прагматической функции, что приведет к неизбежному дублированию некоторых элементов лингвокультурологического комментария. Кроме того, если учитывать семантические особенности СТ, то в одной группе окажутся разнородные по исходному сакральному содержанию и способам его выражения тексты (например, лечебные и приворотные заговоры, семейная и хозяйственная обрядность и т.п.).

Во-вторых, представление СТ в силу фактора их устойчивости возможно по характеру сакральных мотивов или общности символики. Однако в таком случае один и тот же СТ часто должен будет комментироваться в нескольких группах, т.к. в нем, как правило, представлены целые мифосимволические комплексы, объединяющие разные мотивы, хотя и взаимосвязанные системой образов, языковых формул и др. средствами передачи сакральных смыслов.

Наконец, по способам организации сакрального содержания СТ характеризуются в целом одинаковым набором элементов синтактики (сочетания однокодовых и разнокодовых знаков): метафорический параллелизм, ритуально-предметная атрибутика, вербальные и невербальные обереги и т.п. средства выражения логики мифосимволической партиципации.

В результате нами принят вариант структурирования материала по прагматической функции как наиболее крупной единице классификационной схемы, позволяющей максимально обобщенно рубрицировать разнородный материал. Для каждой рубрики отмечаются лишь наиболее характерные речевые жанры, типовые стратегии, тематические сферы и основные мотивы СТ соответствующей прагматической направленности.

Представляется, что такой словарь должен иметь следующую структуру.

Раздел I. Тезаурус СТ: прагматика и семантика.

Здесь представлены СТ, сгруппированные по типу прагматической функции (подразделы словаря). Лингвокультурологический комментарий включает описание типовых ситуаций употребления СТ, соотносительность СТ с ритуалом (обрядом), интерпретацию культурно значимых пресуппозиций, сопровождающих функционирование СТ. Внутри подраздела материалы группируются по тематическому принципу (семья, быт, народная медицина, народная мифология, традиционные обряды и праздники, народный календарь и т.д.).

Раздел II. Маркеры сакральных смыслов.

Включает комментарий элементов СТ через сакрально маркированные мотиваторы, контексты, выявляющие показания

языкового сознания носителей языка (говора) относительно интерпретируемых единиц СТ. Маркеры сакральных смыслов располагаются в алфавитном порядке, отсылка к ним в СТ (в первом разделе словаря) дается со знаком *.

Раздел III. Типовая символика СТ.

Этот раздел включает повторяющиеся (устойчивые) символы СТ, сгруппированные по характеру их выражения: предметные, цветовые, числовые, вербальные и т.п., которые отражают логику мифосимволической партиципации, свойственную СТ. Интерпретации подвергается символика ритуальных действий, предметов или атрибутов, относящихся обозначаемое к сфере сакрального. В ряде случаев сакральный смысл выявляется лишь при соотнесении разнородной символики традиционных обрядов, в частности указывающих на использование предметов в несвойственной для них функции, а также «не по регламенту» (не в соответствии с установленными правилами).

Раздел IV. Лексика и фразеология ограниченного употребления в СТ.

Необходимость выделения такой рубрики в словаре объясняется спецификой СТ, в частности наличием в них большого количества слов и выражений, непонятных современному носителю языка: диалектных, архаизированных, библейских и т.п. Принцип расположения материалов в данном разделе – алфавитный, отсылка к заголовочному слову дается в СТ (первый раздел словаря) через выделение соответствующей единицы полужирным курсивом.

Сакральное слово в СТ (в качестве единицы семантических полей «сверхъестественное», «таинственное», «священное», «демоническое», «ритуально-магическое» и т.п.) выступает лишь как ассоциативный стимул, толчок к актуализации всего содержания СТ или отдельных его аспектов, получающих реализацию в зависимости от уровня языковых и внеязыковых знаний говорящих и их коммуникативных намерений. Характер целостного восприятия СТ определяется комплексом элементов устойчивой и варьируемой информации о соответствующем участке описываемого денотативного (или квазиденотативного) пространства

в содержательной структуре текста, в совокупности его актуальных смыслов. При этом «ассоциативный потенциал <сакрального слова / выражения> предстает как обусловленная самим лексическим значением программа преобразования потенциального содержания в актуальное» [Гридина 1996: 60 – 61]. Такая «программа» моделирования актуальных смыслов СТ может быть реализована при учете всей совокупности типов культурной информации, транслируемой элементами СТ, что связано с привлечением для лексикографической интерпретации разных культурных кодов: обрядов, ритуалов, традиционного народного календаря и святцев, практики народной медицины и т.д.

Таким образом, концепция разрабатываемого нами словаря соотносится с требованиями современной комплексной междисциплинарной интерпретации лингвокультурных феноменов (сочетания собственно лингвистического, культурологического, этнографического, когнитивного, психо- и социолингвистического аспектов анализа материала).

В заключение приведем в качестве примера один фрагмент словаря.

Рукобитье. *Вот чё надо делать скажу, чтоб ладом было: *порядок у нас, раньше знали, щас мало кто соблюдают, вот и ревут потом. Раньше ить как, приедут вот, например, свататься. Чё да чё надо, ставят какú бабу, говорушшу, чтоб, значит, сговаривались. А у той, у *засватанки-то, чтоб не выказывала, что радёхонька, *пíсельницы ли, мáтерины сестры ли, подружки песни поют *жалóсливые, чтоб, значит, *расклеить её. Лучшие ты пореви у матери за столом, чем потом за столбом, замуж-от выйдёт, там-ить никто не пожалеет. А как до рукобитья дошло, туто уж гулянку делали и частушки, и всё.*

Ритуал связан с обрядом сватовства на Руси, который обычно завершался «рукобитьем»: отцы жениха и невесты ударяли ладонями, тем самым закрепляли согласие на брак [РФ: 606].

Большое рукобитье – обряд, в котором согласие на брак объявляется жениху. Причем созываются на пир родственники и знакомые, и в это время, после молитвы, совершается рукобитье уже между родителями жениха и невесты.

Малое рукобитье – обряд, в котором согласие на брак объявляется свату. Родители невесты, засветив перед образом свечи или лампаду, берутся со сватом за руки и молятся, а затем угощают свата и условливаются с ним насчет свадьбы [СРНГ, т. 35: 248].

В словаре, чтобы избежать дублирования информации в дефинициях, связанных с устойчивыми компонентами СТ, используется система отсылок и ступенчатой семантизации. Наличие нескольких «входов в словарь» через систему тематических, алфавитных, предметных и идеографических указателей отвечает идее континуальности лексикографического представления СТ.

ЛИТЕРАТУРА

- Белякова С.Г.** Славянская мифология. М., 1995.
Бирих А.К., Мокшенин В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М., 2005. (РФ)
Власова М.Н. Энциклопедия русских суеверий. М., 2008.
Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.
Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Веселова книга. М., 1993.
Мифологический словарь / Гл.ред. Е.М. Мелетинский. М., 1990.
Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина. М.; Л., 1965 – 1998. Вып. 1 – 36. (СРНГ)

УДК 81'374

И.С. Куликова, Д.В. Салмина
Санкт-Петербург

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК КАК ГИПЕРТЕКСТ

Энциклопедии замышляются для спорадического и никогда – для линейного чтения. Человек, прочитавший энциклопедию с начала до конца, – готовый кадр для психбольницы.

Умберто Эко

Объектом лингвистического исследования в данной статье являются энциклопедические словари-справочники XIX – XXI вв. как особый тип

лексикографического дискурса. В качестве оператора в работе используется понятие «гипертекстовой скрепы». Кроме традиционно отмечаемых внутрисловарных отсылок, рассмотрены такие скрепы-маркеры гипертекстовости, как «гнездование» в рамках одной словарной статьи (словарь Толля), фрагментация информационного пространства гипертекста словаря за счет представления серий понятий с объединяющим компонентом в структуре заголовочных терминов, «единоначатие» статей одной тематической группы (лексикографическая анафора).

Предметом обсуждения в данной статье, возможно несколько неожиданно, являются не лингвистические, а энциклопедические словари (далее – ЭС), которые, не будучи источниками собственно языковой информации, могут и должны быть объектом лингвистического исследования как особый тип словарного дискурса. Прекрасно осознавая «коварство» термина «дискурс», мы тем не менее используем здесь именно его, так как энциклопедические словари, как никакие другие лексикографические издания, «погружены в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), в ту историческую эпоху и в ту культурную среду, когда и где они создавались. Это убеждение авторов статьи основано на проведенном ими многоаспектном сопоставлении трех энциклопедических словарей разной хронологической приуроченности: изданного в середине XIX в. «Настольного словаря для справок по всем отраслям знания» Ф. Толля, «Энциклопедического словаря» начала 50-х годов XX в. и современного «Большого энциклопедического словаря» (далее соответственно – Словарь Толля, ЭС-53 и БЭС) [Куликова, Салмина 2008: 23 – 32].

Взгляд на ЭС как на дискурс предполагает рассмотрение словаря как информативного пространства с точки зрения его содержательного наполнения и отражения в нем картины мира соответствующего времени. Однако любой словарь есть одновременно некая текстовая данность, некая структура, подчиняющаяся определенным законам внутренней организации. Универсальным структурным признаком ЭС-справочников является алфавитное расположение материала, которое, будучи оптимальным способом поиска нужной информации, одновременно с неизбежностью ведет к дроблению целостной области знаний на отдельные

информационные кванты, чаще всего далеко отстоящие друг от друга в текстовом пространстве ЭС. Разумеется, возникающее вследствие этого противоречие проще всего разрешается обращением к специализированным ЭС и энциклопедиям. Однако в самом ЭС оно остается и требует разрешения, а главное – находит его.

В недавно опубликованной статье И.И. Иванова, посвященной лингвистическим словарям, подчеркивается, что «словарь – это текст особого рода». Собственно текстовая природа словаря, по мнению автора статьи, определяется, во-первых, «линейностью», «формой словаря как книги», во-вторых, единством, которое «объективно задано алфавитным и / или иным порядком словарных статей» (т.е. опять же формально! – *И.К., Д.С.*) и «обусловлено авторскими представлениями о цельности и выделимости объекта описания» [Иванов 2009: 233].

Остановимся более подробно на этих признаках словаря как текста. Линейная природа обычного (литературного) текста предполагает для читателя единственный маршрут движения – по ходу текстового развертывания. (Вспомним остроумное замечание Умберто Эко о «ненормальном» чтении текстов университетскими профессорами, исследующими, например, употребление союза «и» в Библии [Эко 1998]). В то же время уже научный текст, разделенный на главы и параграфы, допускает и выборочное чтение «нужного» материала. «Читатель словаря может избирать бесконечное число маршрутов» [Иванов 2009: 234], причем, подчеркнем, такая «полимаршрутность» – онтологическое свойство словаря, основная коммуникативная предназначенность которого быть справочником (см. эпиграф).

Поэтому можно согласиться с И.И. Ивановым, что «линейность словаря – лишь условность представления материала» [Иванов 2009: 234], а следовательно, этот первый текстовый признак подвергается сомнению самим автором статьи. Относительно второго признака – единства – позволим себе высказать возражение: современный большой словарь создается коллективом авторов, а потому, несмотря на наличие общеобязательной инструкции-проспекта, коллективного обсуждения и редактуры,

далеко не всегда удается достигнуть «идентичной лексикографической квалификации» слов, принадлежащих даже одной тематической группе [Стрижевская 1987: 70].

Со вторым признаком соотносится включаемый многими авторами в определение энциклопедии признак «*систематизированные*» (знания). Однако невозможно ожидать равной степени систематизации «круга знаний» в отраслевой энциклопедии и в универсальном ЭС-справочнике. В отраслевых энциклопедиях систематизация достигается, в частности, последовательным применением одних и тех же принципов научной систематики и одного метаязыка описания ко всем описываемым понятиям и стоящим за ними реалиям. В универсальном ЭС (впрочем, как и в толковых словарях) этому мешает разнородность, многокачественность материала. Поэтому характеристика «систематизированный», на наш взгляд, может применяться к ЭС в достаточной степени условно. К тому же, это признак не текстовый по сути своей и проецируется не столько на содержательную сторону энциклопедических дескрипций (т.е. сам дискурс), сколько на корпус единиц ЭС.

Между тем современная лингвистика позволяет подвести ЭС под особую категорию текстового уровня – гипертекст, т.е. свертхтекст. По определению В. Руднева, это «текст, устроенный таким образом, что он превращается в *систему, иерархию текстов*, одновременно составляя единство и множество текстов», причем «простым примером гипертекста», с точки зрения учебного, является «любой словарь и *энциклопедия* (здесь и ранее выделено нами. – И.К., Д.С.), где каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря» [Руднев 2001: 95 – 96].

Из сказанного очевидно следует, что сам способ такой организации текста справочного характера использовался давно. Тем не менее термин *гипертекст*, появившийся в отечественных филологических работах только в конце 90-х годов XX в., воспринимается, на первый взгляд, как очередная «компьютерная метафора». «Сейчас кажется само собой разумеющимся, – пишет Михаил Визель, – что понятие “гипертекст” появилось именно благодаря возникновению и развитию глобальной информационной сети

Интернет» [Визель 1999]. Действительно, в середине 60-х годов термин *Hypertext* был введен в обиход американским ученым-программистом Тедом Нельсоном для обозначения «текста, ветвящегося или выполняющего действия по запросу» [Гипертекст], и очень быстро стал одним из ключевых компьютерных терминов, обозначая способ электронного представления текстовых материалов со сложной структурой в Интернете. На самом деле идея гипертекста, как говорится, давно «вита в воздухе» и впервые была сформулирована в «докомпьютерную эру», еще в 1945 г., советником по науке президента Рузвельта Ванневаром Бушем как способ оптимальной организации библиотечных каталогов [там же]. В интернет-сайтах подавляющее большинство литературы по проблемам гипертекста имеет прикладной характер и ориентировано на организацию виртуального информативного пространства, прежде всего *World Wide Web*.

Но, как отмечается во многих работах, термин, а точнее, стоящее за ним понятие *гипертекстовости*, оказалось созвучно идеям, развиваемым в гуманитарной сфере – в филологии и особенно в литературе постмодернизма [Эко 1998; Визель 1999; Емелин; Шмидт]. О его общекультурной значимости свидетельствует включение статьи «Гипертекст» в «Энциклопедический словарь культуры XX века» В. Руднева, чье приведенное выше определение этого понятия чаще всего цитируется. Серьезным стимулом к глубокому философскому осмыслению гипертекстовости послужила публичная лекция Умберто Эко «От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст» (см. [Эко 1998]). Стоит, однако, отметить, что, по свидетельству Г.Н. Ермоленко, французский теоретик литературы Ж. Женетт в работе «*Palimpsestes: La littérature au second degré*» (1982) называет этим термином тексты, созданные на основе первичного текста-оригинала путем его трансформации (пародию, пастиш и др.) [Ермоленко], т.е. как следует из перевода названия, литературу «второй степени», или, в более современной терминологии, *вторичные тексты*.

При всем различии понятий «гипертекст» и «вторичный текст» их объединяет интертекстовость, но если во вторичном тексте она может быть в той или иной мере скрыта в расчете на

аллюзии и ассоциации читателя, то в гипертексте она получает прямое выражение в форме направляющих и ориентирующих «маршрутных» отсылок. Поскольку даваемая в ЭС информация в принципе должна быть достаточно отстоявшейся и собирается из различных имеющихся источников, в том числе и иноязычных, энциклопедический словарь соединяет в себе свойства и вторичного текста¹, и гипертекста.

Из трех признаков гипертекста, отмеченных И.И. Ивановым для лингвистических словарей, на ЭС могут быть распространены только первые два: известная самостоятельность и законченность словарных статей, а также наличие внутренних отсылок между статьями [Иванов 2009: 234]. Первый признак наиболее отчетливо проявляется в ЭС полного, а не справочного типа, где статьи не только значительно более объемны, но и – что особенно значимо – персонализированны.

Исходя из наличия отсылок как главного (всеми отмечаемого) признака гипертекста, основными маркерами гипертекстовости ЭС – назовем их *в соответствии с функцией гипертекстовыми скрепами* – следует признать:

– **прямые (явные) внутрисловарные отсылки**, которые вводятся отсылочным знаком *см.* в скобках внутри текста или без скобок в конце статьи и параграфически (например, курсивом) выделяют заголовок той статьи словаря, с которой рекомендуется познакомиться, чтобы получить о предмете более полное представление;

– **непрямые отсылки**, которые осуществляются только параграфическим выделением слова в структуре самого текста статьи, обычно в её предметно-объяснительной части, и сигнализируют о наличии в словаре статей, соположенных данной, и о возможности обратиться к ним.

¹ Особый характер вторичности текста отличает первый русский энциклопедический словарь Ф. Толля: когда создавался этот словарь, теоретическая база отсутствовала и составитель шел от образца, примера. Как он сам пишет в предисловии «К читателю» в 1-м томе, «десятки иностранных словарей, аналогических по цели с нашим и почти одинаковых с ним по объему, развернули перед нами свои сокровища», из чего следует, что многие статьи – прямой перевод из немецких и французских энциклопедических изданий (хотя нигде прямо об этом не сказано).

Если невозможно (?) говорить о степени текстовости (текст или есть, или его нет), то гипертекст, исходя из его определения, может быть разной степени спаянности, разной меры выраженной иерархичности. Следовательно, можно, на наш взгляд, говорить о степени (мере) гипертекстовости словарей. Так, степень гипертекстовости «Энциклопедического словаря культуры XX века» В. Руднева очень велика: подобно А. Белому, реализовавшему в своей прозе собственные теоретические эстетические построения, В. Руднев *создает* свой словарь как *образцовый гипертекст*, превращая его в своего рода «испытательный полигон» лингвистического теоретического положения.

Опыт общения со словарями показывает, что мера гипертекстовости любого ЭС как минимум на порядок выше, чем у словаря толкового, что обусловлено необходимостью в ЭС хотя бы частично реализовать через разнотипные внутрисловарные отсылки названный выше признак систематичности как связи понятий и реалий одного тематического круга. Однако различные ЭС в этом отношении неодинаковы.

Достаточно высока гипертекстовость отраслевых энциклопедий, что можно увидеть на примере «Лингвистического энциклопедического словаря» (далее – ЛЭС). Показательно такое сравнение: в большой статье «Фонология» в ЛЭС на 5-ти столбцах текста 6 прямых отсылок (типа: см. *Акцентология*) и 11 не прямых отсылок с курсивным выделением (типа *фонема*). Соответствующая статья в БЭС – 3 строчки (!) текста без единой отсылки, что может быть оправдано тем, что основные «отсылочные» понятия *фонетика* и *фонема* даются отдельными статьями в непосредственном соседстве.

Но измеряемая количеством внутрисловарных отсылок мера гипертекстовости существенно различается и в различных ЭС, что позволяет увидеть следующая таблица, в которой представлены статьи трех названных выше словарей, тематически разноплановые, но достаточно типичные по соотношению внутритекстовых отсылок (см. табл. 1).

Таблица 1. Внутрисловарные отсылки как гипертекстовые скрепы

Прямые и не прямые внутрисловарные отсылки			
Словари	Словарь Толля	ЭС-53	БЭС
Статьи			
Водород	–	<i>протий, дейтрий, тритий</i>	<i>(см. Водородная энергетика)</i>
Водородная бомба	нет статьи	<i>термоядерная реакция, водородная бомба, атомная энергия</i>	<i>(см. Термоядерная реакция)</i>
Атом	–	<i>электроны (см. Атомное ядро) массовое число, молекулы, квантовая механика См. Атомная энергия, Радиоактивность</i>	<i>квантовый переход уровень энергии атомные спектры</i>
Вольтер	<i>Энциклопедисты</i>	–	–
Герике Отто (нем. физик)	<i>Герикова пустота. см. Пустота Гериковы полушария см. Полушария</i>	нет статьи	–

Таблица показывает, что степень гипертекстовости в словаре Толля самая низкая (хотя статья **Герике** этому выводу несколько противоречит, но она как раз наименее типична), а в ЭС-53 – самая высокая, даже по сравнению с БЭС (в последнем чрезвычайно убогий петит затрудняет зрительное восприятие не прямых курсивных отсылок).

Попытаемся найти причины отмеченного различия. Так, представляет несомненный интерес резкое сокращение неявных ссылок в БЭС при том, что многим понятиям, которые в статье **атом** используются как дескрипторы (электрон, молекула, атомное ядро), соответствуют отдельные статьи. Таким образом, имею-

щиеся возможности гипертекстовых отсылок составителями словаря не используются. Говоря о русских толковых словарях, Д.И. Арбатский отмечал, что они ориентируют толкование «на уровень среднего образования (большинство советских людей имеет среднее образование). Это означает, что в основе словоупотребления лежит не наивная, а научная информация, которая определена программой среднего образования» [Арбатский 1975: 33]. Сказанное тем более справедливо по отношению к ЭС, представляющим научную картину мира.

Видимо, составители ЭС-53, изданного огромным тиражом в расчете на самого широкого адресата, не были вполне уверены, что даже достаточно образованный его читатель знает, что такое *молекула* и т.п., между тем функция не прямой отсылки прежде всего вспомогательно-информативная: она помогает пользователю словаря, столкнувшемуся с неизвестным (или плохо известным) термином, быстро сориентироваться в пределах словаря, а не откладывать его в сторону. Собственно гипертекстовая, т.е. структурирующая словарь, функция отсылки, о чем идет речь в данной статье, производна от функции прагматической точно так же, как структура языка производна от его функций.

Составители БЭС, не без основания уверенные, что любой их читатель в 2001 г. **знает**, что такое «молекула» или «электрон» (равно как и протон, ион, фотон и т.п.), не мешают восприятию статьи как целостного текста шрифтовым выделением этих элементов дескрипции, сохраняя его только для сравнительно новых терминов (см. табл. 1). Иными словами, у *непрямых отсылок* есть и еще одна функция: они своеобразно маркируют новизну понятия или явления, обозначаемого выделенным словом или словосочетанием. Это очень хорошо видно в статье **Герике** в словаре Толля: изобретения немецкого физика XVII в. – воздушный насос и известная сегодня любому школьнику электрическая машина для демонстрации отталкивания одноименных зарядов – были в России середины XIX в. еще открытиями. В БЭС статья, посвященная Герике, дана безо всяких отсылок. Показательно, что в ЭС-53 такими не нуждающимися в отсылочном подкреплении элементами описания в статье **атом** явились «валентность»,

«изотопы», «ионизировать», правда, два последних все же объясняются внутри этой статьи (а не только в «своих»).

Если отсутствие отсылок в статье **водород** для словаря Толля естественно отражает отсутствие соответствующих научных знаний, то статья **атом** интересна и тем, что позволяет увидеть в этом словаре другие средства гипертекстовости. Достаточно широкий спектр знаний об этом явлении представлен через типичный для словаря Толля, но абсолютно нехарактерный для современных ЭС гнездовой способ организации словарной статьи: **Атом** (*греч. нераздробимый*), *малейшая частица тела, по предположению не допускающая деления <...> Теория, допускающая существование атомов, называется атомистической <...> Такое отношение тяжести носит название вес атома <...> – **Атомистика** – учение об атомах. Структурной единицей ЭС традиционно является статья, раскрывающая отдельное понятие. Поэтому объединение в рамках одного абзаца нескольких статей (в данном случае двух: **Атом** и **Атомистика**) можно, на наш взгляд, рассматривать как особое проявление гипертекстовости.*

В ЭС-53 и БЭС, т.е. словарях, построенных по отработанной лексикографической модели, гнездованию этого типа эквивалентно серийное представление терминов-понятий на непрерывном (или частично прерываемом) информативном пространстве ЭС. Например, статья **Атом** в БЭС открывает серию из 16-ти следующих друг за другом статей типа *атомизм*, *атомная физика* и т.п. Такой способ подачи материала произведен от специфики терминообразования, но каковы бы ни были его причины, внутри ЭС серийный способ расположения материала обеспечивает фрагментирование картины мира крупными кусками, блоками, сериями и, кстати, избавляет составителей от необходимости большого количества внутрестатейных отсылок.

Кроме отмеченных показателей гипертекстовости, небесприемно, нам кажется, обсуждение такого специфического объединяющего фактора, как содержательное и формальное единообразие текстов статей одного тематического круга. Это в первую очередь касается начальной, «семантической», части статьи ЭС,

где определение должно – в идеале – начинаться с одних и тех же знаков метаязыка ЭС, помещающих понятие в определенный тематический круг, а для многих понятий – и локализирующих его во времени и пространстве. Однако в трех рассматриваемых словарях этот принцип реализуется с неравной последовательностью. Ср. начало так называемых «биографий»:

Словарь Толля:

Гумбольдт, Фридр. Вильг. Генр. Александр, барон, род в Берлине 1769 г. <...> – и лишь в ходе чтения статьи читатель узнает о заслугах этого лица перед мировой культурой.

Гумбольдт, Карл Вильг., барон, брат предыдущ., лингвист и эстетик, род. 1767 г. в Потсдаме, ум. 1835 г. <...>

ЭС-53:

Гумбольдт, Александр (1769 – 1859), выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник <...>.

Гумбольдт, Вильгельм (1767 – 1835), нем. языковед, философ-идеалист и гос. деятель <...>.

БЭС:

Гумбольдт (Humboldt) Александр (1769 – 1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник <...>.

Гумбольдт Вильгельм (1767 – 1835), нем. филолог, философ, языковед, гос. деятель, дипломат <...>.

Как видно из примера, наиболее последовательно единство оформления семантической части статьи (своего рода *лексикографическая анафора*) проявляется в БЭС, где любая «биография» начинается с даты жизни и смерти (локализация во времени), региональной локализации (рус., франц., нем. и т.п.) и указания на область деятельности, в которой данное лицо получило известность (тематическая ориентировка статьи); в ЭС-53 это единство нарушается оценочным и идеологическим компонентами (*выдающийся, идеалист*), а в словаре Толля вообще как специальный прием организации гипертекста словаря не используется.

Очевидно, что в этом случае понятие «гипертекст» – по отношению именно к словарям – получает дополнительное содержательное наполнение: речь идет уже не о содержательных связях-отсылках, а о структурном (композиционном и метаязыковом) единообразии статей одного тематического круга.

Проведенный анализ словарных статей и сравнение способа организации материала в трех ЭС позволяет, как нам кажется, не только укрепиться в понимании ЭС как гипертекста, но и внести некоторые уточнения в понятие **гипертекст** (применительно к ЭС), введя понятия «степень гипертекстовости» и «гипертекстовые скрепы» и включив в число последних, кроме традиционно отмечаемых внутрисловарных отсылок:

- «гнездование» в рамках одной словарной статьи,
- фрагментацию информационного пространства гипертекста ЭС за счет представления серий понятий с объединяющим компонентом в структуре термина-номинала,
- «единоначатие» статей одной тематической группы (лексикографическую анафору).

Обращение к гипертексту словаря заставляет задуматься и над такими свойствами текста, как континуальность и дискретность. Первое, как известно, связано с текстовой категорией целостности, второе – категория прежде всего коммуникативно-прагматическая. При этом в тексте континуум доминирует над дискретностью. В гипертексте энциклопедического словаря, напротив, безусловной доминантой является дискретность, как формальная – разбиение информационного пространства на статьи, так и содержательная, определяющаяся многотемностью ЭС. Поэтому гипертекст как континуум может быть рассмотрен, на наш взгляд, только с точки зрения соотношенности информативного пространства ЭС как дискурса с фактом культуры, а именно – с интерпретацией картины мира соответствующей эпохи, реализуемой в ЭС как некая культурная сверхинформация. Заметим, что степень континуальности трех проанализированных русских энциклопедических словарей, по нашим наблюдениям, существенно различна. Рассмотрение этих различий – предмет отдельного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

Арбатский Д.И. О достаточности семантических определений // Вопросы языкознания, 1975. № 6.

Визель Михаил. Гипертексты по ту и эту сторону экрана [Электронный ресурс]: Иностранная литература. 1999. № 10. Режим доступа: [<http://magazines.russ.ru/inostran/1999/10/>].

Гипертекст [Электронный ресурс]: Википедия. Режим доступа: [<http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипертекст>].

Емелин В.А. Гипертекст и постгутенберговая эра. Режим доступа: [<http://emeline.narod.ru/hipertext.htm>].

Ермоленко Г.Н. Поэма Вольтера «Орлеанская девственница» как гипертекст. Режим доступа: [<http://natapa.msk.ru/biblio/sborniki/XVIIIculture/ermolenko.htm>].

Иванов И.И. Словарь как гипертекст и аспекты лексикографической критики [Электронный ресурс]: Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании. Вып. 8. Т. 1. М., 2009. Режим доступа: [<http://www.philology.ru/linguistics2/sharoval-09b.htm>].

Куликова И.С., Салмина Д.В. Кванторы культурной сверхинформации в гипертексте энциклопедического словаря // Русское слово и русский текст: история и современность. Сб. науч. статей, посвященный члену-корр. РАО, проф. В.А. Козыреву Спб., 2008.

Стрижевская О.И. Семантика названий минералов в словаре русского языка С.И. Ожегова // НДВШ: Филологические науки. 1987. № 1.

Шмидт Энрике. Об универсальных библиотеках и садах расходящихся тропок. Режим доступа: [<http://www.netslova.ru/schmidt/hypertexts.html>].

Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст (Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998). Режим доступа: [<http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html>].

СЛОВАРИ

Большой энциклопедический словарь. М., 2001.

Лингвистический энциклопедический словарь /М., 1990.

Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический словарь): В 3-х тт. / Сост. под ред. Ф. Толля. СПб., 1863 – 1864.

Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001.

Энциклопедический словарь: В 3-х тт. М., 1953 – 1955.

**«ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА**

В статье рассматривается «Полный словарь диалектной языковой личности» как гипертекст, интерпретация которого позволяет представить индивидуальную картину мира носителя традиционной культуры, в частности, её ценностно выделенный фрагмент «Труд».

Афоризм Анатоля Франса о том, что «словарь – это мир в алфавитном порядке», сегодня звучит особенно актуально в свете антропоцентрической направленности современной лингвистики. В описании различных вариантов картин мира словарь предстаёт как единый гипертекст, наделённый колоссальными интерпретационными возможностями для исследования специфики каждого из вариантов, закодированного в формах языка.

В настоящей статье рассматриваются источниковедческие возможности словаря, фиксирующего идиолексикон конкретной языковой личности Веры Прокофьевны Вершининой (1909-2004), носителя традиционной культуры, и, в частности, классы слов, объединённые темой «труд».

«Полный словарь диалектной языковой личности» представляет собой четырёхтомное издание¹, в основе которого лежат 24-летние наблюдения над естественным языковым существованием реального говорящего. Необходимо отметить, что его интерпретационные возможности для исследования индивидуальной картины мира существенно подкреплены системой комментирующих помет, ориентированных на прояснение прагматического компонента лексического значения, а также количественными данными о частотности словоупотреблений.

¹ Два тома словаря опубликованы [Полный словарь...2006; 2007], оставшиеся подготовлены к печати.

Выбранные из словаря и сгруппированные по идеографическому принципу соответствующие единицы не только репрезентируют способы объективации одноимённого концепта, но и позволяют выделить аспекты его описания, проецирующие сущностные характеристики крестьянского мировидения.

Пласт лексем, прямо или косвенно связанных с трудом, весьма обширен и в количественном отношении занимает одно из ведущих мест в идиолексиконе. Кроме того, используемые номинации характеризуются высокой степенью коммуникативной выделенности. Например, частотность таких ядерных репрезентаций, как *работать, работа, дело делать, труженик* и др. достигает более 200 словоупотреблений. Это и понятно, так как вся жизнь крестьянина в её повседневных формах – это труд, охватывающий различные сферы деревенского существования: работа по дому, со скотиной, в поле, на ферме, огородничество, лесозаготовки и др. Приводимый в словарных статьях иллюстративный материал ярко высвечивает синкретизм, взаимопересечение концептуальных полей «жизни» и «работы». Можно согласиться с Н.В. Орловой, которая (на материале народных мемуаров) квалифицирует труд как важнейшую **смысложизненную** категорию [Орлова 2005: 187].

Работа осознаётся языковой личностью прежде всего как необходимое условие физического существования человека (*Как не работать? А кто меня кормить будет?; Не потонаешь, дак не полопаешь*), но вместе с тем она предстаёт в материале как одна из главных моральных ценностей: все лексические группы, образующие описываемую смысловую область, характеризуются наличием оценочных оппозиций, в основу которых заложена этическая нормативность крестьянского социума. Сам характер оценочных противопоставлений отражает коллективную норму, разделяемую языковой личностью, однако их конкретное заполнение в ряде случаев позволяет судить о личностном взгляде на мир, что найдёт отражение в дальнейшем описании.

Отдельную группу составляют единицы, акцентирующие в своей семантике **интенсивность, тяжесть, часто непосильность крестьянского труда**. Все они основаны на метафориче-

ских, образных представлениях и содержат отрицательные оценочные коннотации: *чертоломить, ишачить, горбатиться, ворочать, колотиться, хватить мурцовки, биться как рыбочка об лёд, как иучёнка, как белка в колесе, работать как волк серый, ворочать как конина, как сивый мерин*. Противоположный полюс практически отсутствует: о жизни без труда и забот говорит только пословица в ироническом употреблении: *Чё солдат гладок? – Наелся да на бок*.

Тяжесть работы сельского жителя особенно ярко демонстрируют контексты, отражающие опыт, пропущенный через себя: *А я работала как волк серый. Ворочала как волк. Как мельница молотла всё время, ничё не разбирала, ни мужскую работу, ни женскую. Сила-то как у меня была необнакновенна. Как мужик ворочала. Тяжёлу работу работала, не дай Бог! И мешки таскала я, и с ребятами пахала, и сеяла. Я проворна была работать, мужука заменила бы. Мешки таскала по 70 килограмм... Грузила и на паузки, и с паузков... А покарачь его... Ну как за мужука; Никто не пахал, ни одна женщины! От ей-богу! А я пахала. Кто везёт, на того и кладут большие*.

Отметим, что для описания интенсивности труда значимой предстаёт гендерная характеристика: эталонным образом тяжело работающего человека для языковой личности выступает мужчина, нарушение стереотипа усиливает оценочный план. Попутно можно сказать, что эталонность мужского образа проявляется не только в референтной сфере «работа»: информант прибегает к сравнению с женщиной при описании женских поведенческих характеристик, волевых проявлений, черт внешности, в то время как образный стереотип женщины отсутствует.

Словарь свидетельствует об актуальности **характеристик лица по его физическому состоянию**, которые также представлены группами оценочной лексики. Интересно, что глубинным основанием оценки, проявляющемся прямо или опосредованно, в традиционной культуре сибиряков всегда является такой параметр, как способность / неспособность к выполнению физической работы. На это указывают исследователи диалектов, в частности, Н.И. Шапилова [Шапилова 1998: 103], наш материал подтверж-

дает это положение. Так, образ здорового, крепкого человека объективируется через ассоциативное сближение с миром животных, растений, окружающих языковую личность артефактов (*лось, лошадь, орёл, кряж, лесина, арбуз, ступка* и под.), неспособность же к физическому труду связывается чаще всего именно с утратой здоровья вследствие непосильной работы: *изработанный, изробленный, изношенный, некудышный, истрепаться, надсадиться, шаг по рублю, сгорбуниться, ни сил, ни поспеху* и др.: *Ну, никудышна совсем стала! Износился... конёк-горбунок. Правда, был конь да изъездился; Вот он тринадцатого году. Ишь какой выглядит, как арбуз хороший. Не поработал, не надсадился; Дак она вовсе тоже. Идёт, да гыт, по воробыному шагу-то. Все худы стары! Изработаны все, изроблены. Все работали шибко. Все изработаны.*

Честный труд простого крестьянина связывается с **бедностью**, что отражено во введенных в словарь паремиях: *Прожили век за холицовый мех; Богатый не будешь, а горбатый будешь; Не отдашь душу в ад, так не будешь богат.* Вероятно, именно в силу тяжести работы, вместо богатства приносящей только потерю здоровья, излишнее усердие в работе на общество расценивается как глупость: *Дурак работу любит, а работа дурака; Ума-то не было, брала много, кидала далёко; дорвалась до бесплатного; Кто везёт, на того и кладут больше.* Материал не даёт явного противопоставления работы на общество работе на себя, однако в нём особо выделено присущее носителю традиционной культуры **чувство хозяина**. Значимыми в этом смысле следует считать паремии *худой, да хозяин; говённа, да хозяйка*, заключающие в себе подчёркнутую приоритетность права хозяина. Ведение домашнего хозяйства, требующее больших физических затрат (*Домашность не велика, а стоять не велит; Без хозяйки дом сирота*), неотделимо от понятия «труд» и подлежит оценке. Образ идеального хозяина наделяется такими чертами, как трудолюбие, стремление к поддержанию порядка, рачительность, экономность, запасливость, умение обеспечить семью и т.п. Отсутствие таких качеств подвергается негативной оценке: [*Серёжа*] *Работяшый, за грехи работяшый. И сколько дрова возит, и тут дрова, и тёшиэ дрова, и себе*

дрова... Много же дров надо. Всё, всё делат. Глядишь, он режет, глядишь, он таскат, колет, тележку нарезал, продал. За полторы тыщи увёз; Хороша, экономна така, умница, да хозяйка хороша; Они шибко труженики, у них и рыбка не уплывёт, и ягода не уйдёт; А это всё сгодится в хозяйстве всё равно; Запас пазуху не дерёт; Она уехала, этого Бориса бросила и уехала. Ну, не знаю, как чё. Может быть, он плохой хозяин был; Маленько тут садили. – Поля всё говорит, – садили там морковки, да... грядки, как куколки, по метре, и то всё скотина вытоптала. Вот каки «хозявы»!

В анализируемой смысловой сфере значительное место занимает всегда позитивная, уважительная оценка **мастерства** в любом деле. Номинирование данного качества представлено в словаре обширной группой лексики. Наиболее частотны такие единицы, как *мастер, мастерица, рукодельница, мастеровой* в оценочном значении, ср.: *Николай был такой мастерица, и тятя был, и Василий; А такой мастерица – ну всё, всё до капельки всё делат, всё. Чё ни взглянешь, всё изделат, на всё он был молодец; А мама всяко у нас ушивала, шибко мастерица была: рубахи ушивала, кофты ушивала, хыть что; А ты хорошу таку шаньгу-то мне прислала. Мастерица! Прямо хорошо ты состряпала; Ольга-то мастерица [делать уколы]. Прямо раз-раз и поставит мне эти. Ну, дело мастера боится.*

Типичным способом выражения оценки высокого мастерства являются фразеологизмы и поговорки с опорным словом *рука*, символизирующем главное орудие человека: *золоты руки, из рук ничё не выпало, мастер на все руки, руки не покладыват, одна мучка, да не те ручки* и др. Отметим, что подобные номинации, базирующиеся на соматической лексике, – одно из множественных проявлений «телесности» мировидения описываемой языковой личности, присущего ей в высокой степени. Характерно, что для языковой личности именно мастерство определяет авторитет человека в крестьянском социуме: *Он авторитетный такой был, потому что на чё бы ни взглянул – всё делал, мастерица такой. Авторитетный он перед имя.*

Обращает на себя внимание слабая разработанность противоположного полюса оценки, представленного либо описательно

(не мастерица ни на чё, работник от лёту[никудашный]), либо словом неумеха: А Фатя, ну не в осуд, была не мастерица ни на чё: бельё постират, дак как ворон пролетел, крылом задел – бельё-то чёрно.

Свойство видеть прежде всего позитивное начало, вопреки общепринятому положению о доминировании негативных оценок, составляет характерную черту языковой личности В.П. Вершиной. Асимметрия оценок проявляется и в описании **человека в его отношении к труду**, в котором положительный полюс отмечен, пожалуй, самой высокой номинативной плотностью: *труженик, работяга, работящий, рабочий, ретивый, проворной, ловкий, ёмкий, удалый, отчаюга, варнак, горы своротит* и др. Так же как и в других группах, а может быть, и выше, здесь проявляется образный строй мышления языковой личности: сила, быстрота, эффективность работы передаётся через образы лося, коня, метлы, мельницы, кипенья, мурашей, огня, юлы, пули и др. Приведём показательный контекст: *Ну, она шибко работат. Ой, сильно работат! Дак она знашь как делат? Прямо не знаю чё, прямо как метла. Ой-ой-ой. Така проворна, така проворна. Никого в деревне таких нету, как она. Как огонь! Всё делат быстро. Собирает всё там и там, все тряпки перетрясла. Я говорю: «Не надо, Валя!» – «Картошки буду таскать» – Ну, как метла. У ей в руках всё кипит. Шибко она удала.* Присущее человеку трудолюбие рассматривается Верой Прокофьевной как приоритетное качество личности в ряду других, получающее самую высокую оценку: *Работяга такой, хоть куда! Хороший мужичонка. Не знаю, как там чем, карахтером, а так работяга такой!; У его мать была така, работяга шибко; В ограде всё изделат, ли поросёнка пойдёт вычистит – поросята были... Всё изделат. Работяшиный был; То труженики таки, работяшишы; Ну рабоча, шибко работат. Дети рабочи у ей и хороши. Шибко рабочи.*

Неумение или нежелание трудиться выделено в материале в меньшей степени. Это следующие сравнения: *как неживой, как варёный, как связанный, как воробей в говнах копатся*. В них акцентированы свойства медлительности, неспособности к эффективной работе. Противоположный полюс трудолюбия – лень, как

ни странно, не занимает ведущего места. Из словоупотреблений единицы *лень* и её дериватов большая часть контекстов соотносится с языковой личностью (*на меня как лень, мне лень, неохота, лень идолила. Силы-то нету, здоровья нету, я как ленюсь*). Характеристики *лентяй* / *лентяйка* применительно к другим единицы, часто в чужой речи. Интересно, что в описании концепта «Работа», выполненном О.А. Новосёловой и Л.Н. Храмцовой на материале новосибирских говоров [Новоселова, Храмцова 2006: 266], представлены совершенно иные данные. Исследователи приводят очень большой список лексем, маркирующих безделье, в которых «константой личности бездельника» выступает смысл ‘хождение без определённой цели’. Наш материал отчётливо выстраивает другую оппозицию: не *работа – лень*, а *работа – праздность вследствие пьянства*. Приведём только один, типичный, контекст, хотя такое обозначение ситуации, как *нигде не работает, пьёт*, весьма частотна: *Упивать любит тоже. Ну, он раньше не пил так, как попало-то, работал, труженик был*. Таким образом, второй член оппозиции подразумевает не черту характера или свойство индивида, но его нравственный выбор, нарушающий основы традиционной крестьянской морали, то есть градус этической оценки повышается.

Как уже отмечалось, наличие разноаспектных деонтических оценок труда утверждает за ним статус **этического** концепта. Кроме того, в его осмыслении заключена мировоззренческая позиция, жизненная философия крестьянина, афористично сформулированная в высказываниях Веры Прокофьевны: *Надо больше трудиться; Работа не испортит человека*. С её точки зрения, труд поддерживает сохранение жизненной активности, невзирая на обстоятельства: *Умирать собирайся, а рожь сей; Меня хоронить, а я боронить; Умираю, а ногой дрыгаю*.

Наряду с этической, мировоззренческой направленностью характеристик труда, нельзя не отметить **эстетическую** составляющую концепта. Эмоционально окрашенную эстетическую оценку вызывает любование результатом труда, при этом красота усматривается в самых обыденных, практических вещах: *Николай, тот подточит, принесёт пилу, она прямо как серебряна*

там зубы, светют только; Лопату насадил, вот как стеклянный черешок... Ну как стеклянну изделал; Литовку наточит, она как бритовка – любо косить, лопаточку насодит ли чё ли – любо посмотреть. Гедонистическим переживанием сопровождается и наблюдение над самим процессом ловкой, спорой работы: *А я всё помню Ивана Ленксандрыча: плас[сена] положит, как прилепит. Да удалый, проворный.* Труд метафорически приравнивается игре, которая, по определению Хёйзинги, «сопровождается чувством напряжения и радости, а также сознанием иного бытия, нежели обыденная жизнь» [Хёйзинга 1992: 41], ср.: *И так кольнёт, и так перевернёт... Не поверишь, как всё равно играт. И всё исколол; А я взяла топорик, отбиваю – а это, кого там итобью? То рука болит. А Юра пришёл – как орешки пошшолкиват, чик, чик, чик... Все сучья отбил, отпало всё.*

Итак, если воспринимать словарь как единый текст, то, с точки зрения формы, его можно охарактеризовать как образный, отражающий мифологический способ видения мира носителем традиционной культуры, а потому эмоционально насыщенный, так как метафорическое сближение неоднородных сфер действительности порождает психологическое напряжение. Можно также говорить о специфическом характере образов, наделённых высокой степенью изобразительности.

С точки зрения содержания, текст фокусирует зоны актуального внимания языковой личности в пределах рассматриваемой смысловой области, каждая из которых представлена в определённой мере специфичными оценочными оппозициями.

С точки зрения интерпретации, вторичный текст позволяет из языковой конкретики первичного выявить обыденные, этические, мировоззренческие, эстетические установки отдельного человека в их корреляции с типом культуры, носителем которой он выступает.

Однако, как известно, создание вторичного текста – многогранный речемыслительный процесс, результат которого никогда не позволяет достичь абсолютного тождества между двумя величинами, в нашем случае ещё и потому, что континуальность индивидуального сознания мы пытались представить дискрет-

но. Всё же можно утверждать, что, хотя предложенное описание фрагмента картины мира эскизно, оно обладает достаточной долей адекватности.

ЛИТЕРАТУРА

Новосёлова О.А., Храмцова Л.Н. Фрагмент диалектной языковой картины мира: понятие «работа» и лексические средства его выражения // Актуальные проблемы русистики. Вып. 3. Языковые аспекты регионального существования человека. Томск, 2006.

Орлова Н.В. Наивная этика: лингвистические модели. Омск, 2005.

Полный словарь диалектной языковой личности / Под ред. Е. В. Иванцовой. Томск. Т. 1. А – З, 2006; Т. 2. И – О, 2007.

Шапилова Н.И. Атрибутивные характеристики лица как отражение региональных особенностей концепта «человек» (на материале «Полного словаря сибирского говора» // Проблемы лексикографии, мотивологии, дериватологии. Томск, 1998.

Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М. 1992.

УДК 811.124'37

М.П. Алексеева, Е.Г. Басалаева
Новосибирск

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ: ДИСКРЕТНЫЕ И НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИКИ ЛАТИНСКОГО СЛОВА

В статье на материале латинских лексикографических источников рассматриваются различные способы дискретно-континуального представления вторичной лексической номинации, обусловленные целым рядом факторов: сохранение в словарной статье структурной иерархии в парадигме значений, эксплицированность и имплицированность мотивировочных признаков, их ассоциативный фон, номинативный и этнокультурный контекст и проч.

По справедливому замечанию А. Мартине, «любой язык есть орудие общения, посредством которого человеческий опыт под-

вергается делению, специфическому для данной общности, на единицы, наделенные смысловым содержанием и звуковым выражением» и «всякая единица, представляющая собой результат первого членения <...> с необходимостью подвергается в свою очередь членению на единицы иного типа» [Мартине 1965: 409].

Значит, отраженная в языке членимость человеческого опыта позволяет не только означаемое в словесном знаке, но и означаемое рассматривать, оценивать как дискретное, делимое, членимое (вспомним лат. *discretio* “разделение, отделение, различение, распознавание, прерывность”).

Важно отметить, что дискретность (и континуальность), как всякий термин, по своему содержанию представляет собой некую «конгруэнтность», соединение разных свойств и сторон одного объекта в их преемственности. Дискретизация как синоним термина “квантование” – «это представление какой-либо величины в виде последовательного ряда ее отдельных дискретных значений в соответствии с членением человеческого опыта» [Большой иллюстрированный словарь иностранных слов 2004], который не исключает возможностей скачкообразных переходов, прерывности, выпадений. Следовательно, дискретность и континуальность – важнейшие характеристики различных семиологических процессов, в том числе и вторичной номинации.

Причем дискретность, то есть членимость, атомизм содержания языкового знака видится, с одной стороны, в степени членимости семных признаков каждого ЛЗ; а с другой стороны, в дискретности семантической структуры многозначного слова, в «прерывности» мотивационной связи семем внутри семантической структуры, в степени проявления преемственности наименований.

Что касается процессов вторичной номинации, то, без сомнения, они органично соотносятся с асимметрией языкового кода – гетерогенностью плана его содержания и плана выражения; с семночленимым характером первичного лексического значения; с учетом неразрывной связи с коммуникативно-функциональными условиями формирования вторичных наименований.

Вопрос об актуализации вторичной номинации в словаре – это прежде всего принципиальная возможность ознакомления с основными характеристиками языкового значения на основе словарных дефиниций. Лексикографический аспект значительно расширяет наше представление о признаковом пространстве явления вторичной номинации за счет тех сведений, которые несут информацию о структуре самого обозначаемого события, о референтном потенциале словесного значения в том или ином объеме.

Номинативная производность обычно выражается в мотивированности вторичных наименований. Однако в сфере вторичной номинации различаются несколько принципиально разных способов отнесения смыслового содержания наименований к обозначаемым объектам и, как следствие, неоднородность отношений между первичным и вторичным значениями внутри семантической структуры слова. Латинский словарь, выбранный нами в качестве объекта для наблюдений, очень хорошо демонстрирует характер семантической структуризации значений, отражая связи между семемами, находящимися на верхних и нижних «уровнях иерархии». Бесспорно, словарь как тезаурус языка должен последовательно и непротиворечиво представлять основные типы вторичных номинаций, характер их номинативной ценности и нюансы национальной специфики.

В исследовании лексикографической репрезентации явлений вторичного означивания многое остается неясным, требующим специального наблюдения, решения целого ряда вопросов. Первый из них касается степени членения семантической структуры в целом и ЛЗ в частности, а также сохранения в словарной статье структурной иерархии в парадигме значений, типов связи (континуальности) между ними. Вторая проблема – это проблема частоты проявления прерывности (перерыва «постепенности») в деривационных связях и причин этой дискретности. Третий вопрос связан с тем, как словари отражают «меру» (степень) отнесенности к внеязыковым объектам «секундарных» значений слов, иными словами, какова роль культурно-этнолингвистической интерпретации вторичного значения.

Рассмотрим случаи репрезентации вторичной номинации в латинско-русском словаре.

Степень вычленения вторичного значения в словаре различна. Так, словарь может представлять переносную семантику максимально диффузно, то есть лексическое значение представлено как совокупность разнородных сем, которые могут претендовать на разные лексико-семантические варианты. Дифференциация разных смыслов и разной референциальной отнесенности, как правило, осуществляется за счет указания на то, с каким синтагматическим партнером возможна актуализация данной семы. Например: *infamis* 1) пользующийся дурной известностью; опасный (для мореходов) (*scopuli*); опороченный, покрытый позором (*homo*); *insuavis* неприятный (*odor*); непривлекательный (*homo*); неблагозвучный (*littera*) и др.

Гораздо частотнее примеры, когда вторичная номинация представлена в словаре в виде отдельного ЛСВ. Словарная статья в этом случае фиксирует несколько номинативно-производных значений, членимых по какому-либо определенному признаку первого значения. Например: *lapis* 1) камень, 2) жёрнов, 3) мрамор, 4) драгоценный камень, 5) *Juppiter lapis* — Юпитеров камень, перун (символ бога-громовержца), 6) пограничный (межевой) камень, 7) мильный камень (которым отмечалась каждая миля, *mille passuum* = 1480 метров), 8) каменный помост (с которого производилась продажа рабов), 9) могильный камень, надгробный памятник, 10) плита, стол, 11) чурбан, дубина. Можно встретить примеры, когда вторичная номинация представлена в виде отдельного ЛЗ с пометой *перен.*: *vultur* 1) коршун, 2) *перен.* хищник, ненасытный человек.

Кроме того, одним из продуктивных способов представления вторичной семантики латинской лексемы является толкование через иллюстративный материал, свидетельствующий о фразеологической или синтаксической связанности производного ЛЗ. Например: *capulus* 1) гроб, *ire ad capulum* – сойти в могилу, *capuli decus* – украшение для гроба (о дряхлом человеке); *asinus* 1) осёл, *a. in tegulis* – осёл на крыше (о диковинном явлении), *a. ad lyram* – осёл у лиры (о тупом, бездарном человеке); *testudo*

1) черепаха, *t. volat* — черепаха летает (о нелепых сплетнях); *viscus* 1) мясо, 2) внутренности, 5) самая середина, нутро, глубь, глубина, *viscera rerum* — средоточие государственной жизни, то есть (*римский*) *сенат* и др.

В зависимости от степени дискретности представления семантики в словаре по-разному предстают и мотивировочные признаки, с одной стороны «работающие» на объяснение и сохранение семантической близости лексических значений внутри семантической структуры слова; с другой стороны нарушающие порядок и логику дискретизации.

В качестве внутренней формы могут выступать:

1) **эксплицированные** в словарной статье компоненты предшествующего значения, «причастные» к гносеологическому образу познаваемого или именуемого типа. Как правило, словарная статья отражает цепочечную (континуальную) структуру. Например: *saxeus* 1) каменный, 2) подобный камню по твёрдости (*dentes*) или жестокости (*homo*), 3) текущий среди камней или низвергающийся со скал; *nugae* 1) пустяки, вздор, шутки, 2) ветрогон, пустомеля, болтун, несерьёзный человек; *gregālis* 1) пасущийся в одном и том же стаде, из одного стада, 2) близкий приятель, однокашник и др.

Особенно часто, когда вторичное ЛЗ синтаксически или фразеологически связано, в словарной статье показывается ход семантической деривации за счет введения буквального и переносного смысла высказывания, то есть мотивационный признак получает дополнительную экспликацию, усиливая тем самым образность значения. Например: *aranea* 1) паук, 2) паутина, *sacculus plenus aranearum* – кошелёк, полный паутины, совершенно пустой; *littera* 1) буква, *homo trium litterarum* — трёхбуквенный субъект (*m.e. fur vor*); *scopa* 1) прут, лоза, розга, 2) метла, веник, *scopae solutae* – расстрёпанная метёлка (*о нелепом, никчёмном человеке*) и др.;

2) **ассоциативные** признаки производящего ЛЗ, в словарной статье не всегда вычленимые, но тем не менее понятные иноязычному читателю в силу следующих причин:

а) ассоциативный фон латинского слова понятен интерпретатору, так как совпадает с русским аналогом, являясь своеобраз-

ной языковой универсалией. К таким случаям можно отнести большинство зооморфных метафор. Например: *musca* 1) муха, 2) любопытный или назойливый человек; *natrix* 1) водяная змея, 2) плеть из кожи водяной змеи, 3) змея, злой человек; *truo* пеликан, (о человеке) носач; *vultur* 1) коршун, 2) хищник, ненасытный человек и др.;

б) ассоциативные смыслы непонятны русскому читателю, так как связаны с национальной культурологической информацией. В таких случаях словарь эксплицирует мотивировочные признаки, носящие экстралингвистический характер, в толковании прямого ЛЗ в виде комментария, пояснения и т.д. Например: *Phormio* Формион 1) *философ-перипатетик из Эфеса, вздумавший прочесть Ганнибалу лекцию о военном искусстве: перен.* — любитель поучать в делах, в которых ничего не смыслит, 2) заглавие комедии Теренция (по имени её героя, паразита); *Proteus* 1) Протей, *вещий морской бог на о-ве Фаросе (Египет), обладавший даром преображения*, 2) изменчивая натура, непостоянный человек, 3) хитрец, лукавый человек; *Priapus* 1) Приап, *сын Вакха и Венеры, бог садов, полей, плодородия и деторождения; его статуи, выкрашенные красной охрой, выставались в садах для охраны их от воров и птиц*, 2) мужской член, 3) похотливый человек, сладострастник.

В ряде случаев мотивировочный признак эксплицируется в толковании не прямого, а производного значения, тем самым составитель словаря не нарушает своеобразную континуальность и демонстрирует читателю вытекаемость одного ЛЗ из другого, объясняет культурологическую мотивацию ЛЗ. Например: *alauda* 1) жаворонок хохлатый, 2) *название одного легиона, сформированного на собственный счёт Цезарем, солдаты, которого носили на шлемах султан из перьев*, 3) солдат этого легиона; *oleum* 1) растительное масло, 2) гимнастические упражнения, гимнастический зал, палестра (*так как при гимнастических упражнениях натирались маслом*); *testa* 1) (обожжённый) кирпич, черепица, 2) глиняный сосуд, горшок, кружка или кувшин, 3) осколок, черепок, 4) трещотка, 5) скорлупа, щиток, раковина, 6) улитка, 7) «черепицы» (*на профессиональном языке клакеров особый*

вид рукоплесканий, изобретенный Нероном), 8) череп, 9) красное пятно; *cuculus* 1) кукушка, 3) лодырь, лентяй (о крестьянах, которые медлят с полевыми работами до кукования, до весеннего равноденствия).

Все перечисленные способы лексикографического представления семантики слова можно оценить как «континуально-дискретные».

Особые случаи касаются «косвенной номинации» [Телия 1976], когда в основе семантической преемственности значений лежат социально-национальные ассоциации, не находящие отражения в словарной статье. Иными словами, в данном случае мотивировочные признаки являются неявными, никак не вычленимыми из структуры производящего ЛЗ, то есть представленная в словаре дискретность смыслов никак не «сглаживается», не объясняется и, таким образом, демонстрирует нам семантическую лакунарность, восстанавливаемую с помощью дополнительных экстралингвистических источников или так и остающуюся особенностью, отражающей древнее мировосприятие и мировоззрение. Например: *cuculus* 1) кукушка, 2) простофиля, глупец; *feles* 1) кошка, 2) вор, похититель; *lupula* маленькая волчица, *бран.* колдунья, ведьма; *maltha* 1) мальта, род горючего минерального масла или ископаемой смолы, 2) мальта, род лака или замазки (из гашеной извести и свиного сала), 3) избалованный человек, неженка; *emungo* 1) высморкаться, *homo emunctus* – тонкий человек, умница; *fungus* 1) гриб, 2) нагар (на свече), 3) губчатый нарост, 4) дурень; *abolla* 1) зимний плотный плащ (преим. военный), 2) философ; *litterator* 1) языковед, преподаватель языков, филолог, грамматик, 2) поверхностно образованный человек и др. Таким образом, семантическая структура слов в данном случае оказывается прерывной, мотивированность «рвется». Особенно ярко это явление дискретности в семантической структуре наблюдается у слова *nepōs*, имеющего значения: 1) внук, 2) праправнук, потомок, 3) племянник, 4) росток, побег (виноградной лозы), 5) кутила, мот, расточитель.

Нередко образность оказывается «спрятана» для читателя в тех случаях, когда переносное ЛЗ закрепляется за определенным со-

четанием слов. Мотивационный признак выявляется только в том случае, когда читатель самостоятельно переведет оба слова. Например: *lascivia* 1) весёлость, резвость, шаловливость, игривость, *virgarum lascivia* – жертва розог, вечно избиваемый человек (ср. *virga* ‘розги’, т.е. букв. ‘веселье розг’); *gymnasium* 1) гимнасий, школа физических упражнений или место для гимнастических состязаний в древней Греции; место сбора молодёжи; *gymnasium flagri* – человек, которого постоянно бьют (ср. *flagrum* ‘бичь, плеть, кнут’, букв. ‘школа плети’); *fartum* начинка, содержимое; мясистая часть плода, мякоть; *шумл. vestis fartum* — человеческое тело, человек (ср. *vestis* ‘одежда’, букв. ‘одежда мяса’) и др.

Наконец, нельзя не сказать еще об одном случае репрезентации вторичных значений в латинском словаре, которые мы обнаруживаем в эпидигматических связях слов. Первые наблюдения уже показали очень интересные случаи мутации, трансляции периферийного переносного значения латинского слова в основное, нередко единственное в его деривате. Например, производные от *nepōs* закрепляются во вторичном значении. Ср.: *nepotatus* [nepos 5] пышность, расточительность, *nepotor* [nepos 5] 1) утопать в роскоши, быть расточительным, 2) расточать; *lingua* 1) язык, б) болтливость; хвастовство и его производные, образованные от слова в шестом значении: *linguatulus* с хорошо подвешенным языком, бойкий на язык; *linguax* болтливый, говорливый; *linguarium* расплата за длинный язык (за необдуманные речи).

Кроме того, нами отмечаются примеры трансформации, преобразования имплицитных смыслов производящего слова в эксплицитное значение словообразовательного деривата. Например: *vulpes* лиса, но *vulpinor* быть хитрым, как лиса, хитрить, лукавить; *columba* голубь, но *columbor* целоваться по-голубиному.

Таким образом, лексикографические источники репрезентируют, с одной стороны, совмещение значений исходного слова с производящим, а с другой – появление в производном слове нового значения, скрытого или отсутствующего в производящем. Данные наблюдения позволяют нам по-новому взглянуть на еще одну интересную проблему роли словообразования во вторичной номинации и отражении этой роли в словаре.

Подводя итог, можно отметить, что при всем разнообразии способов репрезентации вторичных номинаций в латинско-русском словаре предпочтение отдается «континуально-дискретному» способу представления семантической структуры слова, где ключевую, связующую роль играет не только семантический признак внутри производящего ЛЗ, но и лингвокультурологический комментарий. Это позволяет нам оценить словарь как своеобразный гипертекст.

ЛИТЕРАТУРА

Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М., 2004.

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2000.

Мартине А. Основы общей лингвистики (Глава 1 «Лингвистика, язык и языки») // Звегинцев В.А. История языкознания XIX – XX вв. в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1965.

Телия В.Н. Языковая номинация. М., 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
ДИСКРЕТНОСТЬ И КОНТИНУАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ	
Матханова И.П., Трипольская Т.А. Дискретность и континуальность в аспекте интерпретационных исследований.....	6
Воейкова М.Д. Недискретные способы выражения падежных различий в устной речи (на материале русского языка).....	16
Natalia Gagarina. Parallelism as an anaphora resolution factor in russian.....	31
Скворецкая Е.В. Эпидигматическая дискретность плана содержания и плана выражения языковых единиц разных уровней.....	37
Васильева Г.М. О некоторых особенностях изменения языковой оценки (по данным экспериментального опроса).....	43
Новоселова О.А., Храмцова Л.Н. Особенности членения диалектного семантического пространства.....	48
Баранчеева Е.И. Дискретность vs континуальность и проблема выделения оснований метафорического переноса.....	55
Мусси В. Сопоставление метафорических полей со значением характеристики человека в русском и итальянском языках (на материале энтонимов).....	66
Таргонская Е.П. К вопросу о дискретном выражении семантики прошедшего времени в древнерусском языке.....	77
Крылов Ю.В. Континуальность и пересекаемость семантических полей эмоций.....	85
Лаппо М.А. Языковые средства идентификации / самоидентификации как нечеткие (размытые) лингвистические множества.....	92
Соснин Е.В. Континуальность языковой системы и проблемы формальной реконструкции.....	102
Пчелинцева Е.Э. Интегрирование математической модели коммуникации в лингвистику.....	109
Чернобров А.А. Эссенциалистская и номиналистская парадигмы в лингвистике.....	118
КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ В ТЕКСТЕ	
Дымарский М.Я. Коммуникативность как континуально-дискретная категория высказывания.....	132
Мартьянова И.А. Континуальность современного текста: «возвращение» в структуру предложения.....	144
Масарская М. Специфика перевода диалектных текстов.....	155
Левина И.Н. Константы чеховской прозы, определяемые параметрами континуальности и дискретности.....	163

Мишанкина Н.А. Роль метафорической концептуализации в моделировании объекта научного описания.....	173
Орлова Н.В. Варианты дискретизации исходного текста в сочинениях ЕГЭ (в аспекте проблемы языковой способности).....	183
Перфильева Н.П. Континуальность и дискретность текста: пунктуационный аспект.....	193
Стоярова И.В. Специфика членимости современного прозаического дискурса.....	202
Леонова А.В. Континуальность семантического признака контролируемости / неконтролируемости в процессе осуществления акциональной ситуации.....	213
Фещенко О.А. Эксплицированность и выделимость как свойства ключевого слова в тексте.....	224
Бокарева Ю.М. Дискретизация высказывания в художественном тексте	230
Белова А.В. Непрерывность и дискретность в обратимой эпистолярной коммуникации.....	237
Носенко Н.В. Дискретность как тенденция современной городской номинации.....	243
Карпова Е.В. Недискретные способы выражения бытийности в высказываниях со значением прекращения биологического существования..	251
Дубровина К.Н., Кутьева М.В. Библейские мотивы в поэзии советского времени как манифестация диахронической преемственности текста.....	259

СЛОВАРЬ КАК ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ. ДИСКРЕТНЫЕ И НЕДИСКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Сулименко Н.Е. Словарь как вторичный текст и проблемы взаимодействия научных парадигм в современной лингвистике.....	268
Гридина Т.А. Недискретные способы семантизации слов: объяснительный мотивационный словарь детской речи.....	275
Коновалова Н.И. Континуальность и дискретность в сакральном тексте (модель лексикографического представления).....	286
Куликова И.С., Салмина Д.В. Энциклопедический словарь-справочник как гипертекст.....	296
Гынгазова Л. Г. «Полный словарь диалектной языковой личности» как отражение индивидуальной картины мира.....	309
Алексеева М.П., Басалаева Е.Г. Лексикографическая репрезентация явлений вторичной номинации: дискретные и недискретные способы представления семантики латинского слова.....	317

Научное издание

**Дискретность и континуальность
в языке и тексте**

*Материалы Международной конференции «Континуальность
и дискретность в языке и речи. Язык как живая система
в исследовательских парадигмах современной лингвистики»
15 – 16 октября 2009 г.*

Редакторы:
*Е.А. Шульская
М.В. Шпильман*

Компьютерная вёрстка
А.Ю. Лапухин

Гигиенический сертификат № 54. нк.05.953.П.000149.12.02
от 27.12.02 г.

Подписано в печать 10.11.2009 . Формат бумаги 60x84/16
Печать RISO. Усл. печ.л. 19,07. Уч.-изд. л. 10,82. Тираж 300 экз.
Заказ № 560

Отпечатано в типографии:
ООО «Немо Пресс», 630001, г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 1, оф. 202
Тел.: (383) 292-12-68, e-mail: nemopress@mail.ru